

И. С. ТУРГЕНЕВ

ВЕШНИЕ  
ВОДЫ



скан vdv86





И. С. ТУРГЕНЕВ

---

ВЕШНИЕ  
ВОДЫ

ПОВЕСТИ  
СТИХОТВОРЕНИЯ  
В ПРОЗЕ



КИЕВ «РАДЯНСЬКА ШКОЛА» 1988

Текст печатается по изданию:

Тургенев И. С. Сочинения: В 12 т.— М.: Наука,  
1978-1982 — Т. 5, 6, 8, 9, 10.

Художник В. М. Зельдес

**Тургенев И. С.**

Т87 Вешние воды: Повести. Стихотворения в прозе.— К.: Рад. шк.,  
1988.— 207 с.: ил.

ISBN 5—330—00363—6.

В книгу включены повести «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды», «Пунин и Бабурин», цикл «Стихотворения в прозе».

Т  $\frac{4702010101-184}{M210(04)-88}$  КУ—№ 8—16—1988

**ББК 84Р1—4**

ISBN 5—330—00363—6

© Издательство «Наука», 1982  
© Составление, художественное оформление.  
Издательство «Радянська школа», 1988



ПОВЕСТИ



I



Мне было тогда лет двадцать пять,— начал Н. Н.,— дела давно минувших дней, как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «окрнчить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись — я жил без оглядки, делал что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золотые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время — и хлеба напросишься. Но толковать об этом не для чего.

Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица — именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея возбуждал во мне

ощущение тоски и злобы; я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевёлбе». Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые, человеческие лица — речи людей, их движения, смех — вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отраднo, мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей... да я даже не наблюдал их — я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.

Итак, лет двадцать тому назад я прожил в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения: я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на воде. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми — и со мною, грешным, — сперва даже поцаряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству — чем молодость не тешится! — и поселился в З.

Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, — а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили при-

ятым голоском: «Guten Abend!»<sup>1</sup> — а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие камни мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. Петух на высокой готической колокольне блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному гляncy речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на треугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле все глубже и глубже дышала, и слово: «Гретхен» — не то восклицание, не то вопрос — так и пролилось на уста.

Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами, печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился городок Л., немного побольше того, в котором я поселился. Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бортам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс; контрабас гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.

— Что это? — спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.

— Это, — отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, — студенты приехали из Б. на коммерш.

«А посмотрю-ка я на этот коммерш, — подумал я, — кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.

## II

Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся студенты одной земли, или братства (Lands—mannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора, то есть старшины, и пируют до утра, пьют, поют песни, Landesvater, Gaudeamus, курят, бранят фиаистеров; иногда они нанимают оркестр.

Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывескою Солнца, в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины — лучший смех на свете — всё это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед — куда бы то ни было, лишь бы вперед, — это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. «Уж не пойти ли к ним?» — спрашивал я себя...

— Ася, довольно тебе? — вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

<sup>1</sup> «Добрый вечер!» (нем.)



— Подождем еще,— отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

— Вы русские? — сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

— Да, русские.

— Я никак не ожидал... в таком захолустье,— начал было я.

— И мы не ожидали,— перебил он меня,— что ж? тем лучше. Позвольте

рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... — он запнулся на мгновение,— моя сестра. А ваше имя позволите узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости... Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал... «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», — казалось, говорил этот уторопленный взгляд... Проходило мгновение — и снова восстанавливалось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоумением. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.

Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень милостивой. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.

— Хотите вы зайти к нам? — сказал мне Гагин,— кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стекла разбила и поломали стулья, но эти уж больно скромны. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?

Девушка утвердительно качнула головой.

— Мы живем за городом,— продолжал Гагин,— в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.

Мы отправились. Через низкие ворота города (старинная стена из булыж-





ника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого домика с косыми черными перекладами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.



— Вот и наше жилище! — воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику, — а вот и хозяйка не сет молоко. Guten Abend, Madame! Мы сейчас примемся за еду; но прежде, — прибавил он, — оглянитесь... каков вид?

Вид был, точно, чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекачивался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.

— Отличную вы выбрали квартиру, — промолвил я.

— Это Ася ее нашла, — отвечал Гагин, — ну-ка, Ася, — продолжал он, — распорядись. Вели всё сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, — прибавил он, обратясь ко мне, — вблизи иной вальс никуда не годится — пошлые, грубые звуки, — а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.

Ася (собственно имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей, и уж вы позволите мне ее так называть) — Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлеб. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

— Ася, полно ежиться! он не кушается.

Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновенье она не сидела смирно; вставала, убежала в дом и прибежала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям, приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки

Добрый вечер, мадам!.. (нем.)

ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.

Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша всё продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее рóспили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну; всё осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер; ночным, душистым теплом повеяло от земли.

— Пора! — воскликнул я, — а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

— Пора, — повторил Гагин.

Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

Ты разве не спишь? — спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.

Последние умиравшие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и протислся с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Первозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

— Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, — закричала мне Ася.

Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

— Прощайте! — раздался опять ее голос.

— До завтра, — проговорил за нею Гагин.

Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на

противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного ланнеровского вальса. Гагин был прав: я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым... Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал... Я был счастлив.

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице... «Что же это значит? — спросил я самого себя. — Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.

### III

На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:

Ты спишь ли? Гитарой  
Тебя разбуджу...

Я поспешил отворить ему дверь.

— Здравствуйте, — сказал Гагин, входя, — я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют...

С своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро.

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да, кстати поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздыхнувши вслед за мной два из веж-



ливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на «развалину». Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок оказался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.

— Да, да,— подхватил он со вздохом,— вы правы; всё это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом; землю, кажется, сдвинул бы с места — а в исполнении тотчас ослабеешь и устаешь.

Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.

— Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь,— промолвил он сквозь зубы,— не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать.

Мы пошли.

#### IV

Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прыдал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. На самой вершине голой скалы возвышалась четырехугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ; искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

— А ведь это Ася! — воскликнул Гагин, — экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины за-



росшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.

— Полноте, — сказал мне шепотом Гагин, — не дразните ее; вы ее не знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смывлености здешних жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... «Она хочет удивить нас, — думал я, — к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и проницательный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.

— Ты думаешь, я хочу пить? — промолвила она, обратившись к брату, — нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не отвечал ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестящих на солнце. Ее движенья были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала... Мне стало еще досаднее.

— Да она как коза лазит, — пробормотала себе под нос старушка, оторвавшись на мгновение от своего чулка.

Наконец, Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудержко, полувесело щурились темные глаза.

«Вы находите мое поведение неприличным, — казалось, говорило ее ли-

цо, — всё равно: я знаю, вы мной любуетесь».

— Искусно, Ася, искусно, — промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подседа к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже всё побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:

— За здоровье дамы вашего сердца!

— А разве у него, — разве у вас есть такая дама? — спросила вдруг Ася.

— Да у кого же ее нет? — возразил Гагин.

Ася задумалась на мгновение; ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль — роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок; будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксен и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?

Давно ли ты стала спрашиваться? отвечал он с своей неизменной,



на этот раз несколько смущенной улыбкой,— разве тебе скучно с нами?

— Нет, но я вчера еще обещала ффрау Луизе побывать у ней; притом же я думала, вам будет лучше вдвоем: г. Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.

Она ушла.

— Ффрау Луизе,— начал Гагин, стараясь избегать моего взора,— вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем пустая старушка. Она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего; я заметил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня порядком избалована, как видите,— прибавил он, помолчав немного,— да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я обязан быть снисходительным с нею.

Я промолчал. Гагин переменял разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом; она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником... Без горького, постоянного труда не бывает художников... а трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь,— нет! трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно рассказывая перед домом; и в эти четыре часа сошлись окончательно.

Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася всё еще не возвращалась.

— Экая она у меня вольница! — промолвил Гагин.— Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к ффрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк не велик.

Мы спустились в город и, свернувши в узкий, кривой переулок, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в ви-

де клюва воротом на чердаке казался огромной, сторбленной птицей.

— Ася! — крикнул Гагин,— ты здесь?

Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и отворилось, и мы увидели темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.

— Я здесь,— проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу,— мне здесь хорошо. На тебе, возьми,— прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума,— вообрази, что я дама твоего сердца.

Ффрау Луизе засмеялась.

— Н. уходит,— возразил Гагин,— он хочет с тобой проститься.

— Будто? — промолвила Ася,— в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала ффрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.

Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразили сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой стороне, между чужими?» — воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец я сел и, вспомнив о своей коварной вдове (официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать... думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию... «Полно, сестра ли она его?» — произнес я громко.

Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова

думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом...» «Она сложена, как маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине,— шептал я,— да; и она ему не сестра...

А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

## V

На следующее утро я опять пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидеться с Гагиным, но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася, так же ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостиной, и, странное дело! — оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, — Ася показалась мне совершенно русской девушкой, да, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платье, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пальцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно поглядывала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку». Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры; я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли ему?

— Напротив, — возразил он, — вы мне можете хороший совет дать.

Он надел круглую шляпу á la Van Dusk, блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, попросил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок: Ася обещалась побыть на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал; мы всё больше рассуждали и, сколько я могу судить, довольно умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно значение художника в наш век. Гагин, наконец, решил, что он «сегодня не в ударе», лег рядом со мною, и уж тут свободно по-

текли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асию точно такую же, какую я ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею — ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.

— А-га! — говорил Гагин, — пост и покаяние на себя наложила.

К вечеру она несколько раз неприятно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

— Что за хамелеон эта девушка! — и, подумав немного, прибавил: — А все-таки она ему не сестра.

## VI

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и воспитание получила странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу á la Van Dusk и блузу, так и веяло мягким, полудишежным, великорусским дворянством, а она не походила на барышню; во всех ее движениях было что-то неспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, об ее прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки

и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.

— Bravo! — сказал я, подойдя к ней, — как вы прилежны!

Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня.

— Вы думаете, я только смеяться умею, — промолвила она и хотела удалиться...

Я взглянул на заглавие книги: это был какой-то французский роман.

— Однако я ваш выбор похвалить не могу, — заметил я.

— Что же читать! — воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила: — Так лучше пойду дурачиться, — и побежала в сад.

В тот же день, вечером, я читал Гагину «Германа и Доротею». Ася сперва всё только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько подседа ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полусагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски: слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно.

Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.

Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертою. Не долго думавши, добрался до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимо... Вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносившей следующие слова:

— Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить — и навсегда.

— Полно, Ася, успокойся, — говорил Гагин, — ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидел их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.

— Тебя, тебя одного, — повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.



— Полно, полно, — твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Несколько мгновений остался я неподвижным... Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?... Ни за что!» — сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, — думал я, — умеют же они притворяться!»



Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него... И что за чувствительное объяснение?»

## VII

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого Собачьей спиной (Nundsrück), очень любопытны в геологическом отношении; в особенности замечательны они правильностью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видаться с Гагиными. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыла облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия,— хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.

Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям; неторопливо сменяясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось всё, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня,— всё: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквями и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радужные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами...

Даже и теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет

тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы... Привет тебе и мир!

Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить в себе образ жестокосердой вдовы; но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собою крестьянскую девочку лет пяти, с круглым любопытным личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски-просто душно смотрела на меня... Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом.

Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.

## VIII

Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидела меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вследа, что она сумаспешдая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал в мое отсутствие. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнату и убежала снова; я объявил, наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва меня удерживал, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн и, проходя мимо любимого моего ясеня с статушкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.



Сперва мы перекинулись немногими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.

— Скажите,— начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой,— какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

— Да,— ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

— Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить,— промолвил он,— у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю...

— Ее историю?..— перебил я,— разве она не ваша...

Гагин взглянул на меня.

— Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет,— продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство,— она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам всё.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный — и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими другими; но он и первого удара ее не вынес. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно

важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видал улыбки на лице его... но, попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил отца моего всё более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидал у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти — Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление — он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечи, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему ста-



рому камердинеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

— Вот,— сказал мне с усилием отец,— завещаю тебе мою дочь — твою сестру. Ты всё узнаешь от Якова,— прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать... Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяна. Живо помню я эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо, с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.

— Покойница Татьяна Васильевна,— так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад руками,— во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня? Так они говорить изволили, при мне говорили-с.

Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна,— ее строгий профиль четко вырезывался на прозрачном стекле,— и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.

Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявлял желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой.

Он был ее учителем; кроме его, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в том) заставить целый мир забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы... Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний мальчик, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась; у ней ни одно чувство не бывает вполнину.

Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться,— жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такую же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказать ее нельзя,— говаривала она мне,— и на ласку она не поддается». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямылась, глядела буквой... Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подруг она сошлась

только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость — самые дурные пороки», — громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.

Наконец ей минуло семнадцать лет; оставаться ей долее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано — сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она... шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей всё нипочем, — мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

— Всё так, — заговорил опять Гагин, — но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить... И при этом так расплакалась...

— Так вот что... — промолвил было я и прикусил язык.

— А скажите-ка мне, — спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, — неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей?

— Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек — или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, — прибавил он, вставая.

— Послушайте, — начал я, — пойдемте к вам, мне домой не хочется.

— А работа ваша?

Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись

в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость — именно сладость на сердце; точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.

## IX

Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.

— Вот он опять, — заговорил Гагин, — и, заметь, сам захотел вернуться.

Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку: ее внутреннее беспокойство, неумение держать себя, желание порисоваться — всё мне стало ясно. Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее постоянно, тревожно путалось и билось неопытное самолюбие, но всё существо ее стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только полудикой прелестью, разлитой по всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.

Гагин начал копать в своих ризунках; я предложил Асе погулять со мною по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.

— И вам не скучно было без нас? — начала Ася.

— А вам без меня было скучно? — спросил я.

Ася взглянула на меня сбоку.

Да, — отвечала она. — Хорошо в горах? — продолжала она тотчас, — они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

— Вольно ж вам было уходить, — заметил я.

— Я уходила... потому что... Я теперь вот не уйду, — прибавила она с доверчивой лаской в голосе, — вы сегодня были сердиты.

— Я?

— Вы.

— Отчего же, помилюйте...

— Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень

досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

— И я рад, что вернулся,— промолвил я.

Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

— О, я умею отгадывать! — продолжала она, — бывало, я по одному папашину кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.

До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.

— Вы любите вашего батюшку? — проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

— Что же вы не рассказываете? — прошептала Ася.

— Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? — спросил я.

— Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, что это за сказка о Лорелее? Ведь это ее скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду. Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки рассказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами...

Ася подняла голову и встряхнула кудрями.

— Ах, мне хорошо,— проговорила она.

В это мгновение долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев: толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями.

— Вот бы пойти с ними,— сказала Ася, прислушиваясь к постепенному ослабевавшим взрывам голосов.

— Разве вы так набожны?

— Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг,— продолжала она.— А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?

— Вы честолюбивы,— заметил я,— вы хотите прожить не даром, след за собой оставить...

— А разве это невозможно?

«Невозможно»,— чуть было не повторил я... Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил:

— Попытайтесь.

— Скажите,— заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть,— вам очень нравилась та дама... Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства?

Я засмеялся.

— Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.

— А что вам нравится в женщинах? — спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством.

Какой странный вопрос! — воскликнул я.

Ася слегка смутилась.

— Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать всё, что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.

Говорите ради бога, не бойтесь,— подхватил я,— я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться.

Ася потупилась и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за ней такого смеха.

Ну, рассказывайте же,— продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго,— рассказывайте или прочтите что-нибудь, как, помните, вы нам читали из «Онегина»...

Она вдруг задумалась...

Где нынче крест и тень ветвей  
Над бедной матерью моё!

проговорила она вполголоса.

У Пушкина не так,— заметил я.

— А я хотела бы быть Татьяной,— продолжала она всё так же задумчиво.— Рассказывайте,— подхватила она с живостью.

Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитою ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Всё радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами — небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

— Посмотрите, как хорошо! — сказал я, невольно понизив голос.

— Да, хорошо! — так же тихо отвечала она, не смотря на меня.— Если б мы с вами были птицы,— как бы мы взвились, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не птицы.





— А крылья могут у нас вырасти,— возразил я.

— Как так?

— Поживите — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

— А у вас были?

— Как вам сказать... Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

— Умеее вы вальсировать? — спросила она вдруг.

— Умею,— отвечал я, несколько озадаченный.

— Так пойдете, пойдете... Я попрошу брата сыграть нам вальс... Мы вообразим, что мы летаем, что у нас вырастли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею — и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыханье, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

## X

Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Старик поднял весла — и царственная река понесла нас. Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце... поднял глаза к небу — но и в небе не было покоя: испещренное звездами, оно всё шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке... но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду — и тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки... Шёпот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее дыханье волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих зву-

ков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она всё понимает и всё любит.. Нет! во мне зажглась жажда счастья. Я еще не смел назвать его по имени,— но счастья, счастья до пресыщения — вот чего хотел я, вот о чем томился... А лодка всё неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.

## XI

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней, ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только с вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нем сквозили...

Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик; я не только о будущем — я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.

Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собою — и осталась. Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост». Он стоял, весь взерошенный и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинусь на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.

— Вы сегодня не такая, как вчера,— заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.

— Нет, не такая,— возразила она неторопливым и глухим голосом.— Но это





ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала.

— О чем?

— Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой...

Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:

— Когда я жила с матушкой... я думала, отчего это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду — да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной должно быть очень скучно.

— Вы несправедливы к себе, — возразил я. — Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом...

— А я умна? — спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. — Брат, я умна? — спросила она Гагина.

Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.

— Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, — продолжала Ася с тем же задумчивым видом. — Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?

— Много не нужно, но...

— Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я всё буду делать, что вы мне скажете, — прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.

Я не тотчас нашелся, что сказать ей.

— Ведь вам не будет скучно со мной?

— Помилуйте, — начал я.

— Ну, спасибо! — возразила Ася, — а я думала, что вам скучно будет.

И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.

— Н.! — вскрикнул в это мгновенье Гагин, — не темен этот фон?

Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.

## XII

Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою.

— Послушайте, — сказала она, — если б я умерла, вам было бы жаль меня?

— Что у вас за мысли сегодня! — воскликнул я.

Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что всё вокруг меня со мною прощается. Умереть лучше, чем жить так... Ах! не глядите так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.

Разве вы меня боялись?

— Если я такая странная, я, право, не виновата, — возразила она. — Видите, я уж и смеяться не могу...

Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойною — а мне, глядя на нее, всё хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях — а ей почему-то воображалось, что я не в духе.

Послушайте, — сказала она мне незадолго до прощанья, — меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной... Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны; а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово...

Это «честное слово» опять заставило меня засмеяться.

— Ах, не смейтесь, — проговорила она с живостью, — а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смеетесь?» — и, помолчав немного, она прибавила: — Помните, вы вчера говорили о крыльях?... Крылья у меня выросли — да лететь некуда.

— Помилуйте, — промолвил я, — перед вами все пути открыты...

Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.

— Вы сегодня дурного мнения обо мне, — сказала она, нахмутив брови.

— Я? дурного мнения? о вас!..

Что это вы точно в воду опущенные, — перебил меня Гагин, — хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?

— Нет, нет, — возразила Ася и стиснула руки, — сегодня ни за что!

Я тебя не принуждаю, успокойся...

Ни за что, — повторила она, бледнея.

«Неужели она меня любит?» — думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны.

«Неужели она меня любит?» — спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось; у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: «Это пройдет, это ничего, всё пройдет, не правда ли?» — и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу — не мог; хотел ничего не делать и не думать... и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

— Вы ли г-н Н.? — раздался вдруг за мною детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. — Это вам от фрейлейн Annette, — прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул ее — и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть, — писала мне она, — приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность... Придите ради бога, вы всё узнаете... Скажите посланному: да».

Будет ответ? — спросил меня мальчик.

— Скажи, что да, — отвечал я.

Мальчик убежал.

Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.

Дверь отворилась — вошел Гагин.

Лицо его было пасмурно. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.

— Что с вами? — спросил я.

Гагин взял стул и сел против меня.

Четвертого дня, — начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, — я удивил вас своим рассказом; сегодня удивляю еще более. С другим я, вероятно, не ре-

шился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я весь вздрогнул и приподнялся...

— Ваша сестра, говорите вы...

Да, да,— перебил меня Гагин.— Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать — и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно.

— Да вы ошибаетесь,— начал я.

Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем, не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделалась небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой? — спросил я,— ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я.... Ну, словом, я услышал, что она вас любит. Уверю вас, мы с вами, благородные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек,— продолжал Гагин,— но почему она вас так полюбила — этого я признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю,— я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее — просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет,— и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился — поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее — уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть... как знать? — вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот

и решился, отбросив в сторону всякий стыд... Притом же я сам кое-что заметил... Я решился... узнать от вас... — Бедный Гагин смутился.— Извините меня, пожалуйста,— прибавил он,— я не привык к таким передрягам.

Я взял его за руку.

— Вы хотите знать,— произнес я твердым голосом,— нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится...

Гагин взглянул на меня.

— Но,— проговорил он запинаясь,— ведь вы не женитесь на ней?

— Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь...

— Знаю, знаю,— перебил меня Гагин.— Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой — верх неприличия... Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить... Другая умела бы всё скрыть и выждать — но не она. С нею это в первый раз,— вот что беда! Если б вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина «свиданье вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

— Да,— сказал я наконец,— вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавно, но мне было не до смеху.

Вы, повторяю, благородный человек,— проговорил он,— но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности... и когда это она успела написать? Чего ж она кочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот на чем мы остановились наконец: во избежание беды я должен был идти на свиданье и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подавать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись опять.

Я твердо надеюсь на вас,— сказал Гагин и стиснул мне руку,— пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра,— прибавил он, вставая,— потому что ведь вы на Асе не женитесь.

— Дайте мне сроку до вечера,— возразил я.



— Пожалуй, но вы не женитесь.

Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на открытость Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило ее всё высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня...

«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» — сказал я, вставая.

## XV

В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был тот самый мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.

— От фрейлейн Annette, — сказал он шепотом и подал мне другую записку.

Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом к фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж.

— Опять: да? — спросил меня мальчик.

— Да, — повторил я и пошел по берегу Рейна.

Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеною находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли; со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива; я взглянул в ее лицо. Она быстро отвернулась и отошла прочь.

— Да, да, — промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин, — Ганхен наша сегодня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты.

Я посмотрел на нее; она прижалась в уголок и подперла рукою щеку; слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива; она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе подействовало на меня; я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне

предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. «С ней шутить нельзя» — эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным — и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь... Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо — признаюсь, она меня нугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, — решил я наконец, — она не узнает, что и я полюбил ее».

Я встал — и, положив талер в руку бедной Ганхен (она даже не поблагодарила меня), направился к дому фрау Луизе. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба, над темной улицей, аела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь; она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте.

— Сюда! — послышался старушечий голос. — Вас ждут.

Я шагнул раза два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку.

— Вы это, фрау Луизе? — спросил я.

— Я, — отвечал мне тот же голос, — я, мой прекрасный молодой человек.

Старуха повела меня опять вверх, по крутой лестнице, и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошечка, я увидел морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собою.

## XVI

В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову...

— Анна Николаевна, — сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня — и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони.

Я желала... — начала Ася, стараясь



улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее,— я хотела... Нет, не могу,— проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

— Анна Николаевна,— повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать напившиеся слезы... Я глядел на нее; было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...

— Ася,— сказал я едва слышно...

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая любила,— кто тебя опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке...

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидел ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлек меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл всё, я потянул ее к себе — покорно повиновалась ее рука, всё ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатила с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы...

— Ваша...— прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана... Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

— Что мы делаем!..— воскликнул я и судорожно отодвинулся назад.— Ваш брат... ведь он всё знает... Он знает, что я вижу с вами.

Ася опустилась на стул.

— Да,— продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты.— Ваш брат всё знает... Я должен был ему всё сказать.

— Должны?— проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.

— Да, да,— повторил я с каким-то ожесточением,— и в этом вы одни вино-



ваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас всё высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним.— Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате.— Теперь всё пропало, всё, всё.

Ася поднялась было со стула.

— Останьтесь,— воскликнул я,— останьтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком — да, с честным человеком. Но, ради бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.

«Что я такое говорю?» — думал я про

себя, и мысль, что я безразличный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что всё искажено, обнаружено,— так и звенела у меня в голове.

— Я не звала брата,— слышался испуганный шёпот Аси,— он пришел сам.

— Посмотрите же, что вы наделали,— продолжал я.— Теперь вы хотите уехать...

— Да, я должна уехать,— так же тихо проговорила она,— я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

— И вы думаете,— возразил я,— мне будет легко с вами расстаться?

— Но зачем же вы сказали брату? — с недоумением повторила Ася.

— Я вам говорю — я не мог поступить иначе. Если б вы сами не выдали себя...

— Я заперлась в моей комнате,— возразила она простодушно,— я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ...

Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту — меня тогда чуть не рассердило... а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

— И вот теперь всё кончено! — начал я снова.— Всё. Теперь нам должно расстаться.— Я украдкой взглянул на Асю... лицо ее быстро покраснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил, как в лихорадке.— Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...

Пока я говорил, Ася всё больше и больше наклонялась вперед — и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я теряюсь тотчас.

— Анна Николаевна, Ася,— твердил я,— пожалуйста, умоляю вас, ради бога, перестаньте...— Я снова взял ее за руку...

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила — с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла...

Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату — я всё еще стоял по самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться — кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться...

— Фрейлейн ушла? — спросила меня

фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки.

Я посмотрел на нее как дурак — и вышел вон.

## XVII

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная, меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа — оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее... А теперь ее образ меня преследовал, я просил у ней прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах на наклоненной шее, о легком прикосновении ее головы к моей груди — жгли меня. «Ваша...» — слышался мне ее шёпот. «Я поступил по совести», — уверял я себя... Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? «Безумец! безумец!» — повторял я с озлоблением...

Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.

## XVIII

Гагин вышел ко мне навстречу.

— Видели вы сестру? — закричал он мне еще издали.

Разве ее нет дома? — спросил я.

— Нет.

— Она не возвращалась?

— Нет. Я виноват,— продолжал Гагин,— не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?

— Она не была у часовни.

— И вы ее не видели?

Я должен был сознаться, что я ее видел.

— Где?

— У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад,— прибавил я,— я был уверен, что она домой вернулась.

— Подождем,— сказал Гагин.

Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец Гагин встал.



— Это ни на что не похоже! — воскликнул он, — у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу... Пойдемте искать ее.

Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.

— О чем же вы с ней говорили? — спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.

— Я виделся с ней всего минут пять, — отвечал я, — я говорил с ней, как было условлено.

— Знаете ли что? — возразил он, — лучше нам разойтись; этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае приходите сюда через час.

## XIX

Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизе, вернулся к Рейну и побежал по берегу... Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, — тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал... нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь — да! самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом всё громче и громче; я повторял сто раз, что я ее люблю, я клялся никогда с ней не расставаться; я бы дал всё на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою... Она была так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла мне свою нетронутую молодость... и я не прижал ее к своей груди, я лишил себя блаженства увидеть, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиною восторга... Эта мысль меня с ума сводила.

«Куда могла она пойти, что она с собою сделала?» — восклицал я в тоске бессильного отчаяния... Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест с старинной надписью. Сердце во мне замерло... Я подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос мой испугал меня самого — но никто не отозвался...

Я решил пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.





Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси... Это меня несколько успокоило.

Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвященное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

— Нашли? — спросил я его.

— Она вернулась, — отвечал он мне шёпотом, — она в своей комнате и раздевается. Всё в порядке.

— Слава богу! — воскликнул я с несказанным порывом радости, — слава богу! Теперь всё прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.

— В другое время, — возразил он, тихо потянув к себе раму, — в другое время, а теперь прощайте.

— До завтра, — промолвил я, — завтра всё будет решено.

— Прощайте, — повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору... «До завтра, — подумал я, — завтра я буду счастлив...»

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновенье.

Я не помню, как дошел я до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

## XXI

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были растроены и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показала за дверью.

Я приблизился к ней...

— Уехали! — брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?

— Уехали?.. — повторил я. — Как уехали? Куда?

— Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Пойдите, ведь вы, кажется, г-н Н.?

Я г-н Н.

— К вам есть письмо у хозяйки. — Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. — Вот-с, извольте.

— Да не может быть... Как же это так?.. — начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером, — писал он, — пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне всё сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскать.

«Какие предрассудки?» — вскричал я, как будто он мог меня слышать, — что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня...» Я схватил себя за голову...

Служанка начала громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такою развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кельна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе... Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидел в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей, вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она мне крикнула вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидел опять эту комнатку...

— По-настоящему, — начала старуха, показывая мне маленькую записку, — я бы должна была дать вам это только в случае, если б вы зашли ко мне сами,

но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

«Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю — нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово — я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше... Прощайте навсегда!»

Одно слово... О, я безумец! Это слово... я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей... но я не сказал ей, я не сказал ей, что я люблю ее... Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви; оно не проснулось даже тогда, когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании... оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее... но уж тогда было поздно. «Да это невозможно!» — скажут мне; не знаю, возможно ли это, — знаю, что это правда. Ася бы не уехала, если б в ней была хоть тень кокетства и если б ее положение не было ложно. Она не могла вынести того, что всякая другая снесла бы; я этого не понял. Небольшой мой гений остановил признание на устах моих при последнем свидании с Гагиным перед потемневшим окном, и последняя нить, за которую я еще мог ухватиться, — выскользнула из рук моих.

В тот же день вернулся я с уложенным чемоданом в город Л. и поплыл в Кёльн. Помню, пароход уже отчаливал, и я мысленно прощался с этими улицами, со всеми этими местами, которые я уже никогда не должен был позабыть, — я увидел Ганхен. Она сидела возле берега на скамье. Лицо ее было бледно, но не грустно; молодой красивый парень стоял с ней рядом и, смеясь, рассказывал ей что-то; а на другой стороне Рейна маленькая моя мадонна всё так же печально выглядывала из темной зелени старогоясеня.

В Кёльне я попал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды достигнуть их.

И я не увидел их более — я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидел за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты... но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какую я знал в лучшую пору моей жизни, какую я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслью, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод — и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знал других женщин, — но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовью устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле... И я сам — что стало со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека — переживает самого человека.





Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович.

Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина.

— Итак, это дело решенное,— промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закулив сигару,— каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич.

Сергей Николаевич, кругленький человек с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к потолку.

— У меня не было первой любви,— сказал он наконец,— я прямо начал со второй.

— Это каким образом?

— Очень просто. Мне было восемнадцать лет, когда я в первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней; но я ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не внове: точно так, как я ухаживал потом за другими. Собственно говоря, в первый и последний раз я влюбился лет шести в свою

няню; но этому очень давно. Подробности наших отношений изгладились из моей памяти, да если б я их и помнил, кого это может интересовать?

— Так как же быть? — начал хозяин.— В моей первой любви тоже не много занимательного; я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой,— и всё у нас шло как по маслу: отцы нас со сватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак не мешкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви, надеялся на вас, не скажу старых, но и не молодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович?

— Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных,— ответил с небольшою запинкой Владимир Петрович, человек лет сорока, черноволосый, с проседью.

— А! — промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос.— Тем лучше... Рассказывайте.

— Извольте... или нет: рассказывать я не стану; я не мастер рассказывать: выходит сухо и коротко или пространно и фальшиво; а если позволите, я запишу всё, что вспомню, в тетрадку — и прочту вам.

Прятели сперва не согласились, но Владимир Петрович настоял на своем. Через две недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал свое обещание.

Вот что стояло в его тетрадке:

## I

Мне было тогда шестнадцать лет. Дело происходило летом 1833 года.

Я жил в Москве у моих родителей. Они нанимали дачу около Калужской заставы, против Нескучного. Я готовился в университет, но работал очень мало и не торопясь.



Никто не стеснял моей свободы. Я делал что хотел, особенно с тех пор, как я расстался с последним моим гувернером-французом, который никак не мог привыкнуть к мысли, что он упал «как бомба» (*comme une bombe*) в Россию, и с ожесточенным выражением на лице по целым дням валялся на постели. Отец обходился со мной равнодушно-ласково; матушка почти не обращала на меня внимания, хотя у ней, кроме меня, не было детей: другие заботы ее поглощали. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету; она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь: беспрестанно волновалась, ревновала, сердилась — но не в присутствии отца; она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно... Я не видал человека более изысканно спокойного, самоуверенного и самовластного.

Я никогда не забуду первых недель, проведенных мною на даче. Погода стояла чудесная; мы переехали из города девятого мая, в самый Николин день. Я гулял — то в саду нашей дачи, то по Нескучному, то за заставой; брал с собою какую-нибудь книгу — курс Кайданова, например, — но редко ее развертывал, а больше вслух читал стихи, которых знал очень много на память; кровь бродила во мне, и сердце ныло — так сладко и смешно: я всё ждал, робел чего-то и всему дивился и весь был наготове; фантазия играла и носилась быстро вокруг одних и тех же представлений, как на заре стрижи вокруг колокольни; я задумывался, грустил и даже плакал; но и сквозь слезы и сквозь грусть, навеянную то певучим стихом, то красотой вечера, проступало, как весенняя травка, радостное чувство молодой, закипающей жизни.

У меня была верховая лошадка, я сам ее седлал и уезжал один куда-нибудь подале, пускался вскачь и воображал себя рыцарем на турнире — как весело дуло мне в уши ветер! — или, обратив лицо к небу, принимал его сияющий свет и лазурь в разверстую душу.

Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме; но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского...

Это предчувствие, это ожидание проникло весь мой состав: я дышал им, оно катилось по моим жилам в каж-



дой капле крови... ему было суждено скоро сбыться.

Дача наша состояла из деревянного барского дома с колоннами и двух низеньких флигельков; во флигеле налево помещалась крохотная фабрика дешевых обоев... Я не раз хаживал туда смотреть, как десяток худых и взъерошенных мальчишек в засаленных халатах и с испитыми лицами то и дело вскакивали на деревянные рычаги, нажимавшие четырехугольные обрубки прессы, и таким образом тяжестью своих тщедушных тел вытискивали пестрые узоры обоев. Флигелек направо стоял пустой и отдавался внаймы. В один день — недели три спустя после девятого мая — ставни в окнах это-



го флигелька открылись, показались в них женские лица — какое-то семейство в нем поселилось. Помнится, в тот же день за обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услышав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения: «А! княгиня...— а потом прибавила: — Должно быть, бедная какая-нибудь».

— На трех извозчиках приехали-с,— заметил, почтительно подавая блюдо, дворецкий,— своего экипажа не имеют-с, и мебель самая пустая.

— Да,— возразила матушка,— а все-таки лучше.

Отец холодно взглянул на нее: она умокла.

Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной: нанятый ею флигелек был так ветх, и мал, и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это всё мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал: я недавно прочел «Разбойников» Шиллера.

## II

У меня была привычка бродить каждый вечер с ружьем по нашему саду и караулить ворон. К этим осторожным, хищным и лукавым птицам я издавна чувствовал ненависть. В день, о котором зашла речь, я также отправился в сад — и, напрасно исходив все аллеи (вороны меня признали и только издали отрывисто каркали), случайно приблизился к низкому забору, отделявшему собственно наши владения от узенькой полосы сада, простиравшейся за флигельком направо и принадлежавшей к нему. Я шел потупя голову. Вдруг мне послышались голоса; я взглянул через забор — и окаменел... Мне представилось странное зрелище.

В нескольких шагах от меня — на поляне, между кустами зеленой малины, стояла высокая стройная девушка в полосатом розовом платье и с белым платочком на голове; вокруг нее теснились четыре молодые человека, и она поочередно хлопала их по лбу теми небольшими серыми цветками, которых имени я не знаю, но которые хорошо знакомы детям: эти цветки образуют небольшие мешочки и разрываются с треском, когда хлопнешь ими по чему-нибудь твердому. Молодые люди так охотно подставляли свои лбы — а в движениях девушки (я ее видел сбоку)



было что-то такое очаровательное, повелительное, ласкающее, насмешливое и милое, что я чуть не вскрикнул от удивления и удовольствия и, кажется, тут же бы отдал всё на свете, чтобы только и меня эти прелестные пальчики хлопнули по лбу. Ружье мое соскользнуло на траву, я всё забыл, я пожирал взором этот стройный стан, и шейку, и красивые руки, и слегка растрепанные белокурые волосы под белым платочком, и этот полузакрытый умный глаз, и эти ресницы, и нежную щеку под ними...

— Молодой человек, а молодой человек, — проговорил вдруг подле меня чей-то голос, — разве позволительно глядеть так на чужих барышень?

Я вздрогнул весь, я обомлел... Возле меня за забором стоял какой-то человек с коротко остриженными черными волосами и иронически посматривал на меня. В это самое мгновение и девушка обернулась ко мне... Я увидел огромные серые глаза на подвижном, оживленном лице — и всё это лицо вдруг задрожало, засмеялось, белые зубы сверкнули на нем, брови как-то забавно поднялись... Я вспыхнул, схватил с земли ружье и, преследуемый звонким, но не злым хохотаньем, убежал к себе в комнату, бросился на постель и закрыл лицо руками. Сердце во мне так и прыгало; мне было очень стыдно и весело: я чувствовал небывалое волнение.

Отдохнув, я причесался, почистился и сошел вниз к чаю. Образ молодой девушки носился передо мною, сердце перестало прыгать, но как-то приятно жималось.

— Что с тобой? — внезапно спросил меня отец, — убил ворону?

Я хотел было всё рассказать ему, но удержался и только улыбнулся про себя. Ложась спать, я, сам не зная зачем, раза три повернулся на одной ноге, нападаясь, лег и всю ночь спал как убитый. Перед утром я проснулся на мгновенье, приподнял голову, посмотрел вокруг себя с восторгом — и опять заснул.

### III

«Как бы с ними познакомиться?» — было первою моею мыслью, как только я проснулся поутру. Я перед чаем отправился в сад, но не подходил слишком близко к забору и никого не видел. После чаю я прошелся несколько раз по улице перед дачей — и издали заглядывал в окна... Мне почудилось за занавеской ее лицо, и я с испугом поскорее удалился.

«Однако надо же познакомиться, — думал я, беспорядочно расхаживая по песчаной равнине, расстилавшейся перед Нескучным, — но как? Вот в чем вопрос». Я припомнил малейшие подробности вчерашней встречи: мне почему-то особенно ясно представлялось, как это она посмеялась надо мною... Но, пока я волновался и строил различные планы, судьба уже порадела обо мне.

В мое отсутствие матушка получила от новой своей соседки письмо на серой бумаге, запечатанной бурым сургучом какой употребляется только на почтовых повестках да на пробках дешевого вина. В этом письме, написанном безграмотным языком и неопрятным почерком, княгиня просила матушку оказать ей покровительство: матушка моя, по словам княгини, была хорошо знакома с значительными людьми, от которых зависела ее участь и участь ее детей, так как у ней были очень важные процессы. «Я квам обращаюсь, — писала она, — как благородная дама хблагородной даме, и при том мне прятно воспользоватца сим случаем». Кончая, она просила у матушки позволения явиться к ней. Я застал матушку в неприятном расположении духа: отца не было дома, и ей не с кем было посоветоваться. Не отвечать «благородной даме», да еще княгине, было невозможно, а как отвечать — матушка недоумевала. Написать записку по-французски казалось ей неуместным, а в русской орфографии сама матушка не была сильна — и знала это и не хотела компрометироваться. Она обрадовалась моему приходу и тотчас приказала мне сходить к княгине и на словах объяснить ей, что матушка, мол, моя всегда готова оказать ее сиятельству, по мере сил, услугу и просит ее пожаловать к ней часу в первом. Неожиданно быстрое исполнение моих тайных желаний меня и обрадовало и испугало; однако я не выказал овладевшего мною смущения — и предварительно отправился к себе в комнату, чтобы надеть новенький галстук и сюртучок: дома я еще ходил в куртке и в отложных воротничках, хотя очень ими тяготился.

### IV

В тесной и неопрятной передней флигелька, куда я вступил с невольной дрожью во всем теле, встретил меня старый и седой слуга с темным, медного цвета, лицом, свиными угрюмыми глазками и такими глубокими морщинами на лбу и на



висках, каких я в жизни не видывал. Он нес на тарелке обглоданный хребет селедки и, притворяя ногою дверь, ведущую в другую комнату, отрывисто проговорил:

— Чего вам?

— Княгиня Засекина дома? — спросил я.

— Вонифатий! — закричал из-за двери дребезжащий женский голос.

Слуга молча повернулся ко мне спиной, причем обнаружилась сильно истертая спинка его ливреи, с одинокой порывелой гербовой пуговицей, и ушел, поставив тарелку на пол.

— В квартал ходил? — повторил тот же женский голос. Слуга пробормотал что-то. — А?.. Пришел кто-то?.. — послышалось опять. — Барчук соседний? Ну, проси.

— Пожалуйста с в гостиную, — проговорил слуга, появившись снова передо мною и поднимая тарелку с полу.

Я оправился и вошел в «гостиную».

Я очутился в небольшой и не совсем опрятной комнате с бедной, словно наскоро расставленной мебелью. У окна, на кресле с отломанной ручкой, сидела женщина лет пятидесяти, простоволосая и некрасивая, в зеленом старом платье и с пестрой гарусной косынкой вокруг шеи. Ее небольшие черные глазки так и впились в меня.

Я подошел к ней и раскланялся.

— Я имею честь говорить с княгиней Засекиной?

— Я княгиня Засекина; а вы сын господина В.?

— Точно так-с. Я пришел к вам с поручением от матушки.

— Садитесь, пожалуйста. Вонифатий! где мои ключи, не видал?

Я сообщил г-же Засекиной ответ моей матушки на ее записку. Она выслушала меня, постукивая толстыми красными пальцами по оконнице, а когда я кончил, еще раз уставилась на меня.

— Очень хорошо; непременно буду, — промолвила она наконец. — А как вы еще молоды! Сколько вам лет, позвольте спросить?

— Шестнадцать лет, — отвечал я с невольной запинкой.

Княгиня достала из кармана какие-то исписанные, засаленные бумаги, поднесла их к самому носу и принялась перебирать их.

— Годы хорошие, — произнесла она внезапно, поворачиваясь и ерзая на стуле. — А вы, пожалуйста, будьте без церемонии. У меня просто.



«Слишком просто», — подумал я, с невольной гадливостью окидывая взглядом всю ее неблагообразную фигуру.

В это мгновенье другая дверь гостиной быстро запахнулась, и на пороге появилась девушка, которую я видел накануне в саду. Она подняла руку, и на лице ее мелькнула усмешка.

— А вот и дочь моя, — промолвила княгиня, указав на нее локтем. — Зиночка, сын нашего соседа, господина В. Как вас зовут, позвольте узнать?

— Владимиром, — отвечал я, вставая и пришепывая от волнения.

— А по батюшке?

— Петровичем.

— Да! У меня был полицеймейстер знакомый, тоже Владимиром Петровичем звали. Вонифатий! не ищи ключей, ключи у меня в кармане.

Молодая девушка продолжала глядеть на меня с прежней усмешкой, слегка щурясь и склонив голову немного набок.

— Я уже видела мсьё Вольдемара,— начала она. (Серебристый звук ее голоса пробежал по мне каким-то сладким холодком.) — Вы мне позволите так называть вас?

— Помилуйте-с,— пролепетал я.

— Где это? — спросила княгиня.

Княжна не отвечала своей матери.

— Вы теперь заняты? — промолвила она, не спуская с меня глаз.

— Никак нет-с.

— Хотите вы мне помочь шерсть распутать? Подите сюда, ко мне.

Она кивнула мне головой и пошла вон из гостиной. Я отправился вслед за ней.

В комнате, куда мы вошли, мебель была немного получше и расставлена с большим вкусом. Впрочем, в это мгновение я почти ничего заметить не мог: я двигался как во сне и ощущал во всем составе своем какое-то до глупости напряженное благополучие.

Княжна села, достала связку красной шерсти и, указав мне на стул против нее, старательно развязала связку и положила мне ее на руки. Всё это она делала молча, с какой-то забавной медлительностью и с той же светлой и лукавой усмешкой на чуть-чуть раскрытых губах. Она начала наматывать шерсть на перегнутую карту и вдруг озарила меня таким ясным и быстрым взглядом, что я неловко потупился. Когда ее глаза, большею частью полуприщуренные, открывались во всю величину свою,— ее лицо изменялось совершенно: точно свет проливался по нем.

— Что вы подумали обо мне вчера, мсьё Вольдемар? — спросила она погодя немного.— Вы, наверное, осудили меня?

— Я... княжна... я ничего не думал... как я могу...— отвечал я с смущением.

— Послушайте,— возразила она.— Вы меня еще не знаете: я престранная; я хочу, чтоб мне всегда правду говорили. Вам, я слышала, шестнадцать лет, а мне двадцать один: вы видите, я гораздо старше вас, и потому вы всегда должны мне говорить правду... и слушаться меня,— прибавила она.— Глядите на меня — отчего вы на меня не глядите?

Я смутился еще более, однако поднял на нее глаза. Она улыбнулась, только не прежней, а другой, одобрительной улыбкой.

— Глядите на меня,— промолвила она, ласково понижая голос,— мне это не неприятно... Мне ваше лицо нравится; я предчувствую, что мы будем друзьями.

А я вам нравлюсь? — прибавила она лукаво.

— Княжна...— начал было я.

— Во-первых, называйте меня Зинаидой Александровной, а во-вторых, что это за привычка у детей (она поправилась) — у молодых людей — не говорить прямо то, что они чувствуют? Это хорошо для взрослых. Ведь я вам нравлюсь?

Хотя мне очень было приятно, что она так откровенно со мной говорила, однако я немного обиделся. Я хотел показать ей, что она имеет дело не с мальчиком, и, приняв по возможности развязный и серьезный вид, промолвил:

— Конечно, вы очень мне нравитесь, Зинаида Александровна; я не хочу это скрывать.

Она с расстановкой покачала головой.

— У вас есть гувернер? — спросила она вдруг.

— Нет, у меня уже давно нет гувернера.

Я лгал; еще месяца не прошло с тех пор, как я расстался с моим французом.

— О! да я вижу — вы совсем большой.

Она легонько ударила меня по пальцам.

— Держите прямо руки! — И она прилежно занялась наматыванием клубка.

Я воспользовался тем, что она не поднимала глаз, и принялся ее рассматривать: сперва украдкой, потом всё смелее и смелее. Лицо ее показалось мне еще прелестнее, чем накануне: так всё в нем было тонко, умно и мило. Она сидела спиной к окну, завешенному белой сторой; солнечный луч, пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким светом ее пушистые золотистые волосы, ее невинную шею, покатые плечи и нежную, спокойную грудь. Я глядел на нее — и как дорогá и близка становилась она мне! Мне сдавалось, что и давно-то я ее знаю и ничего не знал и не жил до нее... На ней было темненькое, уже поиошенное, платье с передником; я, кажется, охотно поласкал бы каждую складку этого платья и этого передника. Кончики ее ботинок выглядывали из-под ее платья: я бы с обожанием преклонился к этим ботинкам... «И вот я сижу перед ней,— подумал я,— я с ней познакомился... какое счастье, боже мой!» Я чуть не соскочил со стула от восторга, но только ногами немного поболтал, как ребенок, который лакомится.

Мне было хорошо, как рыбе в воде, и я бы век не ушел из этой комнаты, не покинул бы этого места.



Ее веки тихо поднялись, и опять ласково засияли передо мною ее светлые глаза — и опять она усмехнулась.

— Как вы на меня смотрите, — медленно проговорила она и погрозила мне пальцем.

Я покраснел... «Она всё понимает, она всё видит, — мелькнуло у меня в голове. — И как ей всего не понимать и не видеть!»

Вдруг что-то застучало в соседней комнате — зазвенела сабля.

— Зина! — закричала в гостиной княгиня, — Беловзоров принес тебе котенка.

— Котенка! — воскликнула Зинаида и, стремительно поднявшись со стула, бросила клубок мне на колени и выбежала вон.



Я тоже встал и, положив связку шерсти и клубок на оконницу, вышел в гостиную и остановился в недоумении. По середине комнаты лежал, растопыря лапки, полосатый котенок; Зинаида стояла перед ним на коленях и осторожно поднимала ему мордочку. Возле княгини, заслонив почти весь простенок между окнами, виднелся белокурый и курчавый молодец, гусар с румяным лицом и глазами навывкате.

— Какой смешной! — твердила Зинаида, — и глаза у него не серые, а зеленые, и уши какие большие. Спасибо вам, Виктор Егорыч! Вы очень милы.

Гусар, в котором я узнал одного из виденных мною накануне молодых людей, улыбнулся и поклонился, причем щелкнул шпорами и брякнул колечками сабли.

— Вам угодно было вчера сказать, что вы желаете иметь полосатого котенка с большими ушами... вот, я и достал-с. Слово — закон. — И он опять поклонился.

Котенок слабо пискнул и начал нюхать пол.

— Он голоден! — воскликнула Зинаида. — Вонифатий! Соня! принесите молока.

Горничная, в старом желтом платье с полинялым платочком на шее, вошла с блюдечком молока в руке и поставила его перед котенком. Котенок дрогнул, зажмурился и принялся лакать.

— Какой у него розовый язычок, — заметила Зинаида, пригнув голову почти к полу и заглядывая ему сбоку под самый нос.

Котенок насытился и замурылкал, жеманно перебирая лапками. Зинаида встала и, обернувшись к горничной, равнодушно промолвила:

— Унеси его.

— За котенка — ручку, — проговорил гусар, ослабев и передернув всем своим могучим телом, туго затянутым в новый мундир.

— Обе, — возразила Зинаида и протянула к нему руки. Пока он целовал их, она смотрела на меня через плечо.

Я стоял неподвижно на одном месте и не знал — засмеяться ли мне, сказать ли что-нибудь, или так промолчать. Вдруг, сквозь раскрытую дверь передней, мне бросилась в глаза фигура нашего лакея Федора. Он делал мне знаки. Я машинально вышел к нему.

— Что ты? — спросил я.

— Маменька прислали за вами, — проговорил он шепотом. — Оне гневаются, что вы с ответом не ворочаетесь.





вышел из комнаты с тем чувством неловкости в спине, которое ощущает очень молодой человек, когда он знает, что ему глядят вслед.

— Смотрите же, мсье Вольдемар, заходите к нам, — крикнула Зинаида и опять рассмеялась.

«Что это она всё смеется?» — думал я, возвращаясь домой в сопровождении Федора, который ничего мне не говорил, но двигался за мной неодобрительно. Матушка меня побранила и удивилась: что я мог так долго делать у этой княгини? Я ничего не отвечал ей и отправился к себе в комнату. Мне вдруг стало очень грустно... Я силился не плакать... Я ревновал к гусару.

## V

Княгиня, по обещанию, навестила матушку и не понравилась ей. Я не присутствовал при их свидании, но за столом матушка рассказывала отцу, что эта княгиня Засекина ей кажется une femme très vulgaire<sup>1</sup>, что она очень ей надоела своими просьбами ходатайствовать за нее у князя Сергея, что у ней всё какие-то тяжбы и дела — des vilaines affaires d'argent<sup>2</sup> — и что она должна быть великая кляузница. Матушка, однако же, прибавила, что она позвала ее с дочерью на завтрашний день обедать (услышав слово «с дочерью», я уткнул нос в тарелку), потому что она все-таки соседка, и с именем. На это отец объявил матушке, что он теперь припоминает, какая это госпожа; что он в молодости знал покойного князя Засекина, отлично воспитанного, но пустого и вздорного человека; что его в обществе звали «le Parisien»<sup>3</sup>, по причине его долгого житья в Париже; что он был очень богат, но проиграл всё свое состояние — и неизвестно почему, чуть ли не из-за денег, — впрочем, он бы мог лучше выбрать, — прибавил отец и холодно улыбнулся, — женился на дочери какого-то приказного, а женившись, пустился в спекуляции и разорился окончательно.

— Как бы она денег займы не попросила, — заметила матушка.

— Это весьма возможно, — спокойно промолвил отец. — Говорит она по-французски?

<sup>1</sup> женщиной весьма вульгарной (франц.).

<sup>2</sup> гадкие денежные дела (франц.).

<sup>3</sup> «Парижанин» (франц.).

— Да разве я давно здесь?

— Час с лишком.

— Час с лишком! — повторил я невольно и, вернувшись в гостиную, начал раскланиваться и шаркать ногами.

— Куда вы? — спросила меня княжна, взглянув из-за гусара.

— Мне нужно домой-с. Так я скажу, — прибавил я, обращаясь к старухе, — что вы пожалуете к нам во втором часу.

— Так и скажите, батюшка.

Княгиня торопливо достала табакерку и так шумно понюхала, что я даже вздрогнул.

— Так и скажите, — повторила она, слезливо моргая и кряхтя.

— Очень плохо.

— Гм. Впрочем, это всё равно. Ты мне, кажется, сказала, что ты и дочь ее позвала; меня кто-то уверял, что она очень милая и образованная девушка.

— А! Стало быть, она не в мать.

— И не в отца,— возразил отец.— Тот был тоже образован, да глуп.

Матушка вздохнула и задумалась. Отец умолк. Мне было очень неловко в течение этого разговора.

После обеда я отправился в сад, но без ружья. Я дал было себе слово не подходить к «засекинскому саду», но неотразимая сила влекла меня туда — и недаром. Не успел я приблизиться к забору, как увидел Зинаиду. На этот раз она была одна. Она держала в руках книжку и медленно шла по дорожке. Она меня не замечала.

Я чуть-чуть не пропустил ее; но вдруг спохватился и кашлянул.

Она обернулась, но не остановилась, отвела рукою широкую голубую ленту своей круглой соломенной шляпы, посмотрела на меня, тихонько улыбнулась и опять устремила глаза в книжку.

Я снял фуражку и, помявшись немного на месте, пошел прочь с тяжелым сердцем. «Que suis-je pour elle?»<sup>1</sup> — подумал я (бог знает почему) по-французски.

Знакомые шаги раздались за мною: я оглянулся — ко мне своей быстрой и легкой походкой шел отец.

— Это княжна? — спросил он меня.

— Княжна.

— Разве ты ее знаешь?

— Я ее видел сегодня утром у княгини.

Отец остановился и, круто повернувшись на каблуках, пошел назад. Поравнявшись с Зинаидой, он вежливо ей поклонился. Она также ему поклонилась, не без некоторого изумления на лице, и опустила книгу. Я видел, как она провожала его глазами. Мой отец всегда одевался очень изящно, своеобразно и просто; но никогда его фигура не показалась мне более стройной, никогда его серая шляпа не сидела красивее на его едва поредевших кудрях.

Я направился было к Зинаиде, но она даже не взглянула на меня, снова подняла книгу и удалилась.

Целый вечер и следующее утро я провел в каком-то унылом онемении. Помнится, я попытался работать и взялся за Кайдашова — но напрасно мелькали передо мною разгонистые строчки и страницы знаменитого учебника. Десять раз сряду прочел я слова: «Юлий Цезарь отличался воинской отвагой» — не понял ничего и бросил книгу. Перед обедом я опять напонадилась и опять надел сюртучок и галстук.

— Это зачем? — спросила матушка.— Ты еще не студент, и бог знает, выдержишь ли ты экзамен. Да и давно ли тебе сшили куртку? Не бросать же ее!

— Гости будут,— прошептал я почти с отчаянием.

— Вот вздор! какие это гости!

Надо было покориться. Я заменил сюртучок курткой, но галстуха не снял. Княгиня с дочерью явилась за полчаса до обеда; старуха сверх зеленого, уже знакомого мне платья накинула желтую шаль и надела старомодный чепец с лентами огненного цвета. Она тотчас заговорила о своих векселях, вздыхала, жаловалась на свою бедность, «канючила», но нисколько не чинилась: так же шумно нюхала табак, так же свободно поворачивалась и ерзала на стуле. Ей как будто и в голову не входило, что она княгиня. Зато Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной. На лице ее появилась холодная неподвижность и важность — и я не узнавал ее, не узнавал ее взглядов, ее улыбки, хотя и в этом новом виде она мне казалась прекрасной. На ней было легкое барежевое платье с бледно-синими разводами; волосы ее падали длинными локонами вдоль щек — на английский манер; эта прическа шла к холодному выражению ее лица. Отец мой сидел возле нее во время обеда и со свойственной ему изящной и спокойной вежливостью занимал свою соседку. Он изредка взглядывал на нее — и она изредка на него взглядывала, да так странно, почти враждебно. Разговор у них шел по-французски; меня, помнится, удивила чистота Зинаидина произношения. Княгиня, во время стола, по-прежнему ничем не стеснялась, много ела и хвалила кушанья. Матушка видимо ею тяготилась и отвечала ей с каким-то грустным пренебрежением; отец изредка чуть-чуть морщил брови. Зинаида также не понравилась матушке.

— Это какая-то гордячка,— говорила она на следующий день.— И подума-

<sup>1</sup> «Что я для нее?» (франц.)

ешь — чего гордиться — avec sa mine de grisette!<sup>1</sup>

— Ты, видно, не видала гризеток, — заметил ей отец.

— И слава богу!

— Разумеется, слава богу... только как же ты можешь судить о них?

На меня Зинаида не обращала решительно никакого внимания. Скоро после обеда княгиня стала прощаться.

— Буду надеяться на ваше покровительство, Марья Николаевна и Петр Васильич, — сказала она нараспев матушке и отцу. — Что делаты! Были времена, да прошли. Вот и я — сиятельная, — прибавила она с неприятным смехом, — да что за честь, коли нечего есть.

Отец почтительно ей поклонился и проводил ее до двери передней. Я стоял тут же в своей куртке и глядел на пол, словно к смерти приговоренный. Обращение Зинаиды со мной меня окончательно убило. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо меня, она скороговоркой и с прежним ласковым выражением в глазах шепнула мне:

— Приходите к нам в восемь часов, слышите, непременно...

Я только развел руками — но она уже удалилась, накинув на голову белый шарф.

## VII

Ровно в восемь часов я в сюртуке и с приподнятым на голове коком входил в переднюю флигелька, где жила княгиня. Старик-слуга угрюмо посмотрел на меня и неохотно поднялся с лавки. В гостиной раздавались веселые голоса. Я отворил дверь и отступил в изумлении. Посреди комнаты, на стуле, стояла княжна и держала перед собой мужскую шляпу; вокруг стула толпилось пятеро мужчин. Они старались запустить руки в шляпу, а она поднимала ее кверху и сильно встряхивала ею. Увидевши меня, она вскрикнула:

— Пойдите, пойдите! новый гость, надо и ему дать билет, — и, легко соскочив со стула, взяла меня за обшлаг сюртука. — Пойдемте же, — сказала она, — что вы стоите? Messieurs<sup>2</sup>, позвольте вас познакомить: это мсьё Вольдемар, сын нашего соседа. А это, — прибавила она, обращаясь ко мне и указывая поочередно

на гостей, — граф Малевский, доктор Лушин, поэт Майданов, отставной капитан Нирмацкий и Беловзоров, гусар, которого вы уже видели. Прошу любить да жаловать.

Я до того сконфузился, что даже не поклонился никому; в докторе Лушине я узнал того самого черномазого господина, который так безжалостно меня пристыдил в саду; остальные были мне незнакомы.

— Граф! — продолжала Зинаида, — напишите мсьё Вольдемару билет.

— Это несправедливо, — возразил с легким польским акцентом граф, очень красивый и щегольски одетый брюнет, с выразительными карими глазами, узким белым носиком и тонкими усиками над крошечным ртом. — Они не играли с нами в фанты.

— Несправедливо, — повторили Беловзоров и господин, названный отставным капитаном, человек лет сорока, рябой до безобразия, курчавый как арап, сутуловатый, кривоногий и одетый в военный сюртук без эполет, нараспапку.

— Пишите билет, говорят вам, — повторила княжна. — Это что за бунт? Мсьё Вольдемар с нами в первый раз, и сегодня для него закон не писан. Нечего ворчать, пишите, я так хочу.

Граф пожал плечами, но наклонил покорно голову, взял перо в белую, перстнями украшенную руку, оторвал клочок бумаги и стал писать на нем.

— По крайней мере позвольте объяснить господину Вольдемару, в чем дело, — начал наשמеливым голосом Лушин, — а то он совсем растерялся. Видите ли, молодой человек, мы играем в фанты; княжна подверглась штрафу, и тот, кому вынется счастливый билет, будет иметь право поцеловать у ней ручку. Поняли ли вы, что я вам сказал?

Я только взглянул на него и продолжал стоять как отуманенный, а княжна снова вскочила на стул и снова принялась встряхивать шляпой. Все к ней потянулось — и я за другими.

— Майданов, — сказала княжна высокому молодому человеку с худощавым лицом, маленькими слепыми глазками и чрезвычайно длинными черными волосами, — вы, как поэт, должны быть великодушны и уступить ваш билет мсьё Вольдемару, так, чтобы у него было два шанса вместо одного.

Но Майданов отрицательно покачал головой и взмахнул волосами. Я после всех опустил руку в шляпу, взял и развернул билет... Господи! что случилось со

<sup>1</sup> с ее внешностью гризетки (франц.).

<sup>2</sup> Господа (франц.).



мною, когда я увидал на нем слово: поцелуй!

— Поцелуй! — вскрикнул я невольно.

Браво! он выиграл, — подхватила княжна. — Как я рада! — Она сошла со стула и так ясно и сладко заглянула мне в глаза, что у меня сердце покатилося. — А вы рады? — спросила она меня.

Я?.. — пролепетал я.

Продайте мне свой билет, — брякнул вдруг над самым моим ухом Беловзоров. — Я вам сто рублей дам.

Я отвечал гусару таким негодующим взором, что Зинаида захлопала в ладоши, а Лушин воскликнул: молодец!

— Но, — продолжал он, — я, как церемониймейстер, обязан наблюдать за исполнением всех правил. Мсьё Вольдемар, опуститесь на одно колено. Так у нас заведено.

Зинаида стала передо мной, наклонила немного голову набок, как бы для того, чтобы лучше рассмотреть меня, и с важностью протянула мне руку. У меня помутилось в глазах; я хотел было опуститься на одно колено, упал на оба — и так неловко прикоснулся губами к пальцам Зинаиды, что слегка оцарапал себе конец носа ее ногтем.

— Добре! — закричал Лушин и помог мне встать.

Игра в фанты продолжалась. Зинаида посадила меня возле себя. Каких ни придумывала она штрафов! Ей пришлось, между прочим, представлять «статую» — и она в пьедестал себе выбрала безобразного Нирмацкого, велела ему лечь ничком, да еще уткнуть лицо в грудь. Хохот не умолкал ни на мгновение. Мне, уединенно и трезво воспитанному мальчику, выросшему в барском степенном доме, весь этот шум и гам, эта бесцеремонная, почти буйная веселость, эти небывалые сношения с незнакомыми людьми так и бросились в голову. Я просто опьянел, как от вина. Я стал хохотать и болтать громче других, так что даже старая княгиня, сидевшая в соседней комнате с каким-то приказным от Иверских ворот, позванным для совещания, вышла посмотреть на меня. Но я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов. Зинаида продолжала оказывать мне предпочтение и не отпускала меня от себя. В одном штрафе мне довелось сидеть с ней рядом, накрывшись одним и тем же шелковым платком: я должен был сказать ей свой секрет. Помню я, как наши обе головы вдруг очутились в душной, полупрозрач-

ной, пахучей мгле, как в этой мгле близко и мягко светились ее глаза и горячо дышали раскрытые губы, и зубы виднелись, и концы ее волос меня щекотали и жгли. Я молчал. Она улыбалась таинственно и лукаво и наконец шепнула мне: «Ну, что же?», а я только краснел и смеялся, и отворачивался, и едва переводил дух. Фанты наскучили нам, — мы стали играть в веревочку. Боже мой! какой я почувствовал восторг, когда, зазевавшись, получил от ней сильный и резкий удар по пальцам, и как потом я нарочно старался показывать вид, что зазеваюсь, а она дразнила меня и не трогала подставляемых рук!

Да то ли мы еще продельвали в течение этого вечера! Мы и на фортепьяно играли, и пели, и танцевали, и представляли цыганский табор. Нирмацкого одели медведем и напоили водою с солью. Граф Малевский показывал нам разные карточные фокусы и кончил тем, что, перетащив карты, сдал себе в вист все козыри, с чем Лушин «имел честь его поздравить». Майданов декламировал нам отрывки из поэмы своей «Убийца» (дело происходило в самом разгаре романтизма), которую он намеревался издать в черной обертке с заглавными буквами кровавого цвета; у приказного от Иверских ворот украли с колен шапку и заставили его, в виде выкупа, проплясать казачка; старика Вонифатия нарядили в чепец, а княжна надела мужскую шляпу... Всего не перечислишь. Один Беловзоров все больше держался в углу, нахмуренный и сердитый... Иногда глаза его наливались кровью, он весь краснел, и казалось, что вот-вот он сейчас ринется на всех нас и расшвыряет нас, как щепки, во все стороны; но княжна взглядывала на него, грозила ему пальцем, и он снова забивался в свой угол.

Мы, наконец, выбились из сил. Книжня уж на что была, как сама выражалась, ходка — никакие крики ее не смущали, — однако и она почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. В двенадцатом часу ночи подали ужин, состоявший из куска старого, сухого сыру и каких-то холодных пирожков с рубленой ветчиной, которые мне показались вкуснее всяких паштетов; вина была всего одна бутылка, и та какая-то странная: темная, с раздутым горлышком, и вино в ней отдавало розовой краской: впрочем, его никто не пил. Усталый и счастливый до изнеможения, я вышел из флигеля; на прощанье Зинаида мне крепко пожала руку и опять загадочно улыбнулась.



Ночь тяжело и сыро пахнула мне в разгоряченное лицо; казалось, готовилась гроза; черные тучи росли и ползли по небу, видимо меняя свои дымные очертания. Ветерок беспокойно содрогался в темных деревьях, и где-то далеко за небосклоном, словно про себя, ворчал гром сердито и глухо.

Через заднее крыльцо пробрался я в свою комнату. Дядька мой спал на полу, и мне пришлось перешагнуть через него; он проснулся, увидел меня и доложил, что матушка опять на меня рассердилась и опять хотела послать за мною, но что отец ее удержал. (Я никогда не ложился спать, не простившись с матушкой и не испросивши ее благословения.) Нечего было делать!

Я сказал дядьке, что разденусь и лягу сам, — и погасил свечку. Но я не разделся и не лег.

Я присел на стул и долго сидел как очарованный. То, что я ощущал, было так ново и так сладко... Я сидел, чуть-чуть озираясь и не шевелясь, медленно дышал и только по временам то молча смеялся, вспоминая, то внутренно холодел при мысли, что я влюблен, что вот она, вот эта любовь. Лицо Зинаиды тихо плыло передо мною во мраке — плыло и не проплывало; губы ее всё так же загадочно улыбались, глаза глядели на меня немного сбоку, вопросительно, задумчиво и нежно... как в то мгновение, когда я расстался с ней. Наконец я встал, на цыпочках подошел к своей постели и осторожно, не раздеваясь, положил голову на подушку, как бы страшась резким движением потревожить то, чем я был переполнен...

Я лег, но даже глаз не закрыл. Скоро я заметил, что ко мне в комнату беспрестанно западали какие-то слабые отсветы. Я приподнялся и глянул в окно. Переplet его четко отделялся от таинственно и смутно белевших стекол. «Гроза», — подумал я, — и точно была гроза, но она проходила очень далеко, так что и грома не было слышно; только на небе непрерывно вспыхивали неяркие, длинные, словно разветвленные молнии: они не столько вспыхивали, сколько трепетали и подергивались, как крыло умирающей птицы. Я встал, подошел к окну и простоял там до утра... Молнии не прекращались ни на мгновение; была, что называется в народе, воробыная ночь. Я глядел на немое песчаное поле, на темную массу Нескучного сада, на желтоватые фасады далеких зданий, тоже как будто вздрагивавших при каждой слабой вспышке... Я глядел — и не мог оторвать

ся; эти немые молнии, эти сдержанные блистания, казалось, отвечали тем немым и тайным порывам, которые вспыхивали также во мне. Утро стало заниматься; алыми пятнами выступила заря. С приближением солнца всё бледнели и сокращались молнии: они вздрагивали всё реже и реже и исчезли наконец, затопленные отрезвляющим и несомнительным светом возникшего дня...

И во мне исчезли мои молнии. Я почувствовал большую усталость и тишину... но образ Зинаиды продолжал носиться, торжествуя, над моею душой. Только он сам, этот образ, казался успокоенным: как полетевший лебедь — от болотных трав, отделился он от окружающих его других неблагоприятных фигур, и я, засыпая, в последний раз припал к нему с прощальным и доверчивым обожанием...

О, кроткие чувства, мягкие звуки, доброты и утихание тронутой души, тающая радость первых умилений любви, — где вы, где вы?

## VIII

На следующее утро, когда я сошел к чаю, матушка побранила меня — меньше, однако, чем я ожидал — и заставила меня рассказать, как я провел накануне вечер. Я отвечал ей в немногих словах, выпуская многие подробности и стараясь придать всему вид самый невинный.

— Все-таки они люди не сонне il faut, — заметила матушка, — и тебе нечего к ним таскаться, вместо того чтоб готовиться к экзамену да заниматься.

Так как я знал, что заботы матушки о моих занятиях ограничатся этими немногими словами, то я и не почел нужным возражать ей; но после чаю отец меня взял под руку и, отправившись вместе со мною в сад, заставил меня рассказать всё, что я видел у Засекиных.

Странное влияние имел на меня отец — и странные были наши отношения. Он почти не занимался моим воспитанием, но никогда не оскорблял меня; он уважал мою свободу — он даже был, если можно так выразиться, вежлив со мною... Только он не допускал меня до себя. Я любил его, я любовался им, он казался мне образцом мужчины — и, боже мой, как бы я страстно к нему привязался, если б я постоянно не чувствовал его отклоняющей руки! Зато, когда он хотел, он умел почти мгновенно, одним словом, одним движением возбудить во мне



неограниченное доверие к себе. Душа моя раскрывалась — я болтал с ним, как с разумным другом, как с снисходительным наставником... Потом он так же внезапно покидал меня — и рука его опять отклоняла меня, ласково и мягко, но отклоняла.

На него находила иногда веселость, и тогда он готов был резвиться и шалить со мной, как мальчик (он любил всякое сильное телесное движение); раз — всего только раз! — он приласкал меня с такою нежностью, что я чуть не заплакал... Но и веселость его и нежность исчезали без следа — и то, что происходило между нами, не давало мне никаких надежд на будущее, точно я всё это во сне видел. Бывало, стану я рассматривать его умное, красивое, светлое лицо... сердце мое задрожит, как он один умел застыть, и я тотчас же сожмусь и тоже похолодею. Редкие припадки его расположения ко мне никогда не были вызваны моими безмолвными, но понятными мольбами: они приходили всегда неожиданно. Размышляя впоследствии о характере моего отца, я пришел к тому заключению, что ему было не до меня и не до семейной жизни; он любил другое и наслаждался этим другим вполне. «Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; самому себе принадлежать — в этом вся штука жизни», — сказал он мне однажды. В другой раз я в качестве молодого демократа пустился в его присутствии рассуждать о свободе (он в тот день был, как я это называл, «добрый»; тогда с ним можно было говорить о чем угодно).

— Свобода, — повторил он, — а знаешь ли ты, что может человеку дать свободу?

— Что?

— Воля, собственная воля, и власть она даст, которая лучше свободы. Умей хотеть — и будешь свободным, и командовать будешь.

Отец мой прежде всего и больше всего хотел жить — и жил... Быть может, он преувеличивал, что ему не придется долго пользоваться «штукой» жизни: он умер сорока двух лет.

Я подробно рассказал отцу мое посещение у Засекиных. Он полууважительно, полурассеянно слушал меня, сидя на скамье и рисуя концом хлыстика на песке. Он изредка посмеивался, как-то светло и забавно поглядывал на меня

и подзадоривал меня короткими вопросами и возражениями. Я сперва не решался даже выговорить имя Зинаиды, но не удержался и начал превозносить ее. Отец все продолжал посмеиваться. Потом он задумался, потянулся и встал.

Я вспомнил, что, выходя из дома, он велел оседлать себе лошадь. Он был отличный ездок — и умел, гораздо раньше г. Рери, укрощать самых диких лошадей.

— Я с тобой поеду, папаша? — спросил я его.

— Нет, — ответил он, и лицо его приняло обычное равнодушно-ласковое выражение. — Ступай один, коли хочешь; а кучеру скажи, что я не поеду.

Он повернулся ко мне спиной и быстро удалился. Я следил за ним глазами — он скрылся за воротами. Я видел, как его шляпа двигалась вдоль забора: он вошел к Засекиным.

Он остался у них не более часа, но тотчас же отправился в город и вернулся домой только к вечеру.

После обеда я сам пошел к Засекиным. В гостиной я застал одну старуху княгиню. Увидев меня, она почесала себе в голове под чепцом концом спицы и вдруг спросила меня, могу ли я переписать ей одну просьбу.

— С удовольствием, — отвечал я и присел на кончик стула.

— Только смотрите покрупнее буквы ставьте, — промолвила княгиня, подавая мне измаранный лист, — да нельзя ли сегодня, батюшка?

— Сегодня же перепишу-с.

Дверь из соседней комнаты чуть-чуть отворилась, и в отверстие показалось лицо Зинаиды — бледное, задумчивое, с небрежно откинутыми назад волосами: она посмотрела на меня большими холодными глазами и тихо закрыла дверь.

— Зина, а Зина! — проговорила старуха.

Зинаида не откликнулась. Я унес просьбу старухи и целый вечер просидел над ней.

## IX

Моя «страсть» началась с того дня. Я, помнится, почувствовал тогда нечто подобное тому, что должен почувствовать человек, поступивший на службу: я уже перестал быть просто молодым мальчиком; я был влюбленный. Я сказал, что с того дня началась моя страсть; я бы мог прибавить, что и страдания мои начались с того же самого дня. Я изнывал в отсутствие Зинаиды: ничего мне на ум

не шло, всё из рук валялось, я по целым дням напряженно думал о ней... Я изнывал... но в ее присутствии мне не становилось легче. Я ревновал, я сознавал свое ничтожество, я глупо дулся и глупо раболепствовал — и все-таки непреодолимая сила влекла меня к ней, и я всякий раз с невольной дрожью счастья переступал порог ее комнаты. Зинаида тотчас же догадалась, что я в нее влюбился, да я и не думал скрываться; она потешалась моей страстью, дурачила, баловала и мучила меня. Сладко быть единственным источником, самовластной и безответной причиной величайших радостей и глубочайшего горя для другого — а я в руках Зинаиды был как мягкий воск. Впрочем, не я один влюбился в нее: все мужчины, посещавшие ее дом, были от ней без ума — и она их всех держала на привязи, у своих ног. Ее забавляло возбуждать в них то надежды, то опасения, вертеть ими по своей прихоти (это она называла: стучать людей друг о друга) — а они и не думали сопротивляться и охотно покорялись ей. Во всем ее существе, живучем и красивом, была какая-то особенно обаятельная смесь хитрости и беспечности, искусственности и простоты, тишины и резвости; над всем, что она делала, говорила, над каждым ее движением носилась тонкая, легкая прелесть, во всем сказывалась своеобразная, играющая сила. И лицо ее беспрепятственно менялось, играло тоже: оно выражало, почти в одно и то же время, — насмешливость, задумчивость и страстность. Разнообразнейшие чувства, легкие, быстрые, как тени облаков в солнечный ветреный день, перебегали то и дело по ее глазам и губам.

Каждый из ее поклонников был ей нужен. Белозоров, которого она иногда называла «мой зверь», а иногда просто «мой», — охотно кинулся бы за нее в огонь; не надеясь на свои умственные способности и прочие достоинства, он всё предлагал ей жениться на ней, намекая на то, что другие только болтают. Майданов отвечал поэтическим струнам ее души: человек довольно холодный, как почти все сочинители, он напряженно уверял ее, а может быть, и себя, что он ее обожает, воспевал ее в нескончаемых стихах и читал их ей с каким-то и неестественным и искренним восторгом. Она и сочувствовала ему и чуть-чуть трунила над ним; она плохо ему верила и, наслушавшись его излишней, заставляла его читать Пушкина, чтобы, как она говорила, очистить воздух. Лушин, на-

смешливый, цинический на словах доктор, знал ее лучше всех — и любил ее больше всех, хотя бранил ее за глаза и в глаза. Она его уважала, но не спускала ему — и подчас с особенным, злорадным удовольствием давала ему чувствовать, что и он у ней в руках. «Я кокетка, я без сердца, я актерская натура, — сказала она ему однажды в моем присутствии, — а, хорошо! Так подайте ж вашу руку, я воткну в нее булавку, вам будет стыдно этого молодого человека, вам будет больно, а все-таки вы, господин правдивый человек, извольте смеяться». Лушин покраснел, отворотился, закусил губы, но кончил тем, что подставил руку. Она его уколола, и он точно начал смеяться... и она смеялась, запуская довольно глубоко булавку и заглядывая ему в глаза, которыми он напрасно бегал по сторонам...

Хуже всего я понимал отношения, существовавшие между Зинаидой и графом Малевским. Он был хорош собою, ловок и умен, но что-то сомнительное, что-то фальшивое чудилось в нем даже мне, шестнадцатилетнему мальчику, и я дивился тому, что Зинаида этого не замечает. А может быть, она и замечала эту фальшь и не гнушалась ею. Неправильное воспитание, странные знакомства и привычки, постоянное присутствие матери, бедность и беспорядок в доме, всё, начиная с самой свободы, которою пользовалась молодая девушка, с сознания ее превосходства над окружающими ее людьми, развило в ней какую-то полу-презрительную небрежность и невзыскательность. Бывало, что ни случится — придет ли Вонифатий доложить, что сахару нет, выйдет ли наружу какая-нибудь дрянная сплетня, поссорятся ли гости, — она только кудрями встряхнет, скажет: пустяки! — и горя ей мало.

Зато у меня, бывало, вся кровь загоралась, когда Малевский подойдет к ней, хитро покачиваясь, как лиса, изящно обопрется на спинку ее стула и начнет шептать ей на ухо с самодовольной и заискивающей улыбочкой, — а она скрестит руки на груди, внимательно глядит на него, и сама улыбается и качает головой.

— Что вам за охота принимать господина Малевского? — спросил я ее однажды.

— А у него такие прекрасные усики, — отвечала она. — Да это не по вашей части.

— Вы не думаете ли, что я его люблю, — сказала она мне в другой раз. — Нет; я таких любить не могу, на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне

надобно такого, который сам бы меня сломил... Да я на такого не наткнуся, бог милостив! Не попадусь никому в лапы, ни-ни!

— Стало быть, вы никогда не полюбите?

— А вас-то? Разве я вас не люблю? — сказала она и ударила меня по носу концом перчатки.

Да, Зинаида очень потешалась надо мною. В течение трех недель я ее видел каждый день — и чего, чего она со мной не выделывала! К нам она ходила редко, и я об этом не сожалел: в нашем доме она превращалась в барышню, в княжну, — и я ее дичился. Я боялся выдать себя перед матушкой; она очень не благоволила к Зинаиде и неприязненно наблюдала за нами. Отца я не так боялся: он словно не замечал меня, а с ней говорил мало, но как-то особенно умно и значительно. Я перестал работать, читать — я даже перестал гулять по окрестностям, ездить верхом. Как привязанный за ножку жук, я кружился постоянно вокруг любимого флигелька: казалось, остался бы там навсегда... но это было невозможно; матушка ворчала на меня, иногда сама Зинаида меня прогоняла. Тогда я запирался у себя в комнате или уходил на самый конец сада, взбирался на уцелевшую развалину высокой каменной оранжереи и, свесив ноги со стены, выходявшей на дорогу, сидел по часам и глядел, глядел, ничего не видя. Возле меня, по запыленной крапиве, лениво перепархивали белые бабочки; бойкий воробей садился недалеко на полусломанном красном кирпиче и раздражительно чирикал, беспреестанно поворачиваясь всем телом и распутив хвостик; всё еще недоверчивые вороны изредка каркали, сидя высоко, высоко на обнаженной макушке березы; солнце и ветер тихо играли в ее жидких ветках; звон колоколов Донского монастыря прилетал по временам, спокойный и унылый — а я сидел, глядел, слушал и наполнялся весь каким-то безыменным ощущением, в котором было всё: и грусть, и радость, и предчувствие будущего, и желание, и страх жизни. Но я тогда ничего этого не понимал и ничего бы не сумел назвать изо всего того, что во мне бродило, или бы назвал это всё одним именем — именем Зинаиды.

А Зинаида всё играла со мной, как кошка с мышью. Она то кокетничала со мной — и я волновался и таял, то она вдруг меня отталкивала — и я не смел приблизиться к ней, не смел взглянуть на нее.



Помнится, она несколько дней сри была очень холодна со мною, я сов заробел и, трусливо забегая к ним флигель, старался держаться около стайки княгини, несмотря на то что она обранилась и кричала именно в это время ее вексельные дела шли плохо, и уже имела два объяснения с квартаным.

Однажды я проходил в саду мимо вестного забора — и увидел Зинаиду: п першись обеими руками, она сидела траве и не шевелилась. Я хотел бь осторожно удалиться, но она внезапно подняла голову и сделала мне повельный знак. Я замер на месте: я понял ее с первого раза. Она повторил



свой знак. Я немедленно перескочил через забор и радостно подбежал к ней; но она остановила меня взглядом и указала мне на дорожку в двух шагах от нее. В смущении, не зная, что делать, я стал на колени на краю дорожки. Она до того была бледна, такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте, что сердце у меня сжалось, и я невольно пробормотал:

— Что с вами?

Зинаида протянула руку, сорвала какую-то травку, укусила ее и бросила ее прочь, подавльше.

— Вы меня очень любите? — спросила она наконец. — Да?

Я ничего не отвечал — да и зачем мне было отвечать?

— Да, — повторила она, по-прежнему глядя на меня. — Это так. Такие же глаза, — прибавила она, задумалась и закрыла лицо руками. — Всё мне опротивело, — прошептала она, — ушла бы я на край света, не могу я это вынести, не могу сладить... И что ждет меня впереди!.. Ах, мне тяжело... боже мой, как тяжело!

— Отчего? — спросил я робко.

Зинаида мне не отвечала и только пожала плечами. Я продолжал стоять на коленях и с глубоким унынием глядел на нее. Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. В это мгновение я, кажется, охотно бы отдал жизнь свою, лишь бы она не горевала. Я глядел на нее — и, все-таки не понимая, отчего ей было тяжело, живо воображал себе, как она вдруг, в припадке неудержимой печали, ушла в сад и упала на землю, как подкошенная. Кругом было и светло и зелено; ветер шелестил в листьях деревьев, изредка качая длинную ветку малины над головой Зинаиды. Где-то ворковали голуби — и пчелы жужжали, низко перелетывая по редкой траве. Сверху ласково синело небо — а мне было так грустно...

— Прочтите мне какие-нибудь стихи, — промолвила вполголоса Зинаида и оперлась на локоть. — Я люблю, когда вы стихи читаете. Вы поете, но это ничего, это молодо. Прочтите мне «На холмах Грузии». Только сядьте сперва.

Я сел и прочел «На холмах Грузии».

— «Что не любить оно не может», — повторила Зинаида. — Вот чем поэзия хороша: она говорит нам то, чего нет и что не только лучше того, что есть, но даже больше похоже на правду... Что не любить оно не может — и хотело бы, да не может! — Она опять умолкла и вдруг встрепенулась и встала. — Пойдемте. У мамыши сидит Майданов; он мне принес свою

поэму, а я его оставила. Он также огорчен теперь... что делать! Вы когда-нибудь узнаете... только не сердитесь на меня!

Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед. Мы вернулись во флигель. Майданов принялся читать нам своего только что отпечатанного «Убийцу», но я не слушал его. Он выкрикивал нараспев свои четырехстопные ямбы, рифмы чередовались и звенели, как бубенчики, пусто и громко, а я всё глядел на Зинаиду и всё старался понять значение ее последних слов.

• Иль, может быть, соперник тайный  
Тебя нежданно покорил? —

воскликнул вдруг в нос Майданов — и мои глаза и глаза Зинаиды встретились. Она опустила их и слегка покраснела. Я увидел, что она покраснела, и похолодел от испуга. Я уже прежде ревновал к ней, но только в это мгновение мысль о том, что она полюбила, сверкнула у меня в голове: «Боже мой! она полюбила!»

## X

Настоящие мои терзания начались с того мгновения. Я ломал себе голову, раздумывал, передумывал — и неотступно, хотя по мере возможности скрытно, наблюдал за Зинаидой. В ней произошла перемена — это было очевидно. Она уходила гулять одна и гуляла долго. Иногда она гостям не показывалась; по целым часам сидела у себя в комнате. Прежде этого за ней не водилось. Я вдруг сделался — или мне показалось, что я сделался — чрезвычайно проникателен. «Не он ли? или уж не он ли?» — спрашивал я самого себя, тревожно перебегая мыслью от одного ее поклонника к другому. Граф Малевский (хоть я и стыдился за Зинаиду в этом сознаться) втайне казался мне опаснее других.

Моя наблюдательность не видала дальше своего носа, и моя скрытность, вероятно, никого не обманула; по крайней мере доктор Лушин скоро меня раскусил. Впрочем, и он изменился в последнее время: он похудел, смеялся так же часто, но как-то глуше, злее и короче — невольная, нервическая раздражительность сменила в нем прежнюю легкую иронию и напущенный цинизм.

— Что вы это беспрестанно таскаетесь сюда, молодой человек, — сказал он мне однажды, оставшись со мною в гостиной Засекиных. (Княжна еще не возвращалась с прогулки, а крикливый голос княгини раздавался в мезонине: она бранилась со



своей горничной.) — Вам бы надобно учиться, работать, пока вы молоды, — а вы что делаете?

— Вы не можете знать, работаю ли я дома, — возразил я ему не без надменности, но и не без замешательства.

— Какая уж тут работа! у вас не то на уме. Ну, я не спорю... в ваши годы это в порядке вещей. Да выбор-то ваш больно неудачен. Разве вы не видите, что это за дом?

Я вас не понимаю, — заметил я.

Не понимаете? Тем хуже для вас. Я считаю долгом предостеречь вас. Нашему брату, старому холостяку, можно сюда ходить: что нам делается? мы народ прокленный, нас ничем не проберешь; а у вас кожаца еще нежная; здесь для вас воздух вредный — поверьте мне, заразиться можете.

Как так?

— Да так же. Разве вы здоровы теперь? Разве вы в нормальном положении? Разве то, что вы чувствуете, полезно вам, хорошо?

— Да что же я чувствую? — сказал я, а сам в душе сознавал, что доктор прав.

Эх, молодой человек, молодой человек, — продолжал доктор с таким выражением, как будто в этих двух словах заключалось что-то для меня весьма обидное, — где вам хитрить, ведь у вас еще, слава богу, что на душе, то и на лице. А впрочем, что толковать? Я бы и сам сюда не ходил, если б (доктор стиснул зубы).. если б я не был такой же чудаком. Только вот чему я удивляюсь: как вы, с вашим умом, не видите, что делается вокруг вас?

— А что же такое делается? — подхватил я и весь насторожился.

Доктор посмотрел на меня с каким-то насмешливым сожалением.

Хорош же и я, — промолвил он, словно про себя, — очень нужно это ему говорить. Одним словом, — прибавил он, возвысив голос, — повторяю вам: здешняя атмосфера вам не годится. Вам здесь приятно, да мало чего нет? И в оранжерее тоже приятно пахнет — да жить в ней нельзя. Эй! послушайте, возьмитесь опять за Кайданова!

Княгиня вошла и начала жаловаться доктору на зубную боль. Потом явилась Зинаида.

— Вот, — прибавила княгиня, — господин доктор, побраните-ка ее. Целый день пьет воду со льдом; разве ей это здорово, при ее слабой груди?

— Зачем вы это делаете? — спросил Лушин.

— А что из этого может выйти?

— Что? вы можете простудиться и умереть.

— В самом деле? Неужели? Ну что ж — туда и дорога!

— Вот как! — проворчал доктор.

Княгиня ушла.

— Вот как, — повторила Зинаида. — Разве жить так весело? Оглянитесь-ка кругом... Что — хорошо? Или вы думаете, что я этого не понимаю, не чувствую? Мне доставляет удовольствие — пить воду со льдом, и вы серьезно можете уверить меня, что такая жизнь стоит того, чтоб не рискнуть ею за миг удовольствия, — я уже о счастье не говорю.

— Ну да, — заметил Лушин, — каприз и независимость... Эти два слова вас исчерпывают: вся ваша натура в этих двух словах.

Зинаида нервически засмеялась.

— Опоздали почтой, любезный доктор. Наблюдаете плохо; отстаеете. Наденьте очки. Не до капризов мне теперь; вас дурачить, себя дурачить... куда как весело! — А что до независимости... Мсьё Вольдемар, — прибавила вдруг Зинаида и топнула ножкой, — не делайте меланхолической физиономии. Я терпеть не могу, когда обо мне сожалеют. — Она быстро удалилась.

— Вредна, вредна вам здешняя атмосфера, молодой человек, — еще раз сказал мне Лушин.

## XI

Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости; я был в их числе.

Разговор зашел о поэме Майданова. Зинаида чистосердечно ее хвалила.

— Но знаете ли что? — сказала она ему, — если б я была поэтом, я бы другие брала сюжеты. Может быть, всё это вздор но мне иногда приходят в голову странные мысли, особенно когда я не сплю, перед утром, когда небо начинает становиться и розовым и серым. Я бы, например... Вы не будете надо мной смеяться?

— Нет! нет! — воскликнули мы все в один голос.

— Я бы представила, — продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону, — целое общество молодых девушек, ночью, в большой лодке на тихой реке. Луна светит, а они все в белом и в венках из белых цветов, и поют, знаете, что-нибудь вроде гимна.

— Понимаю, понимаю, продолжай-



те, — значительно и мечтательно промолвил Майданов.

— Вдруг — шум, хохот, факелы, бубны на берегу... Это толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт... только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились и чтобы глаза у вакханок блестели под венками, а венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кож и чаш — и золота, много золота.

— Где же должно быть золото? — спросил Майданов, откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри.

— Где? На плечах, на руках, на ногах, везде. Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке. Девушки перестали петь свой гимн — они не могут его продолжать, — но они не шевелятся: река подносит их к берегу. И вот вдруг одна из них тихо поднимается... Это надо хорошо описать: как она тихо встает при лунном свете и как ее подруги пугаются.. Она перешагнула край лодки, вакханки ее окружили, умчали в ночь, в темноту... Представьте тут дым клубами, и всё смешалось. Только слышится их визг, да веночек ее остался на берегу.

Зинаида умолкла. («О! она полюбила!» — подумал я опять.)

И только? — спросил Майданов.

— Только, — отвечала она.

Это не может быть сюжетом для целой поэмы, — важно заметил он, — но для лирического стихотворения я вашей мысли воспользуюсь.

В романтическом роде? — спросил Малевский.

Конечно, в романтическом роде, байроновском.

А по-моему, Гюго лучше Байрона, — небрежно промолвил молодой граф, — интереснее.

— Гюго — писатель первоклассный, — возразил Майданов, — и мой приятель Тонкошеев, в своем испанском романе «Эль-Тровадор»...

— Ах, это та книга с опрокинутыми вопросительными знаками? — перебила Зинаида.

Да. Это так принято у испанцев. Я хотел сказать, что Тонкошеев...

Ну, вы опять заспорите о классицизме и романтизме, — вторично перебила его Зинаида. — Давайте лучше играть...

В фанты? — подхватил Лушин.

Нет, в фанты скучно; а в сравнения. (Эту игру придумала сама Зинаида: на-

зывался какой-нибудь предмет, всякий старался сравнить его с чем-нибудь, и тот, кто подбирал лучшее сравнение, получал приз.)

Она подошла к окну. Солнце только что село: на небе высоко стояли длинные красные облака.

— На что похожи эти облака? — спросила Зинаида и, не дожидаясь нашего ответа, сказала: — Я нахожу, что они похожи на те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры, когда она ехала навстречу Антонию. Помните, Майданов, вы недавно мне об этом рассказывали?

Все мы, как Половий в «Гамлете», решили, что облака напоминали именно эти паруса и что лучшего сравнения никто из нас не приищет.

— А сколько лет было тогда Антонию? — спросила Зинаида.

— Уж, наверное, был молодой человек, — заметил Малевский.

— Да, молодой, — уверительно подтвердил Майданов.

— Извините, — воскликнул Лушин, — ему было за сорок лет.

— За сорок лет, — повторила Зинаида, взглянув на него быстрым взглядом.

Я скоро ушел домой. «Она полюбила, — невольнo шептали мои губы. — Но кого?»

## XII

Дни проходили. Зинаида становилась всё странней, всё непонятней. Однажды я вошел к ней и увидел ее сидящей на соломенном стуле, с головой, прижатой к острому краю стола. Она выпрямилась... всё лицо ее было облито слезами.

— А! вы! — сказала она с жестокой усмешкой. — Подите-ка сюда.

Я подошел к ней: она положила мне руку на голову и, внезапно ухватив меня за волосы, начала крутить их.

— Больно... — проговорил я наконец.

— А! больно! а мне не больно? не больно? — повторила она.

— Ай! — вскрикнула она вдруг, увидав, что выдернула у меня маленькую прядь волос. — Что это я сделала? Бедный мсьё Вольдемар!

Она осторожно расправила вырванные волосы, обмотала их вокруг пальца и свернула их в колечко.

— Я ваши волосы к себе в медальон положу и носить их буду, — сказала она, а у самой на глазах всё блестели слезы. — Это вас, быть может, утешит немного... а теперь прощайте.



и вернулся домой и застал там неприязность. У матушки происходило объяснение с отцом: она в чем-то упрекала его, а он, по своему обыкновению, холодно и вежливо отмалчивался — и скоро уехал. Я не мог слышать, о чем говорила матушка, да и мне было не до того; помню только, что по окончании объяснения она велела позвать меня к себе в кабинет и с большим неудовольствием отозвалась о моих частых посещениях у княгини, которая, по ее словам, была une femme capable de tout<sup>1</sup>. Я подошел к ней к ручке

<sup>1</sup> женщиной, способной на что угодно (франц.).

(это я делал всегда, когда хотел прекратить разговор) и ушел к себе. Слезы Зинаида меня совершенно сбили с толку; я решительно не знал, на какой мысли остановиться, и сам готов был плакать: я все-таки был ребенком, несмотря на мои шестнадцать лет. Уже я не думал более о Малевском, хотя Беловзоров с каждым днем становился всё грознее и грознее и глядел на увертливого графа, как волк на барана; да я ни о чем и ни о ком не думал. Я терялся в соображениях и всё искал уединенных мест. Особенно полюбил я развалины оранжереи. Взберусь, бывало, на высокую стену, сяду и сижу там таким несчастным, одиноким и грустным юношей, что мне самому становится себя жалко, — и так мне были отрадны эти горестные ощущения, так упивался я ими!..

Вот однажды сижу я на стене, гляжу вдаль и слушаю колокольный звон... Вдруг что-то пробежало по мне — ветерок не ветерок и не дрожь, а словно дуновение, словно ощущение чьей-то близости... Я опустил глаза. Внизу, по дороге, в легком сереньком платье, с розовым зонтиком на плече, поспешно шла Зинаида. Она увидела меня, остановилась и, откинув край соломенной шляпы, подняла на меня свои бархатные глаза.

— Что это вы делаете там, на такой высоте? — спросила она меня с какой-то странной улыбкой. — Вот, — продолжала она, — вы всё уверяете, что вы меня любите, — спрыгните ко мне на дорогу, если вы действительно любите меня.

Не успела Зинаида произнести эти слова, как я уже летел вниз, точно кто подтолкнул меня сзади. В стене было около двух сажен вышины. Я пришелся о землю ногами, но толчок был так силен, что я не мог удержаться: я упал и на мгновение лишился сознания. Когда я пришел в себя, я, не раскрывая глаз, почувствовал возле себя Зинаиду.

— Милый мой мальчик, — говорила она, наклонясь надо мною, и в голосе ее звучала встревоженная нежность, — как мог ты это сделать, как мог ты послушаться... Ведь я люблю тебя... встань.

Ее грудь дышала возле моей, ее руки прикасались моей голове, и вдруг — что случилось со мной тогда! — ее мягкие, свежие губы начали покрывать всё мое лицо поцелуями... они коснулись моих губ... Но тут Зинаида, вероятно, догадалась, по выражению моего лица, что я уже пришел в себя, хотя я всё глаз не раскрывал, — и, быстро приподнявшись, промолвила:

— Ну вставляйте, шалун, безумный; что это вы лежите в пыли?

Я поднялся.

— Подайте мне мой зонтик, — сказала Зинаида, — вишь, я его куда бросила; да не смотрите на меня так... что за глупости? Вы не ушиблись? чай, обожглись в крапиве? Говорят вам, не смотрите на меня... Да он ничего не понимает, не отвечает, — прибавила она, словно про себя. — Ступайте домой, мсьё Вольдемар, почиститесь, да не смейте идти за мной — а то я рассержусь, и уже больше никогда...

Она не договорила своей речи и проворно удалилась, а я присел на дорогу... ноги меня не держали. Крапива обожгла мне руки, спина ныла, и голова кружилась; но чувство блаженства, которое я испытал тогда, уже не повторилось в моей жизни. Оно стояло сладкой болью во всех моих членах и разрешилось наконец восторженными прыжками и восклицаниями. Точно: я был ещё ребенок.

### XIII

Я так был весел и горд весь этот день, я так живо сохранял на моем лице ощущение Зинаидиных поцелуев, я с таким содроганием восторга вспоминал каждое ее слово, я так лелеял свое неожиданное счастье, что мне становилось даже страшно, не хотелось даже увидеть ее, виновницу этих новых ощущений. Мне казалось, что уже больше ничего нельзя требовать от судьбы, что теперь бы следовало «взять, вздохнуть хорошенько в последний раз, да и умереть». Зато на следующий день, отправляясь во флигель, я чувствовал большое смущение, которое напрасно старался скрыть под личиною скромной развязности, приличной человеку, желающему дать знать, что он умеет сохранить тайну. Зинаида приняла меня очень просто, без всякого волнения, только погрозила мне пальцем и спросила: нет ли у меня синих пятен? Вся моя скромная развязность и таинственность исчезли мгновенно, а вместе с ними и смущение мое. Конечно, я ничего не ожидал особенного, но спокойствие Зинаиды меня точно холодной водой окатило. Я понял, что я дитя в ее глазах, — и мне стало очень тяжело! Зинаида ходила взад и вперед по комнате, всякий раз быстро улыбалась, как только взглядывала на меня; но мысли ее были далеко, я это ясно видел... «Заговорить самому о вчерашнем деле, — подумал я, — спросить ее, куда она так спешила, чтобы узнать

окончательно...», но я только махнул рукой и присел в уголок.

Беловзоров вошел; я ему обрадовался.

— Не нашел и вам верховой лошади, смирной, — заговорил он суровым голосом, — Фрейтаг мне ручается за одну — да я не уверен. Боюсь.

— Чего же вы боитесь, — спросила Зинаида, — позвольте спросить?

— Чего? Ведь вы не умеете ездить. Сохрани бог, что случится! И что за фантазия пришла вам вдруг в голову?

— Ну, это мое дело, мсьё мой зверь. В таком случае я попрошу Петра Васильевича... (Моего отца звали Петром Васильевичем. Я удивился тому, что она так легко и свободно упомянула его имя, точно она была уверена в его готовности услужить ей).

— Вот как, — возразил Беловзоров. — Вы это с ним хотите ездить?

— С ним или с другим — это для вас всё равно. Только не с вами.

— Не со мной, — повторил Беловзоров. — Как хотите. Что ж? Я вам лошадь доставлю.

— Да только смотрите, не корову какую-нибудь. Я вас предупредю, что я хочу скакать.

— Скачите, пожалуй... С кем же это, с Малевским, что ли, вы поедете?

— А почему бы и не с ним, воин? Ну, успокойтесь, — прибавила она, — и не сверкайте глазами. Я и вас возьму. Вы знаете, что для меня теперь Малевский — фи! — Она тряхнула головой.

— Вы это говорите, чтобы меня утешить, — проворчал Беловзоров.

Зинаида прищурилась.

— Это вас утешает?.. О... о... о... воин! — сказала она наконец, как бы не найдя другого слова. — А вы, мсьё Вольдемар, поехали ли бы вы с нами?

— Я не люблю... в большом обществе... — пробормотал я, не поднимая глаз.

— Вы предпочитаете tête-à-tête?..<sup>1</sup> Ну, вольному воля, спасенному... рай, — промолвила она вздохнувши. — Ступайте же, Беловзоров, хлопочите. Мне лошадь нужна к завтрашнему дню.

— Да; а деньги откуда взять? — вмешалась княгиня.

Зинаида наморщила брови.

— Я у вас их не прошу; Беловзоров мне поверит.

— Поверит, поверит... — проворчала княгиня — и вдруг во всё горло закричала: — Дуняшка!

с глазу на глаз? (франц.)



— Маша, я вам подарила колокольчик,— заметила княжна.

— Дуняшка! — повторила старуха. Беловзоров откланялся; я ушел вместе с ним. Зинаида меня не удерживала.

#### XIV

На следующее утро я встал рано, вырезал себе палку и отправился за заставу. Пойду, мол, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий; веселый, свежий ветер гулял над землей и в меру шумел и играл, всё шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам; я не чувствовал себя счастливым, я вышел из дому с намерением предаться унынию, но молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве — взяли свое: воспоминание о тех забытых словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливости моей решимости, моему героизму... «Другие для нее лучше меня,— думал я,— пускай! Зато другие только скажут, что сделают, а я сделал! И то ли я в состоянии еще сделать для нее!..» Воображение мое заиграло. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я, весь облитый кровью, исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я вспомнил картину, висевшую у нас в гостиной: Малек-Аделя, уносящего Матильду, — и тут же занялся появлением большого пестрого дятла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее, то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса.

Потом я запел: «Не белы снеги» и свел на известный в то время романс: «Я жду тебя, когда зефир игривый»; потом я начал громко читать обращение Ермака к звездам из трагедии Хомякова; попытка было сочинить что-нибудь в чувствительном роде, придумал даже строчку, которой должно было заканчиваться всё стихотворение: «О, Зинаида! Зинаида!», но ничего не вышло. Между тем наступило время обеда. Я спустился в долину; узкая песчаная дорожка вилась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке... Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку: я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись

к ней всем станом и опершись рукою на шею лошади; он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидел их один; только через несколько мгновений, из-за поворота долины, показался Беловзоров в гусарском мундире с ментиком, на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плясал: всадник и сдерживал его и шпорил. Я постороился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды, она медленно подняла на него глаза — и оба поскакали... Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак,— подумал я,— а она... Отчего она такая бледная? ездил верхом целое утро — и бледная?»

Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом. Отец уже сидел переодетый, вымытый и свежий, возле матушкиного кресла и читал ей своим ровным и звучным голосом фельетон «Journal des Débats», но матушка слушала его без внимания и, увидав меня, спросила, где я пропадал целый день, и прибавила, что не любит, когда таскаются бог знает где и бог знает с кем. «Да я гулял один», — хотел было я ответить, но посмотрел на отца и почему-то промолчал.

#### XV

В течение следующих пяти, шести дней я почти не видел Зинаиды: она сказывалась больною, что не мешало, однако, обычным посетителям флигеля являться, как они выражались, на свое дежурство — всем, кроме Майданова, который тотчас падал духом и скучал, как только не имел случая восторгаться. Беловзоров сидел угрюмо в углу, весь застегнутый и красный; на тонком лице графа Малевского постоянно бродила какая-то недобрая улыбка; он действительно впал в немилость у Зинаиды и с особенным стараньем подслуживался старой княгине, ездил с ней в ямской карете к генерал-губернатору. Впрочем, эта поездка оказалась неудачной, и Малевскому вышла даже неприятность: ему напомнили какую-то историю с какими-то путевскими офицерами — и он должен был в объяснениях своих сказать, что был тогда неопытен. Лушин приезжал раза по два в день, но оставался недолго; я немножко боялся его после нашего последнего объяснения и в то же время чувствовал к нему искреннее влечение. Он однажды пошел гулять со мною по Нескучному саду, был очень добродушен и любезен, сообщал







мне названия и свойства разных трав и цветов и вдруг, как говорится, ни к селу ни к городу, воскликнул, ударив себя по лбу: «А я, дурак, думал, что она кокетка! Видно, жертвовать собою сладко — для иных».

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— Вам я ничего не хочу сказать, — отрывисто возразил Лушин.

Меня Зинаида избегала: мое появление — я не мог этого не заметить — производило на нее впечатление неприятное. Она невольно отворачивалась от меня... невольно; вот что было горько, вот что меня сокрушало! Но делать было нечего — и я старался не попадаться ей на глаза и лишь издали ее подкарауливал, что не всегда мне удавалось. С ней по-прежнему происходило что-то неприятное; ее лицо стало другое, вся она другая стала. Особенно поразила меня происшедшая в ней перемена в один

теплый, тихий вечер. Я сидел на низенькой скамеечке под широким кустом бузины; я любил это местечко: оттуда было видно окно Зинаидиной комнаты. Я сидел; над моей головой в потемневшей листве хлопотливо ворошилась маленькая птичка; серая кошка, вытянув спину, осторожно кралась в сад, и первые жуки тяжело гудели в воздухе, еще прозрачном, хотя уже не светлом. Я сидел и смотрел на окно — и ждал, не откроется ли оно: точно — оно отворилось, и в нем появилась Зинаида. На ней было белое платье — и сама она, ее лицо, плечи, руки были бледны до белизны. Она долго осталась неподвижной и долго глядела неподвижно и прямо из-под сдвинутых бровей. Я и не знал за ней такого взгляда. Потом она стиснула руки, крепко-крепко, поднесла их к губам, ко лбу — и вдруг, раздернув пальцы, откинула волосы от ушей, встряхнула ими и, с какой-то решительностью кивнув сверху вниз головою, захлопнула окно.

Дня три спустя она встретила меня в саду. Я хотел уклониться в сторону, но она сама меня остановила.

— Дайте мне руку, — сказала она мне с прежней лаской, — мы давно с вами не болтали.

Я взглянул на нее: глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь дымку.

— Вы всё еще нездоровы? — спросил я ее.

— Нет, теперь всё прошло, — отвечала она и сорвала небольшую красную розу. — Я немножко устала, но и это пройдет.

— И вы опять будете такая же, как прежде? — спросил я.

Зинаида поднесла розу к лицу — и мне показалось, как будто отблеск ярких лепестков упал ей на щеки.

— Разве я изменилась? — спросила она меня.

— Да, изменились, — ответил я вполголоса.

— Я с вами была холодна — я знаю, — начала Зинаида, — но вы не должны были обращать на это внимания... Я не могла иначе... Ну, да что об этом говорить!

— Вы не хотите, чтоб я любил вас, вот что! — воскликнул я мрачно, с невольным порывом.

— Нет, любите меня — но не так, как прежде.

— Как же?

— Будемте друзьями — вот как! — Зинаида дала мне понюхать розу. — Пожалуйста, ведь я гораздо старше вас —



я могла бы быть вашей тетушкой, право; ну, не тетушкой, старшей сестрой. А вы...

— Я для вас ребенок,— перебил я ее.

— Ну да, ребенок, но милый, хороший, умный, которого я очень люблю. Знаете ли что? Я вас с нынешнего же дня жаляю к себе в пажу; а вы не забывайте, что пажи не должны отлучаться от своих господ. Вот вам знак вашего нового достоинства,— прибавила она, вдевая розу в петлю моей курточки,— знак нашей к вам милости.

— Я от вас прежде получал другие милости,— пробормотал я.

— А! — промолвила Зинаида и сбоку посмотрела на меня.— Какая у него память! Что ж? я и теперь готова...

И, склонившись ко мне, она напечатлела мне на лоб чистый, спокойный поцелуй.

Я только посмотрел на нее, а она отвернулась и, сказавши: «Ступайте за мной, мой паж»,— пошла к флигелю. Я отправился вслед за нею — и всё недоумевал. «Неужели,— думал я,— эта кроткая, рассудительная девушка — та самая Зинаида, которую я знал?» И походка ее мне казалась тише — вся ее фигура величественнее и стройней...

И боже мой! с какой новой силой разгоралась во мне любовь!

## XVI \*

После обеда опять собрались во флигеле гости — и княжна вышла к ним. Всё общество было налицо, в полном составе, как в тот первый, незабвенный для меня вечер: даже Нирмацкий притащился; Майданов пришел в этот раз раньше всех — он принес новые стихи. Начались опять игры в фанты, но уже без прежних странных выходов, без дурачества и шума — цыганский элемент исчез. Зинаида дала новое настроение нашей сходке. Я сидел подле нее по праву пажа. Между прочим, она предложила, чтобы тот, чей фант вынется, рассказывал свой сон; но это не удалось. Сны выходили либо неинтересные (Беловзоров видел во сне, что накормил свою лошадь карасями и что у ней была деревянная голова), либо неестественные, сочиненные. Майданов угостил нас целою повестью: тут были и могильные склепы, и ангелы с лирами, и говорящие цветы, и несущиеся издалека звуки. Зинаида не дала ему закончить.

— Коли уж дело пошло на сочинения,— сказала она,— так пускай каждый расскажет что-нибудь непременно выдуманное.

Первому досталось говорить тому же Беловзорову.

Молодой гусар смутился.

— Я ничего выдумать не могу! — воскликнул он.

— Какие пустяки! — подхватила Зинаида.— Ну, вообразите себе, например, что вы женаты, и расскажите нам, как бы вы проводили время с вашей женой. Вы бы ее заперли?

— Я бы ее запер.

— И сами бы сидели с ней?

— И сам непременно сидел бы с ней.

— Прекрасно. Ну, а если бы ей это надоело, и она бы изменила вам?

— Я бы ее убил.

— А если б она убежала?

— Я бы догнал ее и все-таки бы убил.

— Так. Ну, а положим, я была бы вашей женой, что бы вы тогда сделали? Беловзоров помолчал.

— Я бы себя убил...

Зинаида засмеялась.

— Я вижу, у вас недолга песня.

Второй фант вышел Зинаидин. Она подняла глаза к потолку и задумалась.

— Вот, послушайте,— начала она наконец,— что я выдумала... Представьте себе великолепный чертог, летнюю ночь и удивительный бал. Бал этот дает молодая королева. Везде золото, мрамор, хрусталь, шелк, огни, алмазы, цветы, куренья, все прихоти роскоши.

— Вы любите роскошь? — перебил ее Лушин.

— Роскошь красива,— возразила она,— я люблю всё красивое.

— Больше прекрасного? — спросил он.

— Это что-то хитро, не понимаю. Не мешайте мне. Итак, бал великолепный. Гостей множество, все они молоды, прекрасны, храбры, все без памяти влюблены в королеву.

— Женщин нет в числе гостей? — спросил Малевский.

— Нет — или погодите — есть.

— Всё некрасивые?

— Прелестные. Но мужчины все влюблены в королеву. Она высока и стройна; у ней маленькая золотая диадема на черных волосах.

Я посмотрел на Зинаиду — и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас, от ее белого лба, от ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такою властью, что я подумал: «Ты сама эта королева!»

— Все толпятся вокруг нее,— продолжала Зинаида,— все расточают перед ней самые ластивые речи.

— А она любит лесть? — спросил Лушин.

— Какой несносный! всё перебивает... Кто ж не любит лести?

— Еще один, последний вопрос, — заметил Малевский. — У королевы есть муж?

— Я об этом и не подумала. Нет, зачем муж?

— Конечно, — подхватил Малевский, — зачем муж?

— Silence!<sup>1</sup> — воскликнул Майданов, который по-французски говорил плохо.

— Merci, — сказала ему Зинаида. — Итак, королева слушает эти речи, слушает музыку, но не глядит ни на кого из гостей. Шесть окон раскрыты сверху до низу, от потолка до полу; а за ними темное небо с большими звездами да темный сад с большими деревьями. Королева глядит в сад. Там, около деревьев, фонтан; он белеет во мраке — длинный, длинный, как привидение. Королева слышит сквозь говор и музыку тихий плеск воды. Она смотрит и думает: вы все, господа, благородны, умны, богаты, вы окружили меня, вы дорожите каждым моим словом, вы все готовы умереть у моих ног, я владею вами... А там, возле фонтана, возле этой плещущей воды, стоит и ждет меня тот, кого я люблю, кто мною владеет. На нем нет ни богатого платья, ни драгоценных камней, никто его не знает, но он ждет меня и уверен, что я приду, — и я приду, и нет такой власти, которая бы остановила меня, когда я захочу пойти к нему, и остаться с ним, и потеряться с ним там, в темноте сада, под шорох деревьев, под плеск фонтана...

Зинаида умолкла.

— Это выдумка? — хитро спросил Малевский.

Зинаида даже не посмотрела на него.

— А что бы мы сделали, господа, — вдруг заговорил Лушин, — если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливаца у фонтана?

— Постойте, постойте, — перебила Зинаида, — я сама скажу вам, что бы каждый из вас сделал. Вы, Беловзоров, вызвали бы его на дуэль; вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму... Впрочем, нет — вы не умеете писать эпиграммы; вы сочинили бы на него длинный ямб, вроде Барбье, и поместили бы ваше произведение в «Телеграфе». Вы, Нирмацкий, заняли бы у него... нет, вы бы дали ему займы денег за проценты; вы, доктор... —

Она остановилась. — Вот я про вас не знаю, что бы вы сделали.

— По званию лейб-медика, — отвечал Лушин, — я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей...

— Может быть, вы были бы правы. А вы, граф...

— А я? — повторил со своей недоброй улыбкой Малевский...

— А вы бы поднесли ему отравленную конфетку.

Лицо Малевского слегка перекошилось и приняло на миг жидовское выражение, но он тотчас же захохотал.

— Что же касается до вас, Вольдемар... — продолжала Зинаида, — впрочем, довольно; давайте играть в другую игру.

— Мсьё Вольдемар, в качестве пажа королевы, держал бы ей шлейф, когда бы она побежала в сад, — ядовито заметил Малевский.

Я вспыхнул, но Зинаида проворно положила мне на плечо руку и, приподнявшись, промолвила слегка дрожащим голосом:

— Я никогда не давала вашему сиятельству права быть дерзким и потому прошу вас удалиться. — Она указала ему на дверь.

— Помилуйте, княжна, — пробормотал Малевский и весь побледнел.

— Княжна права, — воскликнул Беловзоров и тоже поднялся.

— Я, ей-богу, никак не ожидал, — продолжал Малевский, — в моих словах, кажется, ничего не было такого... у меня и в мыслях не было оскорбить вас... Простите меня.

Зинаида окинула его холодным взглядом и холодно усмехнулась.

— Пожалуй, останьтесь, — промолвила она с небрежным движением руки. — Мы с мсьё Вольдемаром напрасно рассердились. Вам весело жалиться... на здоровье.

— Простите меня, — еще раз повторил Малевский, а я, вспоминая движение Зинаиды, подумал опять, что настоящая королева не могла бы с большим достоинством указать дерзновенному на дверь.

Игра в фанты продолжалась недолго после этой небольшой сцены; всем немного стало неловко, не столько от самой этой сцены, сколько от другого, не совсем определенного, но тяжелого чувства. Никто о нем не говорил, но всякий сознавал его и в себе и в своем соседе. Майданов прочел нам свои стихи — и Малевский с преувеличенным жаром расхвалил их. «Как ему теперь хочется показаться добрым», — шепнул мне Лушин. Мы ско-

<sup>1</sup> Тише! (франц.)

ро разошлись. На Зинаиду внезапно напало раздумье; княгиня высала сказать, что у ней голова болит; Нирмацкий стал жаловаться на свои ревматизмы...

Я долго не мог заснуть, меня поразил рассказ Зинаиды.

— Неужели в нем заключался намек? — спрашивал я самого себя, — и на кого, на что она намекала? И если точно есть на что намекнуть... как же решить-ся? Нет, нет, не может быть, — шептал я, переворачиваясь с одной горячей щеки на другую... Но я вспоминал выражение лица Зинаиды во время ее рассказа... я вспоминал восклицание, вырвавшееся у Лушина в Нескучном, внезапные перемены в ее обращении со мною — и терялся в догадках. «Кто он?» Эти два слова точно стояли перед моими глазами, начертанные во мраке; точно низкое злое облако повисло надо мною — и я чувствовал его давление и ждал, что вот-вот оно разразится. Ко многому я привык в последнее время, на многое посмотрелся у Засекиных; их беспорядочность, сальные огарки, сломанные ножи и вилки, мрачный Вонифатий, обтёрханные горничные, манеры самой княгини — вся эта странная жизнь уже не поражала меня более... Но к тому, что мне смутно чудилось теперь в Зинаиде, — я привыкнуть не мог... «Авантюрьерка», — сказала про нее однажды моя мать. Авантюрьерка — она, мой идол, мое божество! Это название жгло меня, и я старался уйти от него в подушку, я негодовал — и в то же время, на что бы я не согласился, чего бы я не дал, чтобы только быть тем счастливецом у фонтана!..

Кровь во мне загорелась и расходилась. «Сад... фонтан... — подумал я. — Пойду-ка я в сад». Я проворно оделся и выскользнул из дому. Ночь была темна, деревья чуть шептали; с неба падал тихий холодок, от огорода тянуло запахом укропа. Я обошел все аллеи; легкий звук моих шагов меня и смущал и бодрил; я останавливался, ждал и слушал, как стучало мое сердце — крупно и скоро. Наконец я приблизился к забору и оперся на тонкую жердь. Вдруг — или это мне почудилось? — в нескольких шагах от меня промелькнула женская фигура... Я усиленно устремил взор в темноту — я притаил дыхание. Что это? Шаги ли мне слышатся — или это опять стучит мое сердце? «Кто здесь?» — пролепетал я едва внятно. Что это опять? подавленный ли смех?.. или шорох в листьях... или вздох над самым ухом? Мне стало страшно... «Кто здесь?» — повторил я еще тише.

Воздух заструился на мгновение; по небу сверкнула огненная полоска: звезда покатила. «Зинаида?» — хотел спросить я, но звук замер у меня на губах. И вдруг всё стало глубоко безмолвно кругом, как это часто бывает в середине ночи... Даже кузнечики перестали трещать в деревьях — только окошко где-то звякнуло. Я постоял, постоял и вернулся в свою комнату, к своей простывшей постели. Я чувствовал странное волнение: точно я ходил на свидание — и остался одиноким и прошел мимо чужого счастья.

## XVII

На следующий день я видел Зинаиду только мельком: она ездил куда-то с княгиней на извозчике. Зато я видел Лушина, который, впрочем, едва удостоил меня привета, и Малевского. Молодой граф ослабился и дружелюбно заговорил со мною. Из всех посетителей флигелька он один умел втереться к нам в дом и полюбил матушке. Отец его не жаловал и обращался с ним до оскорбительности вежливо.

— Ah, monsieur le page!<sup>1</sup> — начал Малевский, — очень рад вас встретить. Что делает ваша прекрасная королева?

Его свежее, красивое лицо так мне было противно в эту минуту — и он глядел на меня так презрительно-игриво, что я не отвечал ему вовсе.

— Вы всё сердитесь? — продолжал он. — Напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королей. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность.

— Как так?

— Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах; пажи должны всё знать, что они делают, они должны даже наблюдать за ними, — прибавил он, понизив голос, — днем и ночью.

— Что вы хотите сказать?

— Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем — и ночью. Днем еще так и сяк; днем светло и людно; но ночью — тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать, наблюдать из всех сил. Помните — в саду, ночью, у фонтана — вот где надо караулить. Вы мне спасибо скажете.

Малевский засмеялся и повернулся ко мне спиной. Он, вероятно, не придавал особенного значения тому, что сказал мне; он имел репутацию отлич-

<sup>1</sup> А, господин паж! (франц.)



ного мистификатора и славился своим умением дурачить людей на маскарадах, чему весьма способствовала та почти бессознательная лживость, которою было проникнуто всё его существо... Он хотел только подразнить меня; но каждое его слово протекло ядом по всем моим жилам. Кровь бросилась мне в голову. «А! вот что! — сказал я самому себе, — добро! Стало быть, мои вчерашние предчувствия были справедливы! Стало быть, меня недаром тянуло в сад! Так не бывать же этому!» — воскликнул я громко и ударил кулаком себя в грудь, хотя я собственно и не знал — чему не бывать. «Сам ли Малевский пожалует в сад, — думал я (он, может быть, проболтался: на это дерзости у него станет), — другой ли кто (ограда нашего сада была очень низка, и никакого труда не стоило перелезть через нее), — но только несдобровать тому, кто мне попадется! Никому не советую встречаться со мною! Я докажу всему свету и ей, изменнице (я так-таки и назвал ее изменницей), что я умею мстить!»

Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмутив брови, с холодной и сосредоточенной решительностью сунул его себе в карман, точно мне такие дела делать было не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело; я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, и то и дело похаживал взад и вперед, стискивая рукою в кармане разогревшийся нож и заранее приговарываясь к чему-то страшному. Эти новые, небывалые ощущения до того занимали и даже веселили меня, что собственно о Зинаиде я мало думал. Мне всё мерещились: Алеко, молодой цыган — «Куда, красавец молодой? — Лежи...», а потом: «Ты весь обрызган кровью!.. О, что ты сделал?..» — «Ничего!» С какой жестокой улыбкой я повторил это: ничего! Отца не было дома; но матушка, которая с некоторого времени находилась в состоянии почти постоянного глухого раздражения, обратила внимание на мой фатальный вид и сказала мне за ужином: «Чего ты дуешься, как мышь на крупу?» Я только снисходительно усмехнулся ей в ответ и подумал: «Если б они знали!» Пробыло одиннадцать часов; я ушел к себе, но не раздевался, я выжидал полночи; наконец пробилась и она. «Пора!» — шепнула ей сквозь зубы и, застегнувшись доверху, засучив даже рукава, отправился в сад.

Я уже заранее выбрал себе место, где караулить. На конце сада, там, где забор, разделявший наши и засекинские владения, упирался в общую стену, росла одинокая ель. Стоя под ее низкими, густыми ветвями, я мог хорошо видеть, насколько позволяла ночная темнота, что происходило вокруг; тут же вилась дорожка, которая мне всегда казалась таинственной: она змеей проползала под забором, носившим в этом месте следы перелезавших ног, и вела к круглой беседке из сплошных акаций. Я добрался до ели, прислонился к ее стволу и начал караулить.

Ночь стояла такая же тихая, как и накануне; но на небе было меньше туч — и очертанья кустов, даже высоких цветов, яснее виднелись. Первые мгновения ожидания были томительны, почти страшны. Я на всё решился, я только соображал: как мне поступить? Загреть ли: «Куда идешь? Стой! сознайся — или смерти!» — или просто поразить... Каждый звук, каждый шорох и шелест казался мне значительным, необычным... Я готовился... Я наклонился вперед... Но прошло полчаса, прошел час; кровь моя утихла, холодела; сознание, что я напрасно всё это делаю, что я даже несколько смешон, что Малевский подшутил надо мною, — начало прокрадываться мне в душу. Я покинул мою засаду и обошел весь сад. Как нарочно, нигде не было слышно малейшего шума; всё покоилось; даже собака наша спала, свернувшись в клубочек у калитки. Я взобрался на развалюю оранжереи, увидел пред собою далекое поле, вспомнил встречу с Зинаидой и задумался...

Я вздрогнул... Мне почудился скрип отворявшейся двери, потом легкий треск переломанного сучка. Я в два прыжка спустился с развалины — и замер на месте. Быстрые, легкие, но осторожные шаги явственно раздавались в саду. Они приближались ко мне. «Вот он... Вот он, наконец!» — промчалось у меня по сердцу. Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его — какие-то красные искры закрутились у меня в глазах, от страха и злости на голове зашевелились волосы... Шаги направлялись прямо на меня — я сгубался, я тянулся им навстречу... Показался человек... боже мой! это был мой отец!

Я тотчас узнал его, хотя он весь закутался в темный плащ и шляпу надвинул на лицо. На цыпочках прошел он мимо. Он не заметил меня, хотя меня ничто не скрывало, но я так скорчился

и съежился, что, кажется, сравнялся с самою землею. Ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьника... Я до того испугался неожиданного появления отца, что даже на первых порах не заметил, откуда он шел и куда исчез. Я только тогда выпрямился и подумал: «Зачем это отец ходит ночью по саду», — когда опять всё утихло вокруг. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал: мне было очень стыдно. Я разом отрезвился. Возвращаясь домой, я, однако, подошел к моей скамеечке под кустом бузины и взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Небольшие, немного выгнутые стекла окошка тускло синели при слабом свете, падавшем с ночного неба. Вдруг — цвет их стал изменяться... За ними — я это видел, видел явственно — осторожно и тихо спускалась беловатая штора, спустилась до оконницы — и так и осталась неподвижной.

— Что ж это такое? — проговорил я вслух, почти невольно, когда снова очутился в своей комнате. — Сон, случайность или... — Предположения, которые внезапно вошли мне в голову, так были новы и странны, что я не смел даже предаться им.

## XVIII

Я встал поутру с головною болью. Вчерашнее волнение исчезло. Оно заменилось тяжелым недоумением и какою-то еще небывалою грустью — точно во мне что-то умирало.

— Что это вы смотрите кроликом, у которого вынули половину мозга? — сказал мне, встретившись со мною, Лушин.

За завтраком я украдкой взглядывал то на отца, то на мать: он был спокоен, по обыкновению; она, по обыкновению, тайно раздражалась. Я ждал, не заговорит ли отец со мною дружелюбно, как это иногда с ним случалось... Но он даже не поласкал меня своей вседневною, холодною лаской. «Рассказать всё Зинаиде?... — подумал я. — Ведь уж всё равно — всё кончено между нами». Я отправился к ней, но не только ничего не рассказал ей — даже побеседовать с ней мне не удалось, как бы хотелось. К княгине на вакансию приехал из Петербурга родной ее сын, кадет, лет двенадцати; Зинаида тотчас поручила мне своего брата.

— Вот вам, — сказала она, — мой милый Володя (она в первый раз так меня



называла), товарищ. Его тоже зовут Володей. Пожалуйста, полюбите его; он еще дичок, но у него сердце доброе. Покажите ему Нескучное, гуляйте с ним, возьмите его под свое покровительство. Не правда ли, вы это сделаете? вы тоже такой добрый!

Она ласково положила мне обе руки на плечи — а я совсем потерялся. Прибытие этого мальчика превращало меня самого в мальчика. Я глядел молча на кадета, который так же безмолвно устался на меня. Зинаида расхохоталась и толкнула нас друг на друга.

— Да обнимитесь же, дети!

Мы обнялись.

— Хотите, я вас поведу в сад? — спросил я кадета.

— Извольте-с, — отвечал он сиплым, прямо кадетским голосом.

Зинаида опять рассмеялась... Я успел заметить, что никогда еще не было у ней на лице таких прелестных красок. Мы с кадетом отправились. У нас в саду стояли старенькие качели. Я его посадил на тоненькую дощечку и начал его качать. Он сидел неподвижно, в новом своем мундирчике из толстого сукна, с широкими золотыми позументами, и крепко держался за веревки.

— Да вы расстегните свой воротник,— сказал я ему.

— Ничего-с, мы привыкли-с,— проговорил он и откашлялся.

Он походил на свою сестру; особенно глаза ее напоминали. Мне было и приятно ему услуживать, и в то же время та же ноющая грусть тихо грызла мне сердце. «Теперь уж я точно ребенок,— думал я,— а вчера...» Я вспомнил, где я накануне уронил ножик, и отыскал его. Кадет выпросил его у меня, сорвал толстый стебель зори, вырезал из него дурак и принялся свистать. Отелло по-свистал тоже.

Но зато вечером, как он плакал, этот самый Отелло, на руках Зинаиды, когда, отыскав его в уголку сада, она спросила его, отчего он так печален? Слезы мои хлынули с такой силой, что она испугалась.

— Что с вами? что с вами, Володя? — твердила она и, видя, что я не отвечаю ей и не перестаю плакать, вздумала было поцеловать мою мокрую щеку.

Но я отвернулся от нее и прошептал сквозь рыдания:

— Я всё знаю; зачем же вы играли мною?.. На что вам нужна была моя любовь?

— Я виновата перед вами, Володя... — промолвила Зинаида. — Ах, я очень виновата... — прибавила она и стиснула руки. — Сколько во мне дурного, темного, грешного... Но я теперь не играю вами, я вас люблю — вы и не подозреваете, почему и как... Однако что же вы знаете?

Что мог я сказать ей? Она стояла передо мною и глядела на меня — а я принадлежал ей весь, с головы до ног, как только она на меня глядела... Четверть часа спустя я уже бегал с кадетом и с Зинаидой взапуски; я не плакал, я смеялся, хотя напухшие веки от смеха роняли слезы; у меня на шее, вместо галстучка, была повязана лента Зинаиды, и я закричал от радости, когда мне удалось поймать ее за талию. Она делала со мной всё что хотела.

Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное, лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозрения, надежды, радости и страдания кружились вихрем; я страшился заглянуть в себя, если только шестнадцатилетний мальчик может в себя заглянуть, страшился отдать себе отчет в чем бы то ни было; я просто спешил прожить день до вечера; зато ночью я спал... детское легкомыслие мне помогало. Я не хотел знать, любят ли меня, и не хотел сознаться самому себе, что меня не любят; отца я избегал — но Зинаиды избегать я не мог... Меня жгло как огнем в ее присутствии... но к чему мне было знать, что это был за огонь, на котором я горел и таял, — благо мне было сладко таять и гореть. Я отдавался всем своим впечатлениям и сам с собой лукавил, отворачивался от воспоминаний и закрывал глаза перед тем, что предчувствовал впереди... Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось... громовой удар разом всё прекратил и перебрал меня в новую колею.

Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное... Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре — я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена (а в девичьей всё было слышно до единого слова; многое было сказано по-французски — да горничная Маша пять лет жила у швеи из Парижа и всё понимала); что матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и в свою очередь сказал какое-то жестокое слово, «якобы об ихних летах», отчего матушка заплакала; что матушка также упомянула о векселе, будто бы данным старой княгине, и очень о ней дурно отзывалась и о барышне также, и что тут отец ей пригрозил.

— А произошла вся беда, — продолжал Филипп, — от безымянного письма;



а кто его написал — неизвестно; а то бы как этим делам наружу выйти, причины никакой нет.

— Да разве что-нибудь было? — с трудом проговорил я, между тем как руки и ноги у меня холодели и что-то задрожало в самой глубине груди.

Филипп знаменательно мигнул.

— Было. Этих делов не скроешь; уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен — да ведь надобно ж, примерно, карету нанять или там что... без людей не обойдешься тоже.

Я уснул Филиппа — и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию; я не спрашивал себя, когда и как всё это случилось; не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался, — я даже не роптал на отца... То, что я узнал, было мне не под силу: это внезапное откровение раздавило меня... Всё было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня, разбросанные и истоптанные.

## XX

Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Утром отец вошел к ней в спальню и долго сидел с нею наедине. Никто не слышал, что он сказал ей, но матушка уж не плакала больше; она успокоилась и кушать потребовала — однако не показала и решения своего не переменяла. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель, а вечером я был свидетелем удивительного происшествия: отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и, в присутствии лакея, холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь; а теперь я не буду входить с вами в объяснения, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съезжился и исчез.

Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче; но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Всё делалось тихо, не спеша, матушка велела даже поклониться княгине и изъяснить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной, — и одного только желал, как бы поскорее всё это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы:

как могла она, молодая девушка — ну, и все-таки княжна, — решиться на такой поступок, зная, что мой отец человек несвободный, и имея возможность выйти замуж хоть, например, за Беловзорова? На что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот это — любовь, это — страсть, это — преданность... и вспомнились мне слова Лушина: жертвовать собою сладко для иных. Как-то пришлось мне увидеть в одном из окон флигеля бледное пятно... «Неужели это лицо Зинаиды?» — подумал я... Точно, это было ее лицо. Я не вытерпел. Я не мог расстаться с нею, не сказав ей последнего прости. Я улучил удобное мгновение и отправился во флигель.

В гостиной княгиня встретила меня своим обычным, неопытно-небрежным приветом.

— Что это, батюшка, ваши так рано всполошились? — промолвила она, забывая табак в обе ноздри.

Я посмотрел на нее, и у меня отлегло от сердца. Слово: вексель, сказанное Филиппом, мучило меня. Она ничего не подозревала... по крайней мере мне тогда так показалось. Зинаида появилась из соседней комнаты, в черном платье, бледная, с развитыми волосами; она молча взяла меня за руку и увела с собой.

— Я услышала ваш голос, — начала она, — и тотчас вышла. И вам так легко было нас покинуть, злой мальчик?

— Я пришел с вами проститься, княжна, — отвечал я, — вероятно, навсегда. Вы, может быть, слышали — мы уезжаем.

Зинаида пристально посмотрела на меня.

— Да, я слышала. Спасибо, что пришли. Я уже думала, что не увижу вас. Не поминайте меня лихом. Я иногда мучила вас; но все-таки я не такая, какую вы меня воображаете.

Она отвернулась и прислонилась к окну.

— Право, я не такая. Я знаю, вы обо мне дурного мнения.

— Я?

— Да, вы... вы.

— Я? — повторил я горестно, и сердце у меня задрожало по-прежнему под влиянием неотразимого, невыразимого обаяния. — Я? Поверьте, Зинаида Александровна, что бы вы ни сделали, как бы вы ни мучили меня, я буду любить и обожать вас до конца дней моих.

Она быстро обернулась ко мне и, раскрыв широко руки, обняла мою голову

и крепко и горячо поцеловала меня. Бог знает, кого искал этот долгий, прощальный поцелуй, но я жадно вкусил его сладость. Я знал, что он уже никогда не повторится.

— Прощайте, прощайте,— твердил я...

Она вырвалась и ушла. И я удалился. Я не в состоянии передать чувство, с которым я удалился. Я бы не желал, чтобы оно когда-нибудь повторилось; но я поцел бы себя несчастливим, если бы я никогда его не испытал.

Мы переехали в город. Не скоро я отделался от прошедшего, не скоро принялся за работу. Рана моя медленно заживала; но собственно против отца у меня не было никакого дурного чувства. Напротив: он как будто еще вырос в моих глазах... Пускай психологи объяснят это противоречие как знают. Однажды я шел по бульвару и, к неописанной моей радости, столкнулся с Лушиным. Я его любил за его прямой и неллицимерный нрав, да притом он был мне дорог по воспоминаниям, которые он во мне возбуждал. Я бросился к нему.

— Ага! — промолвил он и нахмурил брови.— Это вы, молодой человек! Покажите-ка себя. Вы всё еще желты, а все-таки в глазах нет прежней дряни. Человеком смотрите, не комнатной собачкой. Это хорошо. Ну, что же вы? работаете?

Я вздохнул. Лгать мне не хотелось, а правду сказать я стыдился.

— Ну, ничего,— продолжал Лушин,— не робейте. Главное дело: жить нормально и не поддаваться увлечениям. А то что пользы? Куда бы волна ни понесла — всё худо; человек хоть на камне стой, да на своих ногах. Я вот кашляю... а Беловзоров — слышали вы?

— Что такое? нет.

— Без вести пропал; говорят, на Кавказ уехал. Урок вам, молодой человек. А вся штука оттого, что не умеют вовремя расстаться, разорвать сети. Вот вы, кажется, выскочили благополучно. Смотрите же, не попадитесь опять. Прощайте.

«Не попадусь...— думал я,— не увижу ее больше»; но мне было суждено еще раз увидеть Зинаиду.

## XXI

Отец мой каждый день выезжал верхом; у него была славная рыже-чалая английская лошадь, с длинной тонкой шеей и длинными ногами, неутомимая и злая. Ее звали Электрик. Кроме отца, на ней никто ездить не мог. Однажды он

пришел ко мне в добром расположении духа, чего с ним давно не бывало; он собирался выехать и уже надел шпоры. Я стал просить его взять меня с собой.

— Давай лучше играть в чехарду,— отвечал мне отец,— а то ты на своем клепере за мной не поспеешь.

— Поспею; я тоже шпоры надену.

— Ну, пожалуй.

Мы отправились. У меня был вороненький, косматый конек, крепкий на ноги и довольно резвый; правда, ему приходилось скакать во все лопатки, когда Электрик шел полной рысью, но я все-таки не отставал. Я не видывал всадника, подобного отцу; он сидел так красиво и небрежно-ловко, что, казалось, сама лошадь под ним это чувствовала и щеголяла им. Мы проехали по всем бульварам, побывали на Девичьем поле, перепрыгнули через несколько заборов (сперва я боялся прыгать, но отец презирал робких людей,— и я перестал бояться), переехали дважды через Москву-реку — и я уже думал, что мы возвращаемся домой, тем более что сам отец заметил, что лошадь моя устала, как вдруг он повернул от меня в сторону от Крымского брода и поскакал вдоль берега. Я пустился вслед за ним. Поравнявшись с высокой грудой сложенных старых бревен, он проворно соскочил с Электрика, велел мне слезть и, отдав мне поводья своего коня, сказал, чтобы я подождал его тут же, у бревен, а сам повернул в небольшой переулочек и исчез. Я принялся расхаживать взад и вперед вдоль берега, ведя за собой лошадей и бранясь с Электриком, который на ходу то и дело дергал головой, встряхивался, фыркал, ржал; а когда я останавливался, попеременно рыл копытом землю, с визгом кусал моего клепера в шею, словом, вел себя как избалованный *rig sang*<sup>1</sup>. Отец не возвращался. От реки несло неприятной сыростью; мелкий дождик тихонько набежал и испестрил крошечными темными пятнами сильно надоевшие мне глупые серые бревна, около которых я скитался. Тоска меня брала, а отца всё не было. Какой-то будочник из чухонцев, тоже весь серый, с огромным старым кивером в виде горшка на голове и с алебардой (зачем, кажется, было будочнику находиться на берегу Москвы-реки!), приблизился ко мне и, обратив ко мне свое старушечье, сморщенное лицо, промолвил:

<sup>1</sup> конь чистокровной породы (франц.)

— Что вы здесь делаете с лошадьми, барчук? Дайте-ка я подержу.

Я не отвечал ему; он попросил у меня табаку. Чтобы отвязаться от него (к тому же нетерпение меня мучило), я сделал несколько шагов по тому направлению, куда удалился отец; потом прошел переулочек до конца, повернул за угол и остановился. На улице, в сорока шагах от меня, перед раскрытым окном деревянного домика, спиной ко мне стоял мой отец; он опирался грудью на оконницу, а в домике, до половины скрытая занавеской, сидела женщина в темном платье и разговаривала с отцом; эта женщина была Зинаида.

Я остолбенел. Этого я, признаюсь, никак не ожидал. Первым движением моим было убежать. «Отец оглянется,— подумал я,— и я пропал...». Но странное чувство, чувство сильнее любопытства, сильнее даже ревности, сильнее страха — остановило меня. Я стал глядеть, я силился прислушаться. Казалось, отец настаивал на чем-то. Зинаида не соглашалась. Я как теперь вижу ее лицо — печальное, серьезное, красивое и с непередаваемым отпечатком преданности, грусти, любви и какого-то отчаяния — я другого слова подобрать не могу. Она произносила односложные слова, не поднимала глаз и только улыбалась — покорно и упрямо. По одной этой улыбке я узнал мою прежнюю Зинаиду. Отец повел плечами и поправил шляпу на голове, что у него всегда служило признаком нетерпения... Потом послышались слова: «Vous devez vous séparer de cette...»<sup>1</sup> Зинаида выпрямилась и протянула руку... Вдруг в глазах моих совершилось невероятное дело: отец внезапно поднял хлыст, которым сбивал пыль с полы своего сюртука, — и послышался резкий удар по этой обнаженной до локтя руке. Я едва удержался, чтобы не вскрикнуть, а Зинаида вздрогнула, молча посмотрела на моего отца и, медленно поднеся свою руку к губам, поцеловала заалевший на ней рубец. Отец швырнул в сторону хлыст и, торопливо взбежав на ступеньки крылечка, ворвался в дом... Зинаида обернулась — и, протянув руки, закинув голову, тоже отошла от окна.

С замиранием испуга, с каким-то ужасом недоумения на сердце бросился я назад и, пробежав переулок, чуть не упустив Электрика, вернулся на берег реки. Я не мог ничего сообразить. Я знал,



<sup>1</sup> «Вы должны расстаться с этой...» (франц.)



что на моего холодного и сдержанного отца находили иногда порывы бешенства, и все-таки я никак не мог понять, что я такое видел... Но я тут же почувствовал, что, сколько бы я ни жил, забыть это движение, взгляд, улыбку Зинаиды было для меня навсегда невозможно, что образ ее, этот новый, внезапно представший передо мною образ, навсегда запечатлелся в моей памяти. Я глядел бессмысленно на реку и не замечал, что у меня слезы лились. «Ее бьют,— думал я,— бьют... бьют...».

— Ну, что же ты — давай мне лошадей! — раздался за мной голос отца.

Я машинально подал ему поводья. Он вскочил на Электрика... Прозябший конь взвился на дыбы и прыгнул вперед на полторы сажени... но скоро отец укротил его; он вонзил ему шпору в бока и ударил его кулаком по шее... «Эх, хлыста нету», — пробормотал он.

Я вспомнил недавний свист и удар этого самого хлыста и содрогнулся.

— Куда ж ты дел его? — спросил я отца погоды немного.

Отец не отвечал мне и поскакал вперед. Я нагнал его. Мне непременно хотелось видеть его лицо.

— Ты соскучился без меня? — проговорил он сквозь зубы.

— Немножко. Где же ты уронил свой хлыст? — спросил я его опять.

Отец быстро глянул на меня.

— Я его не уронил, — промолвил он, — я его бросил.

Он задумался и опустил голову... И тут-то я в первый и едва ли не в последний раз увидел, сколько нежности и сожаления могли выразить его строгие черты.

Он опять поскакал, и уж я не мог его догнать; я приехал домой четверть часа после него.

«Вот это любовь, — говорил я себе снова, сидя ночью перед своим письменным столом, на котором уже начали появляться тетради и книги, — это страсть!.. Как, кажется, не возмутиться, как нести удар от какой бы то ни было!.. от самой милой руки! А, видно, можно, если любишь... А я-то... я-то воображал...»

Последний месяц меня очень составлял — и моя любовь, со всеми своими волнениями и страданиями, показалась мне самому чем-то таким маленьким, и детским, и мизерным перед тем другим, неизвестным чем-то, о котором я едва мог догадываться и которое меня пугало, как незнакомое, красивое, но грозное

лицо, которое напрасно силишься разглядеть в полумраке...

Странный и страшный сон мне приснился в эту самую ночь. Мне чудилось, что я вхожу в низкую темную комнату... Отец стоит с хлыстом в руке и топает ногами; в углу прижалась Зинаида, и не на руке, а на лбу у ней красная черта... А сзади их обоих поднимается весь окровавленный Беловзоров, раскрывает бледные губы и гневно грозит отцу.

Два месяца спустя я поступил в университет, а через полгода отец мой скончался (от удара) в Петербурге, куда только что переселился с моей матерью и со мною. За несколько дней до своей смерти он получил письмо из Москвы, которое его чрезвычайно взволновало... Он ходил просить о чем-то матушку и, говорят, даже заплакал, он, мой отец! В самое утро того дня, когда с ним случился удар, он начал было письмо ко мне на французском языке. «Сын мой, — писал он мне, — бойся женской любви, боясь этого счастья, этой отравы...» Матушка после его кончины послала довольно значительную сумму денег в Москву.

## XXII

Прошло года четыре. Я только что вышел из университета и не знал еще хорошо, что мне начать с собою, в какую дверь стучаться: шлялся пока без дела. В один прекрасный вечер я в театре встретил Майданова. Он успел жениться и поступить на службу; но я не нашел в нем перемены. Он так же неужно восторгался и так же внезапно падал духом.

— Вы знаете, — сказал он мне, — между прочим, госпожа Дольская здесь.

— Какая госпожа Дольская?

— Вы разве забыли? бывшая княжна Засекина, в которую мы все были влюблены, да и вы тоже. Помните, на даче возле Нескучного.

— Она замужем за Дольским?

— Да.

— И она здесь, в театре?

— Нет, в Петербурге, она на днях сюда приехала; собирается за границу.

— Что за человек ее муж? — спросил я.

— Прекрасный малый, с состоянием. Сослуживец мой московский. Вы понимаете — после той истории... вам это всё должно быть хорошо известно (Майданов значительно улыбнулся)... ей не легко было составить себе партию; были по-

следствия... но с ее умом всё возможно. Ступайте к ней: она вам будет очень рада. Она еще похорошела.

Майданов дал мне адрес Зинаиды. Она остановилась в гостинице Демут. Старые воспоминания во мне расшевелились... я дал себе слово на другой же день посетить бывшую мою «пассию». Но встретились какие-то дела; прошла неделя, другая, и когда я, наконец, отправился в гостиницу Демут и спросил госпожу Дольскую — я узнал, что она четыре дня тому назад умерла почти внезапно от родов.

Меня как будто что-то в сердце толкнуло. Мысль, что я мог ее увидеть и не увидел и не увижу ее никогда, — эта горькая мысль впиалась в меня со всею силою неотразимого упрека. «Умерла!» — повторил я, тупо глядя на швейцара, тихо выбрался на улицу и пошел не зная сам куда. Всё прошедшее разом всплыло и встало передо мною. И вот чем разрешилась, вот к чему, спеша и волнуясь, стремилась эта молодая, горячая, блистательная жизнь! Я это думал, я воображал себе эти дорогие черты, эти глаза, эти кудри — в тесном ящике, в сырой подземной тьме — тут же, недалеко от меня, пока еще живого, и, может быть, в нескольких шагах от моего отца... Я всё это думал, я напрягал свое воображение, а между тем:

Из равнодушных уст я слышал смерти весть,  
И равнодушно ей внимал я,—

звучало у меня в душе. О молодости молодости! тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу, ты самоуверенна и дерзка, ты говоришь: я одна живу — смотри! а у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета, и всё в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег... И, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности всё сделать, а в возможности думать, что ты всё сделаешь, — состоит именно в том, что ты пускаешь по ветру силы,

которые ни на что другое употребить бы не умела, — в том, что каждый из нас не шутя считает себя расточителем, не шутя полагает, что он вправе сказать: «О, что бы я сделал, если б я не потерял времени даром!»

Вот и я... на что я надеялся, чего я ожидал, какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением на миг возникший призрак моей первой любви?

А что сбылось из всего того, на что я надеялся? И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней, весенней грозе?

Но я напрасно клевету на себя. И тогда, в то легкомысленное молодое время, я не остался глух на печальный голос, воззвавший ко мне, на торжественный звук, долетевший до меня из-за могилы. Помнится, несколько дней спустя после того дня, когда я узнал о смерти Зинаиды, я сам, по собственному неотразимому влечению, присутствовал при смерти одной бедной старушки, жившей в одном с нами доме. Покрытая лохмотьями, на жестких досках, с мешком под головою, она трудно и тяжело кончалась. Вся жизнь ее прошла в горькой борьбе с ежедневной нуждою; не видела она радости, не вкушала от меду счастья — казалось, как бы ей не обрадоваться смерти, ее свободе, ее покою? А между тем пока ее ветхое тело еще упорствовало, пока грудь еще мучительно вздымалась под налегшей на нее леденящей рукою, пока ее не покинули последние силы, — старушка всё крестилась и всё шептала: «Господи, отпусти мне грехи мои», — и только с последней искрой сознания исчезло в ее глазах выражение страха и ужаса кончины. И помню я, что тут, у одра этой бедной старушки, мне стало страшно за Зинаиду, и захотелось мне помолиться за нее, за отца — и за себя.



Веселые годы,  
Счастливые дни —  
Как вешние воды  
Промчались они!

*Из старинного ромansa*



**Ч**...Асу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечки, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками.

Никогда еще он не чувствовал такой усталости — телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами; некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами — сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно... и, со всем тем, никогда еще то «*taedium vitae*», о котором говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» — с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе — он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое со всех сторон обступило его, как осенняя, темная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать: он знал, что он не заснет.

Он принялся размышлять... медленно, вяло и злобно.

Он размышлял о суете, неужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором (ему самому недавно минул 52-й год) — и ни один не находил пощады перед ним. Везде всё то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение, — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, — а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость — и вместе с нею тот постоянно возрастающий, всё разьедающий и подтачивающий страх смерти... и бух в бездну! Хорошо еще, если так разыграется жизни! А то, пожалуй, перед концом пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания... Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море — нет; он воображал себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна; сам он сидит в маленькой, валкой лодке — а там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища: все житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота... Он смотрит — и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится всё явственнее, всё отвратительно явственнее... Еще минута — и перевернется подпертая им лодка! Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно — и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом... Но день урочный придет — и перевернет оно лодку.

Он тряхнул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старях, большею частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он это делал, он ничего не искал — он



просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, его томивших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой), — он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, собираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу небольшую осьмиугольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик.

Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик — и вдруг слабо вскрикнул... Не то сожаление, не то радость изображали его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором, всё тот же — и весь измененный годами.

Он встал и, возвратясь к камину, сел опять в кресло — и опять закрыл руками лицо... «Почему сегодня? именно сегодня?» — думалось ему, и вспомнил он многое, давно прошедшее...

Вот что вспомнил он...

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем.

Вот что он вспомнил:

## I

Дело было летом 1840 года. Санину минул 22-й год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бес семейный. У него, по смерти отдаленного родственника, оказалось несколько тысяч рублей — и он решил прожить их за границу, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него немислимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость; господа ту-

ристы разъезжали в дилижансах. Санин взял место в «бейвагене»<sup>1</sup>; но дилижанс отходил только в 11-м часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная — и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Арнадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гёте, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного «Вертера» — и то во французском переводе; погулял по берегу Майна, поскучал, как следует добропорядочному путешественнику; наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску: «Итальянская кондитерская Джованни Розелли» заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду; но в первой комнате, где, за скромным прилавком, на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами, — в этой комнате не было ни души; только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками, на высоком плетеном стуле возле окна, и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзиной из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней комнате. Санин стоял и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет?» В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась — и Санину поневоле пришлось изумиться.

## II

В кондитерскую, с рассыпанными по обнаженному плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками, порывисто вбежала девушка лет девятнадцати и, увидев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом: «Скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повиноваться, а просто от избытка изумления

<sup>1</sup> в добавочной (прицепной) повозке (нем. *Beiwagen*).



Санин не тотчас последовал за девушкой — и как бы уперся на месте: он в жизни не видывал подобной красавицы. Она обернулась к нему и с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла: «Да идите же, идите!» — что он тотчас ринулся за нею в раскрытую дверь.

В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал, весь белый — белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор, — мальчик лет четырнадцати, поразительно похожий на девушку, очевидно ее брат. Глаза его были закрыты, тень от черных густых волос падала пятном на словно окаме-

нелый лоб, на недвижные тонкие брови; из-под посиневших губ виднелись стиснутые зубы. Казалось, он не дышал; одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут; тесный галстук сжимал его шею.

Девушка с воплем бросилась к нему. — Он умер, он умер! — вскричала она, — сейчас он тут сидел, говорил со мною — и вдруг упал и сделался недвижим... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нет! Панталеоне, Панталеоне, что же доктор? — прибавила она вдруг по-итальянски. — Ты ходил за доктором?

— Синьора, я не ходил, я послал Луизу, — раздался хрипавый голос за дверью, — и в комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, высоком белом галстуке, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых, железного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей — сходство тем более поразительное, что под их темно-серой массой только и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые желтые глаза.

— Луиза скорей сбегает, а я не могу бегать, — продолжал старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские, подагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками, — а я вот воды принес.

Своими сухими, корявыми пальцами он стискивал длинное горлышко бутылки.

— Но Эмиль пока умрет! — воскликнула девушка и протянула руки к Санину. О мой господин, о mein Herr! Неужели вы не можете помочь?

Надо ему кровь пустить — это удар, — заметил старичок, носивший имя Панталеоне.

Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медицине, однако одно он знал достоверно: с четырнадцатилетними мальчиками ударов не случается.

— Это обморок, а не удар, — проговорил он, обратясь к Панталеоне. — Есть у вас щетки?

Старичок приподнял свое личико.

— Что?

— Щетки, щетки, — повторил Санин по-немецки и по-французски. — Щетки, — прибавил он, показывая вид, что чистит себе платье.



Старичок, наконец, его понял.

— А, щетки! Spazzetti! Как не быть щеток!

— Давайте их сюда; мы снимем с него сюртук — и станем растирать его.

— Хорошо... Вепоне! А воду на голову не надо вылить?

— Нет... после; ступайте теперь поскорей за щетками.

Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тотчас вернулся с двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и даже Саина — как бы желая знать, что значила вся эта тревога?

Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава его рубашки — и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и руки. Панталеоне так же усердно тер другой — головной щеткой — по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни одной векою, так и впилась в лицо своему брату.

Санин сам тер — а сам искоса поглядывал на нее. Боже мой! какая же это была красавица!

### III

Нос у ней был несколько велик, но красивого, орлиного ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни взять словновая кость или молочный янтарь, волнистый лоск волос, как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти, — и особенно глаза, темно-серые, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза, — даже теперь, когда испуг и горе омрачали их блеск... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда он возвращался... Да он и в Италии не встречал ничего подобного! Девушка дышала редко и неровно; казалось, она всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать?

Санин продолжал растирать его; но он глядел не на одну девушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекла его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался; при каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кричал, а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения, подмытые водою.





— Снимите, по крайней мере, с него сапоги,— хотел было сказать ему Санин...

Пудель, вероятно возбужденный необычайностью всего происходившего, вдруг припал на передние лапы и принялся лаять.

— Tartaglia — canaglia! <sup>1</sup> — запищел на него старик...



Но в это мгновение лицо девушки преобразилось. Ее брови приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радостью.

Санин оглянулся... По лицу молодого человека выступила краска; веки шевельнулись... ноздри дрогнули. Он потянул воздух сквозь всё еще стиснутые зубы, вздохнул...

— Эмиль! — крикнула девушка. — Эмилио мио!

Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались — слабо; та же слабая улыбка спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислой рукою — и с размаху положил ее себе на грудь.

— Эмилио! — повторила девушка и приподнялась. Выражение ее лица было так сильно и ярко, что казалось, вот сейчас либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот.

— Эмиль! Что такое? Эмиль! — слышалось за дверью — и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет выступал за нею следом; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Девушка побежала к ним навстречу.

— Он спасен, мама, он жив! — воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

— Да что такое? — повторила та. — Я возвращаюсь... и вдруг встречаю г-на доктора и Луизу...

Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, который всё более и более приходил в себя и всё продолжал улыбаться: он словно начинал стыдиться наделанной им тревоги.

— Вы, я вижу, его растирали щетками,— обратился доктор к Санину и Панталеоне,— и прекрасно сделали... Очень хорошая мысль... а вот мы теперь посмотрим, какие еще средства... — Он пощупал у молодого человека пульс. — Гм! Покажите-ка язык!

Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее улыбнулся, взвел на нее глаза — и покраснел...

Санину пришло на мысль, что он становится лишним; он вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и остановила его.

— Вы уходите,— начала она, ласково заглядывая ему в лицо,— я вас не удерживаю, но вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером, мы вам так обязаны — вы, может быть, спасли брата: мы хотим благодарить вас — мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадоваться вместе с нами...

— Но я уезжаю сегодня в Берлин,— заикнулся было Санин.

— Вы еще успеете,— с живостью возразила девушка.— Придите к нам через час на чашку шоколада. Вы обещаетесь? А мне нужно опять к нему! Вы придете? Что оставалось делать Санину?

— Приду,— отвечал он.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон — и он очутился на улице.

#### IV

Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняла, как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали; доктор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осторожность в испытании ощущений», так как субъект темперамента нервного и с склонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам;

<sup>1</sup> Тарталья — каналья! (итал.)

но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновала. Эмиль одет был, как приличествует выздоравливающему, в просторный плафрок; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи; но вид он имел веселый, почти праздничный; да и всё кругом имело праздничный вид. Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, — огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия — и Санина посадила именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталья и кота; все казалось несказанно счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот по-прежнему всё жеманился и жмурился. Санина заставила объяснить, кто он родом, и откуда, и как его зовут; когда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились и даже ахнули — и тут же, в один голос, объявили, что он отлично выговаривает по-немецки; но что если ему удобнее выражаться по-французски, то он может употреблять и этот язык, так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно воспользовался этим предложением. «Санин! Санин!» Дамы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так легко произносима. Имя его: «Димитрий» — также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу: «Demetrio e Polibio», но что «Dimitri» гораздо лучше, чем «Demetrio». Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во все подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама с седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее Леонора Розелли; что она осталась вдовой после мужа своего, Джiovанни Баттиста Розелли, который двадцать пять лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера; что Джiovанни Баттиста был родом из Виенны, и очень хороший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец! При этих словах г-жа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками

и висевший над диваном. Должно полагать, что живописец — «тоже республиканец!», как со вздохом заметила г-жа Розелли, не вполне умевшая уловлять сходство, ибо на портрете покойный Джiovанни Баттиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригаantom — вроде Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка «старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Корреджио!» Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила, грустно покачав головою, что у ней только и осталось, что вот эта дочь да вот этот сын (она указала на них поочередно пальцем); что дочь зовут Джеммой, а сына — Эмилием; что оба они очень хорошие и послушные дети — особенно Эмилио... («Я не послушна?» — ввернула тут дочь; «Ох, ты тоже республиканка!» — ответила мать); что дела, конечно, нудят теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер... («Un grand'uo'no!» — с суровым видом подхватил Панталеоне); но что все-таки, слава богу, жить еще можно!

## V

Джемма слушала мать — и то посмеивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозилась ей пальцем, то поглядывала на Санина; наконец она встала, обняла и поцеловала мать в шею — в «душку», отчего та много смеялась и даже пищала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказалось, что он был когда-то оперным певцом, для баритонных партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом дома и слугою. Несмотря на весьма долгое пребывание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и только умел браниться на нем, немилосердно коверкая даже и бранные слова. «Феррофлукто спиччечуббио!»<sup>1</sup> — обзывал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выговаривал в совершенстве, ибо был родом из Синигальи, где слышится «lingua toscana in bocca roman!»<sup>2</sup>. Эмилио видимо нежилась и

<sup>1</sup> «Проклятый плут!» (нем.: verfluchte Spitzbube).

<sup>2</sup> «тосканский язык в римских устах!» (итал.)



предавался приятным ощущениям человека, который только что избежал опасности или выздоравливает; да и кроме того по всему можно было заметить, что домашние его баловали. Он застенчиво поблагодарил Санина, а впрочем, больше налегал на сироп и на конфеты. Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколада и съесть замечательное количество бисквитов: он только что проглотит один, а Джемма уже подносит ему другой — и отказаться нет возможности! Он скоро почувствовал себя как дома: время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать — о России вообще, о русском климате, о русском обществе, о русском мужике и особенно о казаках; о войне двенадцатого года, о Петре Великом, о Кремле, и о русских песнях, и о колоколах. Обе дамы имели весьма слабое понятие о нашей пространной и отдаленной родине; г-жа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина в изумление вопросом: существует ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ледяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла такую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа: «Bellezze delle arti»?<sup>1</sup> — А в ответ на восклицание Санина: «Неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?!» — фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все военные — но гостеприимство чрезвычайное и все крестьяне очень послушны! Санин постарался сообщить ей и ее дочери сведения более точные. Когда речь коснулась русской музыки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь русскую арию и указали на стоявшее в комнате крошечное фортепиано, с черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных. Он повиновался без дальних околичностей и, аккомпанируя себе двумя пальцами правой и тремя (большим, средним и мизинцем) левой, — спел тоненьким носовым тенорком сперва «Сарафан», потом «По улице мостовой». Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка и потребовали перевода текста. Санин исполнил их желание, но так как слова «Сарафана» и особенно «По улице мостовой» (*sur une rue ravée une jeune fille allait à l'eau*<sup>2</sup> — он



так передал смысл оригинала) — не могли внушить его слушательницам высокое понятие о русской поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, потом спел пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, мнорные куплеты которого он слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг — фрау Леноре даже открыла в русском языке удивительное сходство с итальянским. «Мгновенье» — «о, vieni»<sup>1</sup>, «со мной» — «siam noi»<sup>2</sup> и т. п. Даже имена: Пушкин (она выговаривала: Пуссекин)

<sup>1</sup> «Красоты искусства» (итал.).

<sup>2</sup> по замощенной улице молодая девушка шла за водой (франц.).

«о, приди» (итал.).

«это мы» (итал.).



и Глинка звучали ей чем-то родным. Санин в свою очередь попросил дам что-нибудь спеть: они также не стали чиниться. Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой спела несколько дуэтино и «сторнелло». У матери был когда-то хороший контральт; голос дочери был несколько слаб, но приятен.

## VI

Но не голосом Джеммы — ею самую любовался Санин. Он сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что никакая пальма — даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта, — не в состоянии соперничать с изящной стройностью ее стана. Когда же она, на чувствительных нотках, возводила вверх глаза — ему казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик Панталеоне, который, прислонясь плечом к притолке двери и уткнув подбородок и рот в просторный галстук, слушал важно, с видом знатока, — даже тот любовался лицом прекрасной девушки и дивился ему — а, кажется, должен был он к нему привыкнуть! Окончив свои дуэтино с дочерью, фрау Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос меняется (он действительно говорил каким-то беспрестанно ломавшимся басом), и что по этой причине ему запрещено петь; а что вот Панталеоне мог бы, в честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчас принял недовольный вид, нахмурился, взерошил волосы и объявил, что он уже давно всё это бросил, хотя действительно мог в молодости постоять за себя, — да и вообще принадлежал к той великой эпохе, когда существовали настоящие, классические певцы — не чета теперешним пискунам! — и настоящая школа пения; что ему, Панталеоне Чиппатоло из Варёзе, поднесли однажды в Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили в театре несколько белых голубей; что, между прочим, один русский князь Тарбусский — «il principe Tarbuski», — с которым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы!.. но что он не хотел расстаться с Италией, с страной Данта — il paese del Dante! — Потом, конечно, произошли... несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен... Тут старик перервал самого себя, вздохнул глубоко раза два,

потупился — и снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом теноре Гарсиа, к которому питал благоговейное, безграничное уважение.

«Вот был человек! — воскликнул он. — Никогда великий Гарсиа — „il gran Garcia“ — не унижался до того, чтобы петь, как теперешние теноришки — tenoracci — фальцетом: всё грудью, грудью, voce di petto, sì!» Старик крепко постучал маленьким засохшим кулачком по собственному жабо! «И какой актер! Вулкан, signori miei<sup>2</sup>, вулкан, un Vesuvio! Я имел честь и счастье петь вместе с ним в опере dell'illustrissimo maestro<sup>3</sup> Россини — в «Отелло»! Гарсиа был Отелло — я был Яго — и когда он произносил эту фразу...»

Тут Панталеоне стал в позы и запел дрожащим и сильным, но всё еще патетическим голосом:

L'...ra da ver...so da ver...so il fato  
Io più no... no... no... non temerò!<sup>4</sup>

— Театр трепетал, signori miei! но и я не отставал; и я тоже за ним:

L'...ra da ver...so da ver...so il fato  
Temer più non dovrò!<sup>5</sup>

— И вдруг он — как молния, как тигр:

Morrò!.. ma vendicato...<sup>6</sup>

— «Или вот еще, когда он пел... когда он пел эту знаменитую арию из „Matrimonio segreto“: Pria che spunti...<sup>7</sup> Тут он, il gran Garcia, после слов: I cavalli di galoppo<sup>8</sup> — делал на словах: Senza posa caccera<sup>9</sup> — послушайте, как это изумительно, com'è stupendo! Тут он делал...» — Старик начал было какую-то необыкновенную фиоритуру — и на десятой ноте запнулся, закашлялся и, махнув рукою, отвернулся и пробормотал: «Зачем вы меня мучите?» Джемма тотчас же вскочила со стула и, громко хлопая в ладоши, с криком: «Браво!.. браво!» — подбежала к бедному отставному Яго и обеими руками ласково потрепала его

грудным голосом, да! (итал.)

<sup>2</sup> господя мои (итал.).

<sup>3</sup> знаменитейшего маэстро (итал.).

<sup>4</sup> Гнева... судьбы... / Я больше не буду бояться! (итал.)

<sup>5</sup> Гнева... судьбы... / Бояться я больше не должен! (итал.)

<sup>6</sup> Умру!.. но отомщенный... (итал.)

<sup>7</sup> «Тайного брака»: Прежде чем взойдет... (итал.)

<sup>8</sup> Лошадей галопом (итал.)

<sup>9</sup> Без передышки будет гнать (итал.).

по плечам. Один Эмиль безжалостно смеялся. *Cet âge est sans pitié* — этот возраст не знает жалости, — сказал уже Лафонтен.

Санин попытался утешить престарелого певца и заговорил с ним на итальянском языке (он слегка его нахватался во время своего последнего путешествия) — заговорил о «раеве del Dante, dove il vi suona»<sup>1</sup>. Эта фраза вместе с «*Lasciate ogni vreganza*»<sup>2</sup> составляла весь поэтический итальянский багаж молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискивания. Главу же чем когда-либо уткнув подбородок в галстук и угрюмо пуча глаза, он снова уподобился птице, да еще сердитой, — ворону, что ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснея, как это обыкновенно случается с балованными детьми, — обратился к сестре и сказал ей, что если она желает занять гостя, то ничего она не может придумать лучшего, как прочесть ему одну из комедий Мальца, которые она так хорошо читает. Джемма засмеялась, ударила брата по руке, воскликнула, что он «всегда такое придумает!» Однако тотчас пошла в свою комнату и, вернувшись оттуда с небольшой книжкой в руке, уселась за столом перед лампой, оглянулась, подняла палец — «молчать, дескать!» — чисто итальянский жест — и принялась читать.

## VII

Мальц был франкфуртский литератор 30-х годов, который в своих коротеньких и легко набросанных комедийках, писанных на местном наречии, выводил — с забавным и бойким, хотя и не глубоким юмором, — местные, франкфуртские типы. Оказалось, что Джемма читала точно превосходно — совсем по-актерски. Она оттеняла каждое лицо и отлично выдерживала его характер, пуская в ход свою мимику, унаследованную ею вместе с итальянскою кровью; не щадя ни своего нежного голоса, ни своего прекрасного лица, она — когда нужно было представить либо выжившую из ума старуху, либо глупого бургомистра, — корчила самые уморительные гримасы, ежила глаза, морщила нос, картавила, пищала... Сама во время чтения она не смеялась; но когда слушатели (за исключением, прав-

да, Панталеоне: он тотчас с негодованием удалился, как только зашла речь о *quel ferrogflucto Tedesco*<sup>1</sup>), когда слушатели прерывали ее взрывом дружного хохота, — она, опустив книгу на колени, звонко хохотала сама, закинув голову назад, и черные ее кудри прыгали мягкими кольцами по шее и по сотрясенным плечам. Хохот прекращался — она тотчас поднимала книгу и, снова придав чертам своим надлежащий склад, серьезно принималась за чтение. Санин не мог довольно удивиться ей; его особенно поражало то, каким чудом такое идеально-прекрасное лицо принимало вдруг такое комическое, иногда почти тривиальное выражение? Менее удовлетворительно читала Джемма роли молодых девиц — так называемых «*jeunes repriégées*»<sup>2</sup>; особенно любовные сцены не удавались ей; она сама это чувствовала и потому придавала им легкий оттенок насмешливости, словно она не верила всем этим восторженным клятвам и возвышенным речам, от которых, впрочем, сам автор воздерживался — по мере возможности.

Санин не заметил, как пролетел вечер, и только тогда вспомнил о предстоящем путешествии, когда часы пробили десять часов. Он вскочил со стула, как ужаленный.

— Что с вами? — спросила фрау Леноре.

— Да я должен был сегодня уехать в Берлин — и уже место взял в дилижанс!

— А когда отходит дилижанс?

— В половине одиннадцатого!

— Ну, так вы уже не успеете, — заметила Джемма, — оставайтесь... я еще почитаю.

— Вы все деньги заплатили или только задаток дали? — полюбопытствовала фрау Леноре.

— Все! — с печальной ужимкой возопил Санин.

Джемма посмотрела на него, прищурив глаза, — и рассмеялась, а мать ее побранила.

— Молодой человек попусту деньги затратил, а ты смеешься!

— Ничего, — отвечала Джемма, — это его не разорит, а мы постаремся его утешить. Хотите лимонаду?

Санин выпил стакан лимонада, Джемма снова принялась за Мальца — и всё опять пошло как по маслу.

<sup>1</sup> «стране Данте, где звучит si» (итал.).

<sup>2</sup> «Оставьте всякую надежду» (итал.).

<sup>1</sup> каком-то проклятом немце (итал. и нем.).

<sup>2</sup> «героинь» (франц.).

Часы пробили двенадцать. Санин стал прощаться.

— Вы теперь несколько дней должны остаться во Франкфурте, — сказала ему Джемма, — куда вам спешить? Веселее в другом городе не будет. — Она помолчала. — Право, не будет. — прибавила она и улыбнулась. Санин ничего не отвечал и подумал, что в силу пустоты своего кошелька ему поневоле придется остаться во Франкфурте, пока не придет ответ от одного берлинского приятеля, к которому он собирался обратиться за деньгами.

— Оставайтесь, оставайтесь, — промолвила и фрау Леноре. — Мы позначкомим вас с женихом Джеммы, г-м Карлом Клюббером. Он сегодня не мог прийти, потому что он очень занят у себя в магазине... Вы, наверное, видели на Цейле самый большой магазин сукон и шелковых материй? Ну, так он там главным. Но он очень будет рад вам откомендовать.

Санина это известие — бог ведает почему — слегка огорошило. «Счастливирик этот жених!» — мелькнуло у него в уме. Он посмотрел на Джемму — и ему показалось, что он подметил насмешливое выражение в ее глазах. Он начал расклавиваться.

— До завтра? Не правда ли, до завтра? — спросила фрау Леноре.

— До завтра! — произнесла Джемма не вопросительным, а утвердительным тоном, как будто это иначе и быть не могло.

— До завтра! — отозвался Санин.

Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до угла улицы. Панталеоне не утерпел, чтобы не выразить своего неудовольствия по поводу Джеммина чтения.

— Как ей не стыдно! Кривляется, пищит — una caricatura! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру — нечто великое, трагическое, а она передразнивает какую-то скверную немку! Этак и я могу... Мерц, керц, смерц, — прибавил он хриплым голосом, уткнув лицо вперед и растопыря пальцы. Тарталья залаял на него, а Эмиль расхохотался. Старик круто повернул назад.

Санин возвратился в гостиницу «Белого лебеда» (он оставил там свои вещи в общей зале) в довольно смутном настроении духа. Все эти немецко-французско-итальянские разговоры так и звенели у него в ушах.

— Невеста! — шептал он, уже лежа в постели в отведенном ему скромном

номере. — Да и красавица же! Но к чему я остался?

Однако на следующий день он послал письмо к берлинскому приятелю.

## VIII

Он не успел еще одеться, как кельнер доложил ему о приходе двух господ. Один из них оказался Эмилем; другой, видный и рослый молодой мужчина с благообразнейшим лицом, был герр Карл Клюббер, жених прекрасной Джеммы.

Должно полагать, что в то время в целом Франкфурте ни в одном магазине не существовало такого вежливого, приличного, важного, любезного главного комми, каковым являлся г-н Клюббер. Безукоризненность его туалета стояла на одной высоте с достоинством его осанки, с изящностью — немного, правда, чопорной и сдержанной, на английский лад (он провел два года в Англии), — но все-таки пленительной изящностью его манер! С первого взгляда становилось явнo, что этот красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человек привык повиноваться высшим и повелевать низшим и что за прилавком своего магазина он неизбежно должен был внушать уважение самим покупателям! В сверхъестественной его честности не могло быть ни малейшего сомнения: стоило только взглянуть на его туго накрахмаленные воротнички! И голос у него оказался такой, какого следовало ожидать: густой и самоуверенно-сочный, но не слишком громкий, с некоторой даже ласковостью в тембре. Таким голосом особенно удобно отдавать приказанья подчиненным комми: «Покажите, мол, ту штуку пунсового лионского бархата!» — или: «Подайте стул этой даме!»

Г-н Клюббер начал с того, что откомендовался, причем так благородно наклонил стан, так приятно сдвинул ноги и так учтиво тронул каблукoм о каблук, что всякий непременно должен был почувствовать: «У этого человека и белье и душевные качества — первого сорта!» Отделка обнаженной правой руки (в левой, облеченной в шведскую перчатку, он держал до зеркальности вылощенную шляпу, на дне которой лежала другая перчатка) — отделка этой правой руки, которую он скромно, но с твердостью протянул Санину, превосходила всякое верoятие: каждый ноготь был в своем



роде совершенство! Потом он сообщил, на отборнейшем немецком языке, что желал заявить свое почтение и свою признательность г-ну иностранцу, который оказал такую важную услугу будущему его родственнику, брату его невесты; при этом он повел левой рукой, державшей шляпу, в направлении Эмиля, который словно застыдилась и, отвернувшись к окну, положил палец в рот. Г-н Клубер прибавил, что почтет себя счастливым, если с своей стороны будет в состоянии сделать что-нибудь приятное г-ну иностранцу. Санин отвечал, не без некоторого труда, тоже по-немецки, что он очень рад... что услуга его была

маловажная... и попросил своих гостей присесть. Герр Клубер поблагодарил — и, мгновенно раскинув фалды фрака, опустился на стул, — но опустился так легко и держался на нем так непрочно, что нельзя было не понять: «Человек этот сел из вежливости — и сейчас опять вспорхнет!» И действительно, он немедленно вспорхнул и, стыдливо переступив два раза ногами, словно танцуя, объявил, что, к сожалению, не может долее остаться, ибо спешит в свой магазин — дела прежде всего! — но так как завтра воскресенье, то он, с согласия фрау Леноре и фрейлейн Джеммы, устроил увеселительную прогулку в Соден, на которую честь имеет пригласить г-на иностранца, и питает надежду, что он не откажется украсить ее своим присутствием. Санин не отказался ее украсить — и герр Клубер отрекомендовался вторично и ушел, приятно мелькая панталонами нежнейшего горохового цвета и столь же приятно поскрипывая подошвами новейших сапогов.

## IX

Эмиль, который продолжал стоять лицом к окну даже после приглашения Санина «присесть», сделал налево кругом, как только будущий его родственник вышел, и, ужимаясь по-ребячески и краснея, спросил Санина, может ли он еще немного у него остаться. «Мне сегодня гораздо лучше, — прибавил он, — но доктор запретил мне работать».

— Оставайтесь! Вы мне нисколько не мешаете, — воскликнул немедленно Санин, который, как всякий истый русский, рад был ухватиться за первый попавшийся предлог, лишь бы не быть самому поставлену в необходимость что-нибудь делать.

Эмиль поблагодарил его — и в самое короткое время совершенно освоился и с ним, и с его квартирой; рассматривал его вещи, расспрашивал чуть не о каждой из них: где он ее купил и какое ее достоинство? Помог ему выбраться, причем заметил, что он напрасно не отпускает себе усов; сообщил ему, наконец, множество подробностей о своей матери, о сестре, о Панталеоне, даже о пуделе Тарталье, обо всем их житье-бытье. Всякое подобие робости исчезло в Эмиле; он вдруг почувствовал чрезвычайное влечение к Санину — и вовсе не потому, что тот накануне спас его жизнь, а потому, что человек он был такой





симпатический! Он не замедлил доверить Санину все свои тайны. С особенным жаром настаивал он на том, что мама его непременно хочет сделать из него кушца — а он знает, знает наверное, что рожден художником, музыкантом, певцом; что театр — его настоящее призвание; что даже Панталеоне его поощряет, но что г-н Клюббер поддерживает маму, на которую имеет большое влияние; что самая мысль сделать из него торговца принадлежит собственно г-ну Клуберу, по понятиям которого ничего в мире не может сравниться с званием купца! Продавать сукно и бархат и надувать публику, брать с нее «Naggen-, oder Russen-Preise» (дурацкие, или русские цены) — вот его идеал!

— Ну, что ж! теперь надо идти к нам! — воскликнул он, как только Санин окончил свой туалет и написал письмо в Берлин.

— Теперь еще рано, — заметил Санин.

— Это ничего не значит, — промолвил Эмиль, ласкаясь к нему. — Пойдемте! Мы завернем на почту, а оттуда к нам. Джемма вам так рада будет! Вы у нас позавтракаете... Вы можете сказать что-нибудь маме обо мне, о моей карьере...

— Ну, пойдемте, — сказал Санин, и они отправились.

## Х

Джемма ему действительно обрадовалась, и фрау Леноре его очень дружелюбно приветствовала: видно было, что он накануне произвел на обеих впечатление хорошее. Эмиль побегал распорядиться насчет завтрака, предварительно шепнув Санину на ухо: «Не забудьте!»

— Не забуду, — отвечал Санин.

Фрау Леноре не совсем здоровилось: она страдала мигренью — и, полулежа в кресле, старалась не шевелиться. На Джемме была широкая желтая блуза, перехваченная черным кожаным поясом; она тоже казалась утомленной и слегка побледнела; темноватые круги оттеняли ее глаза, но блеск их не уменьшился от того, а бледность придавала что-то таинственное и милое классически строгим чертам ее лица. Санина в тот день особенно поразила изящная красо-

---

В прежние времена — да, пожалуй, и теперь это не перевелось — когда, начиная с мая месяца, множество русских появлялось во Франкфурте, во всех магазинах цены увеличивались и получали название: «Russen-, или — увы! — Naggen-Preise».



та ее рук; когда она поправляла и поддерживала ими свои темные, лоснистые кудри — взор его не мог оторваться от ее пальцев, гибких и длинных и отделенных дружка от дружки, как у Рафаэлевой Форнарини.

На дворе было очень жарко; после завтрака Санин хотел было удалиться, но ему заметили, что в такой день лучше всего не двигаться с места, — и он согласился; он остался. В задней комнате, в которой он сидел с своими хозяйками, царствовала прохлада; окна выходили в небольшой садик, заросший акациями. Множество пчел, ос и шмелей дружно и жадно гудело в их густых ветках, осы-

анных золотыми цветами; сквозь полуоткрытые ставни и опущенные створы проикал в комнату этот немолчный звук; и говорил о зное, разлитом во внешнем оздухе, — и тем слаще становилась прохлада закрытого и уютного жилья.

Сантин разговаривал много, по-вчашнему, но не о России и не о русской жизни. Желая угодить своему молодому ругу, которого тотчас после завтрака слали к г-ну Клюбери — практиковаться бухгалтерин, — он навел речь на сравнительные выгоды и невыгоды художества и коммерции. Он не удивился тому, то фрау Леноре держала сторону коммерции, — он это ожидал; но и Джемма азделяла ее мнение.

— Коли ты художник и особенно евец, — утверждала она, энергически вигая рукою сверху вниз, — будь непременно на первом месте! Второе уже икуда не годится; а кто знает, можешь и ты достигнуть первого места?

Панталеоне, который также участвовал в разговоре (ему, как давнишнему луге и старому человеку, дозволялось аже сидеть на стуле в присутствии озяев; итальянцы вообще не строги начет этикета), — Панталеоне, разумеется, голя горой за художество. Правду сказать, доводы его были довольно слабы; и больше всё толковал о том, что нужно прежде всего обладать *d'un certo stiro d'ispirazione* — неким порывом дожновенья! Фрау Леноре заметила ему, то и он, конечно, обладал этим «*estiro*», между тем...

— Я имел врагов, — сумрачно замел Панталеоне.

— Да почему же ты знаешь (итальянцы, как известно, легко «тыкаются»), то у Эмиля врагов не будет, если даже откроется в нем это «*estiro*»?

— Ну так делайте из него торгаша, — досадой промолвил Панталеоне, — Дживан'Баттиста так бы не поступил, отя сам был кондитером!

— Дживан'Баттиста, муж мой, был еловец благородный — и если он в модости увлекался...

Но уже старик ничего слышать не отел — и удалился, еще раз проговорив укоризной:

— А! Дживан'Баттиста!..

Джемма воскликнула, что если б миль чувствовал себя патриотом и желал посвятить все силы свои освобождению Италии, то, конечно, для такого ысокого и священного дела можно потертвовать обеспеченной будущостью — но не для театра! Тут фрау

Леноре пришла в волнение и начала умолять свою дочь не сбивать с толку, по крайней мере, брата и удовольствоваться тем, что она сама такая отчаянная республиканка! Произнесши эти слова, фрау Леноре заохала и стала жаловаться на голову, которая у нее была «готова лопнуть». (Фрау Леноре, из уважения к гостю, говорила с дочерью по-французски.)

Джемма тотчас принялась ухаживать за нею, тихонько дула ей на лоб, намочив его сперва одеколоном, тихонько целовала ее щеки, укладывала ей голову в подушки, запрещала ей говорить — и опять ее целовала. Потом, обратившись к Санину, она начала рассказывать ему полушутливым, полутронутым тоном, какая у ней отличная мать и какая она была красавица! «Что я говорю: была! она и теперь — прелесть. Посмотрите, посмотрите, какие у ней глаза!»

Джемма мгновенно достала из кармана белый платок, закрыла им лицо матери и, медленно опуская кайму сверху вниз, обнажила постепенно лоб, брови и глаза фрау Леноры; подождала и попросила открыть их. Та повиновалась, Джемма вскрикнула от восхищения (глаза у фрау Леноре были действительно очень красивы) — и, быстро скользнув платком по нижней, менее правильной части лица своей матери, снова бросилась ее целовать. Фрау Леноре смеялась, и слегка отворачивалась, и с притворным усилием отстраняла свою дочь. Та тоже притворялась, что борется с матерью, и ласкалась к ней — но не по-кошачьи, не на французский манер, а с той итальянской грацией, в которой всегда чувствуется присутствие силы.

Наконец фрау Леноре объявила, что устала... Тогда Джемма тотчас присоветовала ей заснуть немножко, тут же, на кресле, а мы с господином русским — «*avec le monsieur russe*» — будем так тихи, так тихи... как маленькие мыши — «*somme des petites souris*». Фрау Леноре улыбнулась ей в ответ, закрыла глаза и, повздыхав немного, задремала. Джемма проворно опустила на скамейку возле нее и уже не шевельнулась более, только изредка подносила палец одной руки к губам — другою она поддерживала подушку за головою матери — и чуть-чуть шикала, искоса поглядывая на Санина, когда тот позволял себе малейшее движение. Кончилось тем, что и он словно замер и сидел неподвижно, как очарованный, и всеми силами души своей любовался картиной, которую пред-



ставляли ему и эта полутемная комната, где там и сям яркими точками рдели вставленные в зеленые старинные стаканы свежие, пышные розы, и эта заснувшая женщина с скромно подобранными руками и добрым усталым лицом, окаймленным снежной белизной подушки, и это молодое, чутко-настороженное и тоже доброе, умное, чистое и несказанно прекрасное существо с такими черными глубокими, залитыми тенью и все-таки светившимися глазами... Что это? Сон? Сказка? И каким образом он тут?

## XI

Колокольчик звякнул над наружной дверью. Молодой крестьянский парень в меховой шапке и красном жилете вошел с улицы в кондитерскую. С самого утра ни один покупатель не заглядывал в нее... «Вот так-то мы торгуем!» — заметила со вздохом во время завтрака фрау Леноре Санину. Она продолжала дремать; Джемма боялась принять руку от подушки и шепнула Санину: «Ступайте, поторгуйте вы за меня!» Санин тотчас же на цыпочках вышел в кондитерскую. Парню требовалось четверть фунта мятных лепешек.

— Сколько с него? — шепотом спросил Санин через дверь у Джеммы.

— Шесть крейцеров! — таким же шепотом отвечала она.

Санин отвесил четверть фунта, отыскал бумажку, сделал из нее рожок, завернул лепешки, просыпал их, завернул опять, опять просыпал, отдал их, наконец, получил деньги... Парень глядел на него с изумлением, переминая свою шапку на желудке, а в соседней комнате Джемма, зажав рот, помирала со смеху. Не успел этот покупатель удалиться, как явился другой, потом третий... «А видно, рука у меня легкая!» — подумал Санин. Второй потребовал стакан оршаду, третий — полфунта конфект. Санин удовлетворил их, с азартом стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запуская пальцы в ящички и банки. При расчете оказалось, что оршад он продешевил, а за конфекты взял два крейцера лишних. Джемма не переставала смеяться втихомолку, да и сам Санин ощущал веселость необычайную, какое-то особенно счастливое настроение духа. Казалось, век стоял бы он так за прилавком да торговал бы конфектами и оршадом, между тем как то милое существо смотрит на него из-за двери дружелюбно-насмешливыми глазами, а летнее солнце,

пробиваясь сквозь мощную листву растущих перед окнами каштанов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом полуденных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой истомой лени, беспечности и молодости — молодости первоначальной!

Четвертый посетитель потребовал чашку кофе: пришлось обратиться к Панталеоне (Эмиль всё еще не возвращался из магазина г-на Клюбера). Санин снова подсел к Джемме. Фрау Леноре продолжала дремать, к великому удовольствию ее дочери.

— У мамы во время сна мигрень проходит, — заметила она.

Санни заговорил — конечно, по-прежнему, шепотом — о своей «торговле», пресерьезно осведомлялся о цене разных «кондитерских» товаров; Джемма так же серьезно называла ему эти цены, и между тем оба внутренно и дружно смеялись, как бы сознавая, что разыгрывают преслабную комедию. Вдруг на улице шарманка заиграла арию из «Фрейшюца»: «Durch die Felder, durch die Auen...»<sup>1</sup> Плаксивые звуки занули, дрожа и посвистывая, в неподвижном воздухе. Джемма вздрогнула... «Он разбудит маму!» Санин немедленно выскочил на улицу, сунул шарманщику несколько крейцеров в руку — и заставил его замолчать и удалиться. Когда он возвратился, Джемма поблагодарила его легким кивком головы и, задумчиво улыбнувшись, сама принялась чуть слышно напевать красивую веберовскую мелодию, которою Макс выражает все недоумения первой любви. Потом она спросила Санина, знает ли он «Фрейшюца», любит ли Вебера, и прибавила, что хотя она сама итальянка, но такую музыку любит больше всего. С Вебера разговор соскользнул на поэзию и романтизм, на Гофмана, которого тогда еще все читали...

А фрау Леноре всё дремала и даже похрапывала чуть-чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшиеся сквозь ставни, незаметно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по мебели, по платью Джеммы, по листьям и лепесткам цветов.

## XII

Оказалось, что Джемма не слишком жаловала Гофмана и даже находила его...

<sup>1</sup> «Через поля, через долины...» (нем.)

скучным! Фантастически-туманный, северный элемент его рассказов был мало доступен ее южной, светлой натуре. «Это всё сказки, всё это для детей писано!» — уверяла она не без пренебрежения. Отсутствие поэзии в Гофмане тоже смутно чувствовалось ею. Но была одна у него повесть, заглавие которой она, впрочем, позабыла и которая ей очень нравилась; собственно говоря, ей нравилось только начало этой повести: конец она или не прочла, или тоже позабыла. Дело шло об одном молодом человеке, который где-то, чуть ли не в кондитерской, встречает девушку поразительной красоты, гречанку; ее сопровождает таинственный и странный, злой старик. Молодой человек с первого взгляда влюбляется в девушку; она смотрит на него так жалобно, словно умоляет его освободить ее... Он удаляется на мгновение — и, возвратившись в кондитерскую, уж не находит ни девушки, ни старика; бросается ее отыскивать, беспрепятственно натывается на самые свежие их следы, гоняется за ними — и никоим образом, нигде, никогда не может их достигнуть. Красавица на веки веков исчезает для него — и не в силах он забыть ее умоляющий взгляд, и терзается он мыслью, что, быть может, всё счастье его жизни ускользнуло из его рук...

Гофман едва ли таким образом оканчивает свою повесть; но такую она сложилась, такую осталась в памяти Джеммы.

— Мне кажется, — промолвила она, — подобные свидания и подобные разлуки случаются на свете чаще, чем мы думаем.

Санин промолчал... и немного спустя заговорил... о г-не Клюбере. Он в первый раз упомянул о нем; он ни разу не вспомнил о нем до того мгновения.

Джемма промолчала в свою очередь и задумалась, слегка кусая ноготь указательного пальца и устремив глаза в сторону. Потом она похвалила своего жениха, упомянула об устроенной им на завтрашний день прогулке и, быстро глянув на Санина, замолчала опять.

Санин не знал, о чем завести речь.

Эмиль шумно вбежал и разбудил фрау Леноре... Санин обрадовался его появлению.

Фрау Леноре встала с кресла. Явился Панталеоне и объявил, что обед готов. Домашний друг, экс-певец и слуга исправлял также должность повара.

Санин остался и после обеда. Его не отпускали всё под тем же предложением ужасного зноя, а когда зной свалил, ему предложили отправиться в сад пить кофе в тени акаций. Санин согласился. Ему было очень хорошо. В однообразно тихом и плавном течении жизни таятся великие прелести — и он предавался им с наслаждением, не требуя ничего особенного от настоящего дня, но и не думая о завтрашнем, не вспоминая о вчерашнем. Чего стоила одна близость такой девушки, какова была Джемма! Он скоро расстанется с нею и, вероятно, навсегда; но пока один и тот же челнок, как в Уландовом романсе, несет их по жизненным укрошенным струям — радуйся, наслаждайся, путешественник! И всё казалось приятным и милым счастливому путешественнику. Фрау Леноре предложила ему сразиться с нею и с Панталеоне в «тресетте», выучила его этой несложной итальянской карточной игре — обыграла его на несколько крейцеров — и он был очень доволен; Панталеоне, по просьбе Эмиля, заставил пуделя Тарталья проделать все свои штуки — и Тарталья прыгал через палку, «говорил», то есть лаял, чихал, запирал дверь носом, притащил стоптанную туфлю своего хозяина и, наконец, с старым кивером на голове, представлял маршала Бернадотта, подвергающегося жестоким упрекам императора Наполеона за измену. Наполеона представлял, разумеется, Панталеоне — и представлял очень верно: скрестил руки на груди, нахлобучил трехуголку на глаза и говорил грубо и резко, на французском, но, боже! на каком французском языке! Тарталья сидел перед своим владыкой, весь скорчившись, поджавши хвост и смущенно моргая и щурясь под козырьком косо надвинутого кивера; от времени до времени, когда Наполеон, возвышал голос, Бернадотт поднимался на задние лапы. «Fuori, traditore!»<sup>1</sup> закричал наконец Наполеон, забыв в избытке раздражения, что ему следовало до конца выдерживать свой французский характер, — и Бернадотт опротивело бросился под диван, но тотчас же выскочил оттуда с радостным лаем, как бы давая тем знать, что представление кончено. Все зрители много смеялись — и Санин больше всех.

<sup>1</sup> «Вон, предатель» (итал.).

У Джеммы был особенно милый, непрестанный, тихий смех с маленькими презабавными взвизгиваньями... Санина так и разбирало от этого смеха — расцеловал бы он ее за эти взвизгиванья!

Ночь наступила наконец. Надо ж было и честь знать! Простившись несколько раз со всеми, сказавши всем по несколько раз: до завтра! (с Эмилем он даже облобызался), Санин отправился домой и понес с собою образ молодой девушки, то смеющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равнодушной, — но постоянно привлекательной! Ее глаза, то широко раскрытые и светлые и радостные, как день, то полузастигнутые ресницами и глубокие и темные, как ночь, так и стояли перед его глазами, странно и сладко проникая все другие образы и представления.

О г-не Клюбере, о причинах, побудивших его остаться во Франкфурте, — словом, о всем том, что волновало его накануне, — он не подумал ни разу.

#### XIV

Надо ж, однако, сказать несколько слов о самом Санине.

Во-первых, он был очень и очень недурен собою. Статный, стройный рост, приятные, немного расплывчатые черты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, белизна и румянец кожи — а главное: то простодушно-веселое, доверчивое, откровенное, на первых порах несколько глуповатое выражение, по которому в прежние времена тотчас можно было признать детей степенных дворянских семей, «отецких» сыновей, хороших баричей, родившихся и утучненных в наших привольных полустепных краях; походочка с запинкой, голос с пришепеткой, улыбка, как у ребенка, чуть только взглянешь на него... наконец, свежесть, здоровье — и мягкость, мягкость, — вот вам весь Санин. А во-вторых, он и глуп не был и понабрался кое-чего. Свежим он остался, несмотря на заграничную поездку: тревожные чувства, обуревавшие лучшую часть тогдашней молодежи, были ему мало известны.

В последнее время в нашей литературе после тщетного искания «новых людей» начали выводить юношей, решившихся во что бы то ни стало быть свежими... свежими, как фленсбургские устрицы, привозимые в С.-Петербург... Санин не походил на них. Уж коли пошло



дело на сравнения, он скорее напоминал молодую, кудрявую, недавно привитую яблонку в наших черноземных садах — или, еще лучше: выхоленного, гладкого, толстоногого, нежного трехлетка бывших «господских» конских заводов, которого только что начали подганивать на корде... Те, которые сталкивались с Саниным впоследствии, когда жизнь порядком его поломала и молодой, наигранный жирок давно с него соскочил, — видели в нем уже совсем иного человека.

На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже Эмиль, в праздничном платье, с тросточкой в руке и сильно напомаженный, ворвался к нему в комнату и объявил, что герр Клубер сейчас прибудет с каретой, что погода обещает быть удивительной, что у них уже всё готово, но что мама не поедет, потому



что у нее опять разболелась голова. Он стал торопить Санина, уверяя его, что нельзя терять минуты... И действительно: г-н Клубер застал Санина еще за туалетом. Постучался в дверь, вошел, поклонился, изогнул стан, выразил готовность ждать сколько угодно — и сел, изящно опираясь шляпой о колено. Благообразный комми расфрантился и раздушился напропалую: каждое движение его сопровождалось усиленным наплывом тончайшего аромата. Он прибыл в просторной открытой карете, так называемом ландо, запряженном двумя сильными и рослыми, хоть и некрасивыми, лошадьми. Четверть часа спустя Санин, Клубер и Эмиль в этой самой карете торжественно подкатили к крыльцу кондитерской. Г-жа Розелли решительно отказалась участвовать в прогулке; Джемма хотела остаться с матерью, но та ее, как говорится, прогнала.

— Мне никого не нужно, — уверяла она, — я буду спать. Я бы и Панталеоне с вами отправила, да некому будет торговать.

Можно взять Тарталью? — спросил Эмиль.

Конечно, можно.

Тарталья немедленно, с радостными усилиями, вскарабкался на козлы и сел, облизываясь: видно, дело ему было привычное. Джемма надела большую соломенную шляпу с коричневыми лентами; шляпа эта спереди пригибалась книзу, заслоняя почти всё лицо от солнца. Черта тени останавливалась над самыми губами: они рдели девственно и нежно, как лепестки стилиственной розы, и зубы блистали украдкой — тоже невинно, как у детей. Джемма села на заднем месте, рядом с Саниным; Клубер и Эмиль сели напротив. Бледная фигура фрау Леноре показалась у окна, Джемма махнула ей платком — и лошади тронулись.

## XV

Соден — небольшой городок в полу-часовом расстоянии от Франкфурта. Он лежит в красивой местности, на отрогах Таунуса, и известен у нас в России своими водами, будто бы полезными для людей с слабой грудью. Франкфурты ездят туда больше для развлечения, так как Соден обладает прекрасным парком и разными «виртшафтами», где можно пить пиво и кофе в тени высоких лип и кленов. Дорога от Франкфурта до Содена идет по правому берегу Майна и вся обсажена фруктовыми деревьями. Пока

какета тихонько катилась по отличному шоссе, Санин украдкой наблюдал за тем, как Джемма обращалась со своим женихом: он в первый раз видел их обоих вместе. Она держалась спокойно и просто — но несколько сдержаннее и серьезнее обыкновенного; он смотрел снисходительным наставником, разрешившим и самому себе и своим подчиненным скромное и вежливое удовольствие. Особенных ухаживаний за Джеммой, того, что французы называют «empressement»<sup>1</sup>, Санин в нем не заметил. Видно было, что г-н Клубер считал это дело поконченным, а потому и не имел причины хлопотать или волноваться. Но снисходительность не покидала его ни на один миг! Даже во время большой передобеденной прогулки по лесистым горам и долинам за Соденом; даже наслаждаясь красотами природы, он относился к ней, к этой самой природе, всё с тою же снисходительностью, сквозь которую изредка прорывалась обычная начальническая строгость. Так, например, он заметил про один ручей, что он слишком прямо протекает по ложбине, вместо того чтобы сделать несколько живописных изгибов; не одобрил также поведения одной птицы — зяблика, — которая не довольно разнообразила свои колена! Джемма не скучала и даже, по-видимому, ощущала удовольствие; но прежней Джеммы Санин в ней не узнавал: не то, чтобы тень на нее набежала — никогда ее красота не была лучезарней, — но душа ее ушла в себя, внутрь. Распустив зонтик и не расстегнув перчаток, она гуляла степенно, не спеша — как гуляют образованные девицы, — и говорила мало. Эмиль тоже чувствовал стеснение, а Санин и подавно. Его, между прочим, несколько конфузило то обстоятельство, что разговор постоянно шел на немецком языке. Один Тарталья не унывал! С бешеным лаем мчался он за попадавшими ему дроздами, перепрыгивал рытвины, пни, корчаги, бросался с размаху в воду и торопливо лакал ее, отряхался, взвизгивал и снова летел стрелою, закинув красный язык на самое плечо. Г-н Клубер, с своей стороны, сделал всё, что полагал нужным для увеселения компании; попросил ее усесться в тени развесистого дуба — и, достав из бокового кармана небольшую книжечку, под заглавием: «Knallerbsen, oder Du sollst und wirst lachen!» (Петарды, или Ты должен и бу-

<sup>1</sup> «предупредительностью» (франц.).



дешь смеяться!), принялся читать разбратительные анекдоты, которыми эта книжечка была наполнена. Прочел их штук двенадцать; однако веселости возбудил мало: один Санин из приличия скалил зубы, да сам он, г-н Кляубер, после каждого анекдота, производил короткий, деловой — и все-таки снисходительный смех. К двенадцати часам вся компания вернулась в Соден, в лучший тамошний трактир.

Предстояло распорядиться об обеде.

Г-н Кляубер предложил было совершить этот обед в закрытой со всех сторон беседке — «im Gartensalon»; но тут Джемма вдруг взбунтовалась и объявила, что не будет иначе обедать, как на воздухе, в саду, за одним из маленьких столов, поставленных перед трактиром; что ей наскучило быть всё с одними и теми же лицами и что она хочет видеть другие. За некоторыми из столиков уже сидели группы новоприбывших гостей.

Пока г-н Кляубер, снисходительно покорившись «капризу своей невесты», ходил советоваться с оберкельнером, Джемма стояла неподвижно, опустив глаза и стиснув губы; она чувствовала, что Санин неотступно и как бы вопросительно глядел на нее, — это, казалось, ее сердило. Наконец г-н Кляубер вернулся, объявил, что через полчаса обед будет готов, и предложил до тех пор поиграть в кегли, прибавив, что это очень хорошо для аппетита, хе-хе-хе! В кегли он играл мастерски; бросая шар, принимал удивительно молодцеватые позы, щегольски играл мускулами, щегольски взмахивал и потрясал ногою. В своем роде он был атлет — и сложен превосходно! И руки у него были такие белые и красивые, и утирал он их таким богатым, золотисто-пестрым, индийским фуляром!

Наступил момент обеда — и всё общество уселось за столик.

## XVI

Кому не известно, что такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клецками и корицей, разварная говядина, сухая, как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым картофелем, пухлой свеклой и жеваным хреном, посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «Mehlspeise», нечто вроде пудинга, с кисловатой красной подливкой; зато вино и пиво хоть куда! Точно таким обедом попотчевал соденский трактирщик своих



гостей. Впрочем, самый обед прошел благополучно. Особенного оживления, правда, не замечалось; оно не появилось даже тогда, когда г-н Клюббер провозгласил тост за то, «что мы любим!» (was wir lieben!). Уж очень всё было пристойно и прилично. После обеда подали кофе, жидкий, рыжеватый, прямо немецкий кофе. Г-н Клюббер, как истый кавалер, попросил у Джеммы позволения закурить сигару... Но тут вдруг случилось нечто непредвиденное и уж точно неприятное — и даже неприличное!

За одним из соседних столиков помещено несколько офицеров майнцского гарнизона. По их взглядам и перешептываньям можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила их; один из них, вероятно, уже успевший побывать во Франкфурте, то и дело поглядывал на нее, как на фигуру, ему хорошо знакомую: он, очевидно, знал, кто она такая. Он вдруг поднялся и со стаканом в руке — гг. офицеры сильно подпили, и вся скатерть перед ними была устлана бутылками — приблизился к тому столу, за которым сидела Джемма. Это был очень молодой белобрысый человек, с довольно приятными и даже симпатичными чертами лица; но выпитое им вино исказило их: его щеки подергивало, воспаленные глаза блуждали и приняли выражение дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потом пустили: была не была — что, мол, из этого выйдет?

Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед Джеммой и насильственно-крикливым голосом, в котором, мимо его воли, все-таки высказывалась борьба с самим собою, произнес: «Пью за здоровье прекраснейшей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире (он разом «хлопнул» стакан) — и в возмездие беру этот цветок, сорванный ее божественными пальчиками!» Он взял со стола розу, лежавшую перед прибором Джеммы. Сначала она изумилась, испугалась и побледнела страшно... потом испуг в ней сменился негодованием, она вдруг покраснела вся, до самых волос — и ее глаза, прямо устремленные на оскорбителя, в одно и то же время потемнели и вспыхнули, наполнились мраком, загорелись огнем неудержимого гнева. Офицера, должно быть, смутил этот взгляд; он пробормотал что-то невнятное, поклонился и пошел назад к своим. Они встретили его смехом и легким рукоплесканьем.

Г-н Клюббер внезапно поднялся со сту-

ла и, вытянувшись во весь свой рост и надев шляпу, с достоинством, но не слишком громко, произнес: «Это неслыханно! Неслыханная дерзость!» (Unerhört! Unerhörte Frechheit!) — и тотчас же, строгим голосом подзывая к себе кельнера, потребовал немедленного расчета... мало того: приказал заложить карету, причем прибавил, что к ним порядочным людям ездить нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям! При этих словах Джемма, которая продолжала сидеть на своем месте не шевелясь, — ее грудь резко и высоко поднималась — Джемма перевела глаза свои на г-на Клюббера... и так же пристально, таким же точно взором посмотрела на него, как и на офицера. Эмиль просто дрожал от бешенства.

— Встаньте, мейн фрейлейн, — промолвил всё с той же строгостью г-н Клюббер, — здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!

Джемма поднялась молча; он подставил ей руку калачиком, она подала ему свою — и он направился к трактиру величественной походкой, которая, так же как и осанка его, становилась всё величественней и надменней, чем более он удалялся от места, где происходил обед. Бедный Эмиль поплелся вслед за ними.

Но пока г-н Клюббер рассчитывался с кельнером, которому он, в виде штрафа, не дал на водку ни одного крейцера, Санин быстрыми шагами подошел к столу, за которым сидели офицеры, — и, обратившись к оскорбителю Джеммы (он в это мгновение давал своим товарищам поочередно нюхать ее розу), — произнес отчетливо, по-французски:

— То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите, — и я пришел вам сказать, что вы дурно воспитанный нахал!

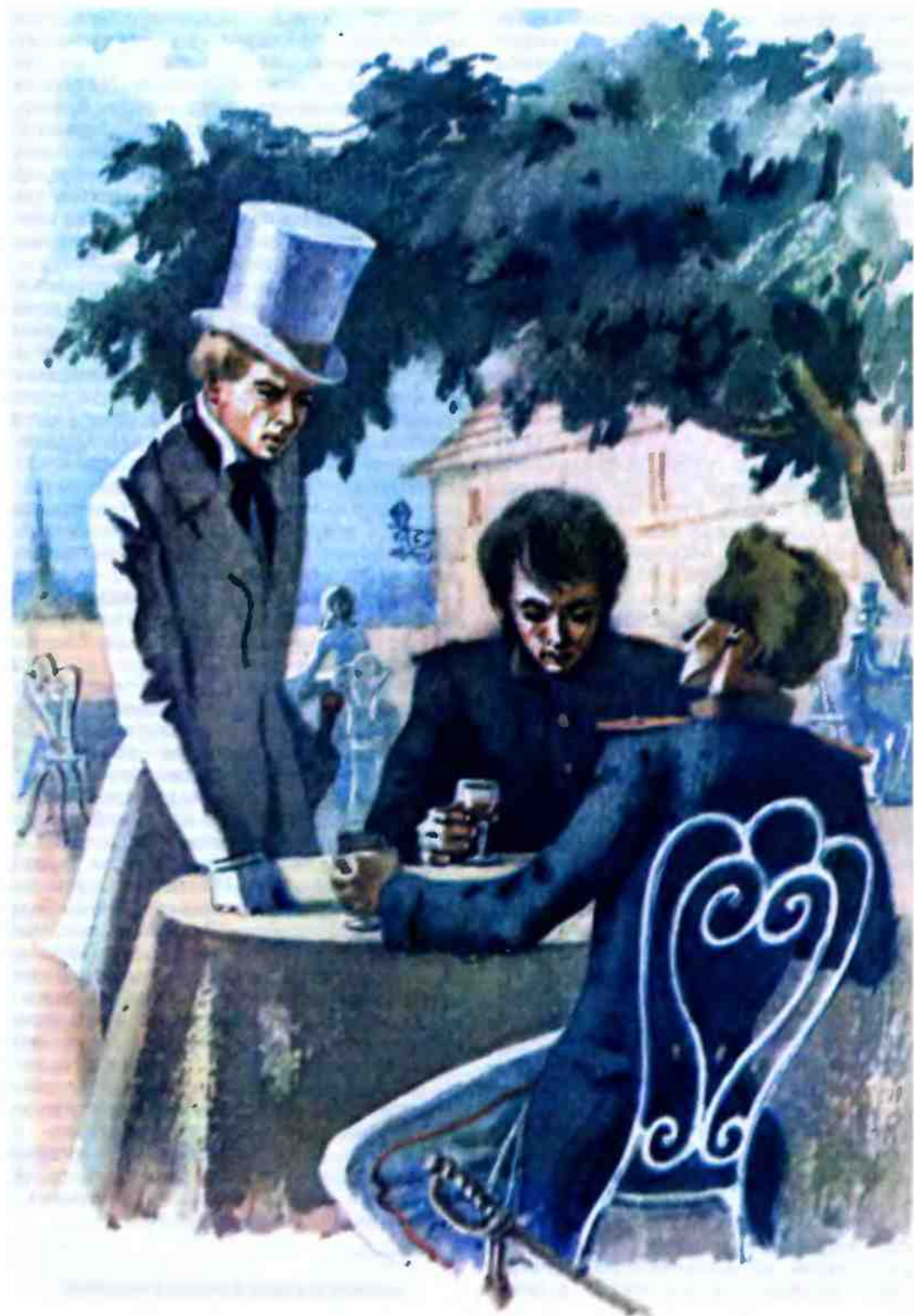
Молодой человек вскочил на ноги, но другой офицер, постарше, остановил его движением руки, заставил сесть и, повернувшись к Санину, спросил его, тоже по-французски:

— Что, он родственник, брат или жених той девицы?

Я ей совсем чужой человек, — воскликнул Санин, — я русский, но я не могу равнодушно видеть такую дерзость; впрочем, вот моя карточка и мой адрес: г-н офицер может отыскать меня.

Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную карточку и в то же время проворно схватил Джеммину розу,





которую один из сидевших за столом офицеров уронил к себе на тарелку. Молодой человек снова хотел было вскочить со стула, но товарищ снова оставил его, промолвив: «Дёнгоф, тише!» (Dönhof, sei still!). Потом сам приподнялся — и, приложась к козырьку рукою, не без некоторого оттенка почтительности в голосе и манерах, сказал Санину, что завтра утром один офицер их полка будет иметь честь явиться к нему на квартиру. Санин отвечал коротким поклоном и поспешно вернулся к своим приятелям.

Г-н Клубер притворился, что вовсе не заметил ни отсутствия Санина, ни его объяснения с г-ми офицерами; и понукал кучера, запрыгавшего лошадей, и сильно гневался на его медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину, даже не взглянула на него: по сдвинутому ее бровям, по губам, побледневшим и сжатым, по самой ее неподвижности можно было понять, что у ней нехорошо на душе. Один Эмиль явно желал заговорить с Саниным, желал расспросить его: он видел, как Санин подошел к офицерам, видел, как он подал им что-то белое — клочок бумажки, записку, карточку... Сердце билось у бедного юноши, щеки пылали, он готов был броситься на шею к Санину, готов был заплакать или идти тотчас вместе с ним расколотить в пух и прах всех этих противных офицеров! Однако он удержался и удовольствовался тем, что внимательно следил за каждым движением своего благородного русского друга!

Кучер наконец заложил лошадей; всё общество село в карету. Эмиль, вслед за Тартальей, взобрался на козлы; ему там было привольнее, да и Клубер, которого он видеть не мог равнодушно, не торчал перед ним.

Во всю дорогу герр Клубер разглагольствовал... и разглагольствовал один; никто, никто не возражал ему, да никто и не соглашался с ним. Он особенно настаивал на том, как напрасно не послушались его, когда он предлагал обедать в закрытой беседке. Никаких неприятностей бы не произошло! Потом он высказал несколько резких и даже либеральных суждений насчет того, как правительство непростительно потакает офицерам, не наблюдает за их дисциплиной и не до-  
вольство уважает гражданский элемент

общества (das bürgerliche Element in der Societät) — и как от этого со временем возрождаются неудовольствия, от которых уже недалеко до революции, чему печальным примером (тут он вздохнул сочувственно, но строго) — печальным примером служит Франция! Однако тут же присовокупил, что лично благоговеет перед властью и никогда... никогда... революционером не будет — но не может не выразить своего... неодобрения при виде такой распущенности! Потом прибавил еще несколько общих замечаний о нравственности и безнравственности, о приличии и чувстве достоинства!

В течение всех этих «разглагольствований» Джемма, которая уже во время дообеденной прогулки не совсем казалась довольной г-м Клубером — оттого она и держалась в некотором отдалении от Санина и как бы смущалась его присутствием, — Джемма явно стала стыдиться своего жениха! Под конец поездки она положительно страдала и хотя по-прежнему не заговаривала с Саниным, но вдруг бросила на него умоляющий взор... С своей стороны он ощущал гораздо более жалости к ней, чем негодования против г-на Клубера; он даже втайне, полусознательно радовался всему, что случилось в продолжение того дня, хотя и мог ожидать вызова на следующее утро.

Мучительная эта *partie de plaisir* прекратилась наконец. Высаживая перед кондитерской Джемму из кареты, Санин, ни слова не говоря, положил ей в руку возвращенную им розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. Он не хотел войти в дом, хотя вечер только что начинался. Она сама его не пригласила. Притом появившийся на крыльце Панталеоне объявил, что фрау Леноре почивает. Эмилио застенчиво простился с Саниным; он словно дьячился его: уж очень он ему удивлялся. Клубер отвез Санина на его квартиру и чопорно раскланялся с ним. Правильно устроенному немцу, при всей его самоуверенности, было неловко. Да и всем было неловко.

Впрочем, в Санине это чувство — чувство неловкости — скоро рассеялось. Оно заменилось неопределенным, но приятным, даже восторженным настроением. Он расхаживал по комнате, ни о чем не хотел думать, посвистывал — и был очень доволен собою.

увеселительная прогулка (франц.).

«Буду ждать г-на офицера для объяснения до 10 часов утра,— размышлял он на следующее утро, совершая свой туалет,— а там пусть он меня отыскивает!» Но немецкие люди встают рано: девяти часов еще не пробило, как уже кельнер доложил Санину, что г-н подпоручик (der Herr Seconde Lieutenant) фон Рихтер желает его видеть. Санин проворно накинул сюртук и приказал «просить». Г-н Рихтер оказался, против ожидания Санина, весьма молодым человеком, почти мальчиком. Он старался придать важности выражению своего безбородого лица, но это ему не удавалось вовсе: он даже не мог скрыть свое смущение — и, садясь на стул, чуть не упал, зацепившись за саблю. Запинаясь и заикаясь, он объявил Санину на дурином французском языке, что приехал с поручением от своего приятеля, барона фон Дёнгофа; что поручение это состояло в истребовании от г-на фон Занин извинения в употребленных им накануне оскорбительных выражениях; и что в случае отказа со стороны г-на фон Занин — барон фон Дёнгоф желает сатисфакции. Санин отвечал, что извиняться он не намерен, а сатисфакцию дать готов. Тогда г-н фон Рихтер, всё так же запинаясь, спросил, с кем, в котором часу и в котором месте придется ему вести нужные переговоры. Санин отвечал, что он может прийти к нему часа через два и что до тех пор он, Санин, постарается сыскать секунданта. («Кого я, к чёрту, возьму в секунданты?» — думал он между тем про себя.) Г-н фон Рихтер встал и начал раскланиваться... но на пороге двери остановился, как бы почувствовав угрызение совести,— и, повернувшись к Санину, промолвил, что его приятель, барон фон Дёнгоф, не скрывает от самого себя... некоторой степени... собственной вины во вчерашнем происшествии — и потому удовлетворился бы легкими извинениями — «des excuses légères»<sup>1</sup>. На это Санин отвечал, что никаких извинений, ни тяжелых, ни легких, он давать не намерен, так как он виноватым себя не почитает.

— В таком случае,— возразил г-н фон Рихтер и покраснел еще более,— надо будет поменаться дружелюбными вы-

стрелами — des coups de bisdolet a l'amiable!<sup>1</sup>

— Этого я уже совершенно не понимаю,— заметил Санин,— на воздух нам стрелять, что ли?

— О, не то, не так,— залепетал окончательно сконфузившийся подпоручик,— но я полагаю, что так как дело происходит между порядочными людьми... Я поговорю с вашим секундантом,— перебил он самого себя — и удалился.

Санин опустил на стул, как только тот вышел, и уставился на пол. «Что, мол, это такое? Как это вдруг так завертелась жизнь? Всё прошедшее, всё будущее вдруг стусебалось, пропало — и осталось только то, что я во Франкфурте с кем-то за что-то дерусь». Вспомнилась ему одна его сумасшедшая тетушка, которая, бывало, всё подплясывала и напевала:

Подпоручик!  
Мой огурчик!  
Мой амурчик!  
Пропляши со мной, голубчик!

И он захохотал и пропел, как она: «Подпоручик! пропляши со мной, голубчик!»

— Однако надо действовать, не терять времени,— воскликнул он громко, вскочил и увидел перед собой Панталеоне с записочкой в руке.

— Я несколько раз стучался, но вы не отвечали; я подумал, что вас дома нет,— промолвил старик и подал ему записку.— От синьорины Джеммы.

Санин взял записку — как говорится, машинально,— распечатал и прочел ее. Джемма писала ему, что она весьма беспокоится по поводу известного ему дела и желала бы свидеться с ним тотчас.

— Синьорина беспокоится,— начал Панталеоне, которому, очевидно, было известно содержание записки,— она велела мне посмотреть, что вы делаете, и привести вас к ней.

Санин взглянул на старого итальянца — и задумался. Внезапная мысль сверкнула в его голове. В первый миг она показалась ему странной до невозможности...

«Однако... почему же нет?» — спросил он самого себя.

— Г-н Панталеоне! — произнес он громко.

дружелюбными пистолетными выстрелами (франц.: des coups de pistolet á l'amiable).

<sup>1</sup> Французское des excuses légères.



Старик встрепенулся, уткнул подбородок в галстук и уставился на Санину.

— Вы знаете,— продолжал Санин,— что произошло вчера?

Панталеоне пожевал губами и трянул своим огромным хохлом.

— Знаю.

(Эмиль только что вернулся, рассказал ему всё.)

— А, знаете! — Ну, так вот что. Сейчас от меня вышел офицер. Тот нахал вызывает меня на поединок. Я принял его вызов. Но у меня нет секунданта. Хотите вы быть моим секундантом?

Панталеоне дрогнул и так высоко поднял брови, что они скрылись у него под нависшими волосами.

— Вы непременно должны драться? — проговорил он наконец по-итальянски; до того мгновения он изъяснялся по-французски.

— Непременно. Иначе поступить — значило бы опозорить себя навсегда.

— Гм. Если я не соглашусь пойти к вам в секунданта,— то вы будете искать другого?

— Буду... непременно.

Панталеоне потупился.

— Но позвольте вас спросить, синьор де-Цанини, не бросит ли ваш поединок некоторую неблагоприятную тень на репутацию одной персоны?

— Не полагаю; но как бы то ни было — делать нечего!

— Гм.— Панталеоне совсем ушел в свой галстук.— Ну, а тот феррофлукто Клуберио, что же он? — воскликнул он вдруг и вскинул лицо вверх.

— Он? Ничего.

— Кэ! (Ché!) \* — Панталеоне презрительно пожал плечами.— Я должен, во всяком случае, благодарить вас,— произнес он наконец неверным голосом,— что вы и в теперешнем моем унижении умели признать во мне порядочного человека — un galant'uomo! Поступая таким образом, вы сами выказали себя настоящим galant'uomo. Но я должен обдумать ваше предложение.

— Время не терпит, любезный г-н Чи... чиппа...

— Тóла,— подсказал старик.— Я прошу всего один час на размышление. Тут замешана дочь моих благодетелей... И потому я должен, я обязан — подумать!! Через час... через три четверти часа — вы узнаете мое решение.

---

Непереводимое итальянское восклицание вроде нашего: ну!

— Хорошо; я подожду.

— А теперь... какой же я дам ответ синьорине Джемме?

Санин взял листок бумаги, написал на нем: «Будьте покойны, моя дорогая приятельница, часа через три я приду к вам — и всё объяснится. Душевно вас благодарю за участие» — и вручил этот листик Панталеоне.

Тот бережно положил его в боковой карман — и, еще раз повторив: «Через час!» — направился было к дверям; но круто повернул назад, подбежал к Санину, схватил его руку — и, притиснув ее к своему жабо, подняв глаза к небу, воскликнул: «Благородный юноша! Великое сердце! (Nobil giovannotto! Gran cuore!) — позвольте слабому старцу (a un vecchiotto) пожать вашу мужественную десницу! (la vostra valorosa destra!)». Потом отскочил немного назад, взмахнул обеими руками — и удалился.

Санин посмотрел ему вслед... взял газету и принялся читать. Но глаза его напрасно бегали по строкам: он не понимал ничего.

## XVIII

Час спустя кельнер снова вошел к Санину и подал ему старую, запачканную визитную карточку, на которой стояли следующие слова: Панталеоне Чиппатоло, из Варезе, придворный певец (cantante di camera) его королевского высочества герцога Моденского; а вслед за кельнером явился и сам Панталеоне. Он переоделся с ног до головы. На нем был порыжелый черный фрак и белый пикеневый жилет, по которому затейливо извивалась томпаковая цепочка; тяжелая сердоликовая печатка спускалась низко на узкие черные панталоны с гульфиком. В правой руке он держал черную шляпу из заячьего пуха, в левой две толстые замшевые перчатки; галстук он повязал еще шире и выше обыкновенного — и в накрахмаленное жабо воткнул булавку с камнем, называемым «кошачьим глазом» (oeil de chat). На указательном пальце правой руки красовался перстень, изображавший две сложенные длани, а между ними пылающее сердце. Залежалым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей особы старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого равнодушного зрителя! Санин встал ему навстречу.

Я ваш секундант,— промолвил Панталеоне по-французски и наклонился

всем корпусом вперед, причем носки поставил врозь, как это делают танцоры.— Я пришел за инструкциями. Желаете вы драться без пощады?

— Зачем же без пощады, дорогой мой г-н Чиппатола! Я ни за что в мире не возьму моих вчерашних слов назад — но я не кровопийца!.. Да вот постойте, сейчас придет секундانت моего противника. Я уйду в соседнюю комнату — а вы с ним и условитесь. Поверьте, я в век не забуду вашей услуги и благодарю вас от души.

— Честь прежде всего! — отвечал Панталеоне и опустил в кресла, не дожидаясь, чтобы Санин попросил его сесть.— Если этот феррофлукто спичебуббио,— заговорил он, мешая французский язык с итальянским,— если этот торгош Клуберио не умел понять свою прямую обязанность или струсил,— тем хуже для него!.. Грошовая душа — и basta!.. Что же касается до условий поединка — я ваш секундонт и ваши интересы для меня священны!!.. Когда я жил в Падуе, там стоял полк белых драгунов — и я со многими офицерами был очень близок!.. Весь их кодекс мне очень хорошо известен. Ну и с вашим принчипе Тарбуски я часто беседовал об этих вопросах... Тот секундонт скоро должен прийти?

— Я жду его каждую минуту — да вот он сам и идет,— прибавил Санин, глянув на улицу.

Панталеоне встал, посмотрел на часы, поправил свой кок и поспешно засунул в башмак болтавшуюся из-под панталон тесемку. Молодой подпоручик вошел, всё такой же красный и смущенный.

Санин представил секундантов друг другу.

— M-g Richter, souslieutenant! — M-g Zippatola, artiste!<sup>1</sup>

Подпоручик слегка изумился при виде старика... О, что бы он сказал, если б кто шепнул ему в это мгновение, что представленный ему «артист» занимается также и поваренным искусством!.. Но Панталеоне принял такой вид, как будто участвовать в устройстве поединков было для него самым обычным делом: вероятно, ему в этом случае помогали воспоминания его театральной карьеры — и он разыгрывал роль секунданта именно как роль. И он и подпоручик, оба помолчали немного.

<sup>1</sup> Г-н Рихтер, подпоручик! — Г-н Чиппатола, артист! (франц.)

— Что ж? Приступим! — первый промолвил Панталеоне, играя сердоликовой печаткой.

— Приступим,— ответил подпоручик,— но... присутствие одного из противников...

— Я вас немедленно оставляю, господа,— воскликнул Санин, поклонился, вышел в спальню — и запер за собою дверь.

Он бросился на кровать — и принялся думать о Джемме... но разговор секундантов проникал к нему сквозь закрытую дверь. Он происходил на французском языке; оба коверкали его нещадно, каждый на свой лад. Панталеоне опять упомянул о драгунах в Падуе, о причине Тарбуска — подпоручик об «exghizes léchères» и о «gours à l'amiable». Но старик и слышать не хотел ни о каких exghizes! К ужасу Санина, он вдруг пустился толковать своему собеседнику о некоторой юной невинной девице, один мизинец которой стоит больше, чем все офицеры мира... (oune zeune damigella innoocenta, qu'a ella sola dans soun péti doa vale piú que toutt le zouffissié del mondo!) и несколько раз с жаром повторил: «Это стыд! это стыд!» (E ouna onta, ouna onta!) Поручик сперва не возражал ему, но потом в голосе молодого человека послышалась гневная дрожь, и он заметил, что пришел не затем, чтобы выслушивать моральные сентенции...

— В вашем возрасте всегда полезно выслушивать справедливые речи! — воскликнул Панталеоне.

Прение между г-ми секундантами несколько раз становилось бурным; оно продолжалось более часа и завершилось, наконец, следующими условиями: «стреляться барону фон Дёнгофу и господину де Санину на завтрашний день, в 10 часов утра, в небольшом лесу около Ганау, на расстоянии двадцати шагов; каждый имеет право стрелять два раза по знаку, данному секундантами. Пистолеты без шнеллера и не нарезные». Г-н фон Рихтер удалился, а Панталеоне торжественно открыл дверь спальни и, сообщив результат совещания, снова воскликнул: «Bravo, Russo! Bravo, giovanotto! Ты будешь победителем!»

Несколько минут спустя они оба отправились в кондитерскую Розелли.

<sup>1</sup> «Браво, русский! Bravo, молодой человек!» (итал.)

Санин предварительно взял с Панталеоне слово держать дело о дуэли в глубочайшей тайне. В ответ старик только палец кверху поднял и, прищурив глаз, прошептал два раза сряду: Segredezza! (Тайнственность!) Он видимо помолодел и даже выступал свободнее. Все эти необычайные, хотя и неприятные, события живо переносили его в ту эпоху, когда он сам и принимал и делал вызовы,— правда, на сцене. Баритоны, как известно, очень петушатся в своих ролях.

### XIX

Эмиль выбежал навстречу Санину — он более часа караулил его приход — и торопливо шепнул ему на ухо, что мать ничего не знает о вчерашней неприятности и что даже намека на нее не следует, а что его опять посылают в магазин!, но что он туда не пойдет, а спрячется где-нибудь! Сообщив всё это в течение нескольких секунд, он внезапно припал к плечу Санина, порывисто поцеловал его и бросился вниз по улице. В кондитерской Джемма встретила Санина; хотела что-то сказать — и не могла. Ее губы слегка дрожали, а глаза щурились и бегали по сторонам. Он поспешил успокоить ее уверением, что всё дело кончилось... сущими пустяками.

— У вас никого не было сегодня? — спросила она.

— Было у меня одно лицо — мы с ним объяснились — и мы... мы пришли к самому удовлетворительному результату.

Джемма вернулась за прилавком. «Не поверила она мне!» — подумал он... однако отправился в соседнюю комнату и застал там фрау Ленору.

У ней мигрень прошла, но она находилась в настроении меланхолическом. Она радушно улыбнулась ему, но в то же время предупредила его, что ему будет сегодня с нею скучно, так как она не в состоянии его занять. Он подсел к ней и заметил, что ее веки покраснели и опухли.

— Что с вами, фрау Леноре? Неужели вы плакали?

— Тсссс... — прошептала она и указала головою на комнату, где находилась ее дочь. — Не говорите этого... громко.

— Но о чем же вы плакали?

— Ах, мосьё Санин, сама не знаю о чем!

— Вас никто не огорчил?

— О нет!.. Мне очень скучно вдруг сделалось. Вспомнила я Дживан'Баттиста... свою молодость... Потом, как это всё скоро прошло. Стара я становлюсь, друг мой,— и не могу я никак с этим помириться. Кажется, сама я всё та же, что прежде... а старость — вот она... вот она! — На глазах фрау Леноры показались слезинки. — Вы, я вижу, смотрите на меня да удивляетесь... Но вы тоже постареете, друг мой, и узнаете, как это горько!

Санин принялся утешать ее, упомянул об ее детях, в которых воскресала ее собственная молодость, попытался даже подтрунить над нею, уверяя, что она напрашивается на комплименты... Но она, не шутя, попросила его «перестать», и он тут в первый раз мог убедиться, что подобную унылость, унылость сознанный старости, ничем утешить и рассеять нельзя; надо подождать, пока она пройдет сама собою. Он предложил ей сыграть с ним в тресетте — и ничего лучшего он не мог придумать. Она тотчас согласилась и как будто повеселела.

Санин играл с ней до обеда и после обеда. Панталеоне также принял участие в игре. Никогда его хохол не падал так низко на лоб, никогда подбородок не уходил так глубоко в галстук! Каждое движение его дышало такой сосредоточенной важностью, что, глядя на него, невольно рождалась мысль: какую это тайну с такою твердостью хранит этот человек?

Но — segredezza! segredezza!

Он в течение всего того дня всячески старался оказывать глубочайшее почтение Санину; за столом, торжественно и решительно, минуя дам, подавал блюда ему первому; во время карточной игры уступал ему прикупку, не дерзал его ремизить; объявлял, ни к селу ни к городу, что русские — самый великодушный, храбрый и решительный народ в мире! «Ах ты, старый лицедей!» — думал про себя Санин.

И не столько дивился он неожиданному настроению духа в г-же Розелли, сколько тому, как ее дочь с ним обращалась. Она не то, чтобы избегала его... напротив, она постоянно садилась в небольшом от него расстоянии, прислушивалась к его речам, глядела на него; но она решительно не хотела вступать с ним в беседу, и как только он заговаривал с нею — тихонько поднималась с места и тихонько удалялась на несколько мгновений. Потом она появлялась



опять, и опять усаживалась где-нибудь в уголке — и сидела неподвижно, словно размышляя и недоумевая... недоумевая пуще всего. Сама фрау Леноре заметила, наконец, необычайность ее поведения и раза два спросила, что с ней.

— Ничего,— ответила Джемма,— ты знаешь, я бываю иногда такая.

— Это точно,— соглашалась с нею мать.

Так прошел весь этот длинный день, ни оживлению, ни вяло — ни весело, ни скучно. Держи себя Джемма иначе — Санин... как знать? не совладал бы с искушением немного порисоваться или просто поддался бы чувству грусти перед возможной, быть может, вечной разлукой... Но так как ему ни разу не пришлось даже поговорить с Джеммой, то он должен был удовлетвориться тем, что в течение четверти часа, перед вечерним кофе, брал минорные аккорды на фортепиано.

Эмиль вернулся поздно и, во избежание расспросов о г-не Клюбере, отретировался весьма скоро. Пришла очередь удалиться и Санину.

Он стал прощаться с Джеммой. Вспомнилось ему почему-то расставание Ленского с Ольгой в «Онегии». Он крепко стиснул ей руку и попытался заглянуть ей в лицо — но она слегка отворотилась и высвободила свои пальцы.

## XX

Уже совсем «вызвездило», когда он вышел на крыльцо. И сколько же их высыпало, этих звезд — больших, малых, желтых, красных, синих, белых! Все они так и рдели, так и роились, наперерыв играя лучами. Луны не было на небе, но и без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бестениом сумраке. Санин прошел улицу до конца... Не хотелось ему тотчас возвратиться домой; он чувствовал потребность побродить на чистом воздухе. Он вернулся назад — и не успел еще поравняться с домом, в котором помещалась кондитерская Розелли, как одно из окон, выходящих на улицу, внезапно стукнуло и отворилось — на черном его четырехугольнике (в комнате не было огня) появилась женская фигура — и он услышал, что его зовут: «Monsieur Dimitril»

Он тотчас бросился к окну... Джемма!

Она облокотилась о подоконник и наклонилась вперед.



— Monsieur Dimitri,— начала она осторожным голосом,— я в течение целого нынешнего дня хотела вам дать одну вещь... но не решалась; и вот теперь, неожиданно увидя вас снова, подумала, что, видно, так суждено...

Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать: нечто необыкновенное произошло в это самое мгновение.

Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет задрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Вихорь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице; он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри Джеммы. Голова Санина приходилась в уровень с подоконником; он невольно прильнул к нему — и Джемма ухватилась обеими руками за его плечи, припала грудью к его голове. Шум, звон и грохот длились около минуты... Как стая громадных птиц, помчался прочь взыгравший вихорь... Настала вновь глубокая тишина.

Санин приподнялся и увидал над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные, великолепные глаза — такую красавицу увидал он, что сердце в нем замерло, он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь, — и только мог проговорить:

— О Джемма!

— Что это было такое? Молния? — спросила она, широко поводя глазами и не принимая с его плеч своих обнаженных рук.

— Джемма! — повторил Санин.

Она вздрогнула, оглянулась назад, в комнату, — и быстрым движением, достав из-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину.

— Я хотела дать вам этот цветок...

Он узнал розу, которую он отвоевал накануне...

Но уже окошко захлопнулось, и за темным стеклом ничего не виднелось и не белело.

Санин пришел домой без шляпы... Он и не заметил, что он ее потерял.

## XXI

Он заснул под самое утро. И не мудрено! Под ударом того летнего, мгновенного вихря он почти так же

мгновенно почувствовал — не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась — это он знал и прежде... а то, что он едва ли... не полюбил ее! Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь. А тут эта глухая дуэль! Скорбные предчувствия начали его мучить. Ну, положим, не убьют его... Что же может выйти из его любви к этой девушке, к невесте другого? Положим даже, что этот «другой» ему не опасен, что сама Джемма полюбит или уже полюбила его... Что же из этого? Как это? Такая красавица...

Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк — и тотчас их вымарывал... Вспоминал удивительную фигуру Джеммы, в темном окне, под лучами звезд, всю развешенную теплым вихрем; вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских богинь, чувствовал их живую тяжесть на плечах своих... Потом он брал брошенную ему розу — и казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз...

«И вдруг его убьют или изувечат?»

Он не ложился в постель и заснул, одетый, на диване.

Кто-то потрепал его по плечу...

Он открыл глаза и увидел Панталеоне.

— Спит, как Александр Македонский накануне вавилонского сражения! — воскликнул старик.

— Да который час? — спросил Санин.

— Семь часов без четверти; до Гану — два часа езды, а мы должны быть первые на месте. Русские всегда предупреждают врагов! Я взял лучшую карету во Франкфурте!

Санин начал умываться.

— А пистолеты где?

— Пистолеты привезет тот феррофлюкто тедекко. И доктора он же привезет.

Панталеоне видимо бодрился, повчерашнему; но когда он сел в карету с Саниным, когда кучер зашелкал бичом и лошади с места пустились вскачь, — с бывшим певцом и приятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена. Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обрушилось, как плохо выведенная стенка.

— Однако что это мы делаем, боже



мой, santissima Madonna! <sup>1</sup> — воскликнул он неожиданно пискливым голосом и схватил себя за волосы. — Что я делаю, я старый дурак, сумасшедший, frenetico?

Санин удивился и засмеялся и, слегка обняв Панталеоне за талью, напомнил ему французскую поговорку: «Le vin est tiré — il faut le boire» <sup>2</sup> (по-русски: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж»).

— Да, да, — отвечал старик, — эту чашу мы разопьем с вами, — а всё же я безумец! Я — безумец! Всё было так тихо, хорошо... и вдруг: та-та-та, тра-та-та!

— Словно tutti <sup>3</sup> в оркестре, — заметил Санин с натянутой улыбкой. — Но виноваты не вы.

— Я знаю, что не я! Еще бы! Всё же это... необузданный такой поступок. Diavolo! Diavolo! — повторял Паиталеоне, потрясая хохлом и вздыхая.

А карета всё катилась да катилась.

Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшие оживать, казались такими чистыми и уютными; окна домов блестели переливчато, как фольга; а лишь только карета выехала за заставу — сверху, с голубого, еще не яркого неба, так и посыпались голосистые раскаты жаворонков. Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура, ступила несколько шагов и остановилась. Санин пригляделся... Боже мой! Эмиль!

— Да разве он знает что-нибудь? — обратился он к Паиталеоне.

— Я же вам говорю, что я безумец, — отчаянно, чуть не с криком возопил бедный итальянец, — этот злополучный мальчик всю ночь мне не дал покоя — и я ему сегодня утром, наконец, всё открыл!

«Вот тебе и vegredezza!» — подумал Санин.

Карета поравнялась с Эмилем; Санин велел кучеру остановить лошадей и позвал к себе «злополучного мальчика». Нерешительными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в деиь своего припадка. Он едва держался на ногах.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил его Санин, — зачем вы не дома?

<sup>1</sup> пресвятая Мадонна! (итал.)

<sup>2</sup> «Вино откупорено — надо его пить» (франц.).

<sup>3</sup> все (итал.).





— Позвольте... позвольте мне ехать с вами,— пролепетал Эмиль трепетным голосом и сложил руки. Зубы у него стучали как в лихорадке.— Я вам не пошею — только возьмите меня!

— Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или уважения ко мне,— промолвил Санин,— вы сейчас вернетесь домой или в магазин к г-ну Клюбери, и никому не скажете ни единого слова, и будете ждать моего возвращения!

— Вашего возвращения,— простонал Эмиль,— и голос его зазвенел и оборвался,— но если вас...

— Эмиль! — перебил его Санин и указал глазами на кучера,— опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайтесь меня, друг мой! Вы уверяете, что любите меня. Ну, я вас прошу!

Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлипнул, прижал ее к своим губам — и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту, через поле.

— Тоже благородное сердце,— проворчал Панталеоне, но Санин угрюмо взглянул на него... Старик уткнулся в угол кареты. Он сознавал свою вину; да сверх того он с каждым мгновением всё более изумлялся: неужели это он взаправду сделался секундантом, и лошадей он достал, и всем распорядился, и мирное свое обиталище покинул в шесть часов утра? К тому же ноги его разболелись и заныли.

Санин почел за нужное ободрить его — и попал в жилку, нашел настоящее слово.

— Где же ваш прежний дух, почтенный сеньор Чиппатола? Где — *il antico valor*?

Сеньор Чиппатола выпрямился и нахмурился.

— *Il antico valor*? — провозгласил он басом.— *Non é ancora spento* (он еще не весь утрачен) — *il antico valor*!

Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о великом теноре Гарсиа — и приехал в Ганау молодцом. Как подумаешь: нет ничего на свете сильнее... и бессильнее слова!

## XXII

Лесок, в котором должно было происходить побоище, находился в четверти мили от Ганау. Санни с Панталеоне приехали первые, как он предсказывал;



велели карете остаться на опушке лес и углубились в тень довольно густы и частых деревьев. Им пришлось ждать около часу.

Ожидание не показалось особенно тягостным Санину; он расхаживал взад и вперед по дорожке, прислушивался как пели птицы, следил за пролетающим «коромыслами» и, как большая часть русских людей в подобных случаях, старался не думать. Раз только на него нашла раздумье: он наткнулся на молодую липу сломанную, по всем вероятностям, вчерашним шквалом. Она положительно умирала... все листья на ней умирала! «Что это? предзнаменование?» — мель-



нуло у него в голове; но он тотчас же засвистал, перескочил через ту самую липу, зашагал по дорожке. Панталеоне — тот ворчал, бранил немцев, кряхтел, потирал то спину, то колени. Он даже зевал от волнения, что придавало презабавное выражение его маленькому, съезженному личику. Санин чуть не расхохотался, глядя на него.

Послышалось наконец рокотание колес по мягкой дороге. «Они!» — промолвил Панталеоне и насторожился и выпрямился, не без мгновенной нервической дрожи, которую, однако, поспешил замаскировать восклицанием: брррр! — и замечанием, что сегодняшнее утро довольно свежее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.

Оба офицера скоро показались под его сводами; их сопровождал небольшой плотненький человечек с флегматическим, почти заспанным лицом — военный доктор. Он нес в одной руке глиняный кувшин с водою — на всякий случай; сумка с хирургическими инструментами и биитами болталась на его левом плече. Видно было, что он к подобным экскурсиям привык доизельзя; они составляли один из источников его доходов: каждая дуэль приносила ему восемь червонцев — по четыре с каждой из воюющих сторон. Г-н фон Рихтер нес ящик с пистолетами, г-н фон Дёнгоф вертел в руке — вероятно, для «шику» — небольшой хлыстик.

— Панталеоне! — шепнула Санин старику, — если... если меня убьют — всё может случиться, — доставайте из моего бокового кармана бумажку — в ней завернут цветок — и отдайте эту бумажку синьорине Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?

Старик уныло взглянул на него — и качнул утвердительно головою... Но бог ведает, понял ли он, о чем просил его Санин.

Противники и секунданты обменялись, как водится, поклонами; один доктор даже бровью не повел — и присел, зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъявлений рыцарской вежливости». Г-н фон Рихтер предложил г-ну «Тшибадола» выбрать место; г-н «Тшибадола» отвечал, тупо ворочая языком («стенка» в нем опять обрушилась), что: «Действуйте, мол, вы, милостивый государь; я буду наблюдать»...

И г-н фон Рихтер начал действовать. Отыскал тут же, в лесу, прекорощенькую, всю испещренную цветами, поляну; отмерил шаги, обозначил два крайних пунк-

та оструганными наскоро палочками, достал из ящика пистолеты и, присев на корточки, заколотил пули; словом, трудился и хлопотал изо всех сил, беспрепятственно утирая свое вспотевшее лицо белым платочком. Сопровождавший его Панталеоне походил более на озябшего человека. В течение всех этих приготовлений оба противника стояли поодаль, напоминая собою двух наказанных школьников, которые дуются на своих гувернеров.



Настало решительное мгновенье...

Каждый взял свой пистолет...

Но тут г-н фон Рихтер заметил Панталеоне, что ему, как старшему секунданту, следует, по правилам дуэли, прежде чем провозгласить роковое: «Раз! Два! Три!», обратиться к противникам с последним советом и предложением: помириться; что хотя это предложение не имеет никогда никаких последствий и вообще не что иное, как пустая формальность, однако исполнением этой формальности г-н Чиппатола отклоняет от себя некоторую долю ответственности; что, правда, подобная аллюция<sup>1</sup> составляет прямо обязанность так называемого «беспристрастного свидетеля» (unparteiischer Zeuge) — но так как у них такового не имеется, то он, г-н фон Рихтер, охотно уступает эту привилегию своему почтенному собрату. Панталеоне, который успел уже затушеваться за куст так, чтобы не видеть

<sup>1</sup> речь, обращение (лат.: allocutio).

вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понял из всей речи г-на фон Рихтера — тем более, что она была произнесена в нос; но вдруг встrepенулся, проворно выступил вперед и, судорожно стуча руками в грудь, хриплым голосом возопил на своем смешанном наречии: «A-la-la-la... Che bestialità! Deux zeun'ommes comme ça gué si battono — perchè? Che diavolo? Andate a casa!»<sup>1</sup>

— Я не согласен на примирение, — поспешно проговорил Санин.

— И я тоже не согласен, — повторил за ним его противник.

— Ну так кричите: раз, два, три! — обратился фон Рихтер к растерявшемуся Панталеоне.

Тот немедленно опять нырнул в куст — и уже оттуда прокричал, весь скорчившись, зажмуриив глаза и отвернув голову, но во всё горло:

— Una... due... e tre!<sup>2</sup>

Первый выстрелил Санин — и не попал. Пуля его звякнула о дерево. Барон Дёнгоф выстрелил тотчас вслед за ним — преднамеренно в сторону, на воздух.

Наступило напряженное молчание... Никто не трогался с места. Панталеоне слабо охнул.

— Прикажете продолжать? — проговорил Дёнгоф.

— Зачем вы выстрелили в воздух? — спросил Санин.

— Это не ваше дело.

— Вы и во второй раз будете стрелять на воздух? — спросил опять Санин.

— Может быть; не знаю.

— Позвольте, позвольте, господа... — начал фон Рихтер, — дуэлянты не имеют права говорить между собою. Это совсем не в порядке.

— Я отказываюсь от своего выстрела, — промолвил Санин и бросил пистолет на землю.

— И я тоже не намерен продолжать дуэль, — воскликнул Дёнгоф и тоже бросил свой пистолет. — Да сверх того я теперь готов сознаться, что я был не прав — третьего дня.

Он помялся на месте — и нерешительно протянул руку вперед. Санин быстро приблизился к нему — и пожал ее. Оба молодых человека с улыбкой поглядели друг на друга — и лица у обоих покрылись краской.

<sup>1</sup>Что за дикость! Два таких молодых человека дерутся — зачем? Какого чёрта? Ступайте по домам! (итал. и франц.)

<sup>2</sup>Раз... два... и три! (итал.)

Bravi! bravi! — внезапно, как сумасшедший, загорланил Панталеоне и, хлопая в ладоши, турманом выбежал из-за куста; а доктор, усевшийся в стороне, на срубленном дереве, немедленно встал, вылил воду из кувшина и пошел, лениво переваливаясь, к опушке леса.

— Честь удовлетворена — и дуэль кончена! — провозгласил фон Рихтер.

— Fuori! (фора!) — по старой памяти, еще раз гаркнул Панталеоне.

Разменявшись поклонами с г-ми офицерами и садясь в карету, Санин, правда, ощущал во всем существе своем если не удовольствие, то некоторую легкость, как после выдержанной операции; но и другое чувство зашевелилось в нем, чувство, похожее на стыд... Фальшью, заранее условленной казенщиной, обыкновенной офицерской, студенческой штучкой оказался ему поединок, в котором он только что разыграл свою роль. Вспомнил он флегматического доктора, вспомнил, как он улыбнулся — то есть сморщил нос, когда увидел его, выходящего из лесу чуть не под руку с бароном Дёнгофом. А потом, когда Панталеоне выплачивал тому же доктору следуемые ему четыре червонца... Эх! нехорошо что-то!

Да; Санину было немножко совестно и стыдно... хотя, с другой стороны, что же ему было сделать? Не оставлять же без наказания дерзости молодого офицера, не уподобиться же г-ну Клуберу? Он заступился за Джемму, он защитил ее... Оно так; а все-таки у него скребло на душе, и было ему совестно, и даже стыдно.

Зато Панталеоне — просто торжествовал! Им внезапно обуяла гордость. Победоносный генерал, возвращающийся с поля выигранной им битвы, не озирался бы с большим самодовольствием. Поведение Санина во время поединка наполняло его восторгом. Он величал его героем — и слышать не хотел его увещаний и даже просьб. Он сравнивал его с монументом из мрамора или бронзы — со статуей командора в «Дон-Жуане!» Про самого себя он сознавался, что почувствовал некоторое смятение. «Но ведь я артист, — заметил он, — у меня натура нервная, а вы — сын снегов и скал гранитных».

Санин решительно не знал, как ему унять раскодившегося артиста.

Почти на том же самом месте дороги, где часа два тому назад они настигли Эмиля, — он снова выскочил из-за дерева



и с радостным криком на губах, помахая картузом над головою и подпрыгивая, бросился прямо к карете, чуть-чуть не попал под колесо и, не дожидаясь, чтобы лошади остановились, вскарабкался через закрытые дверцы — и так и впился в Санина.

— Вы живы, вы не ранены! — твердил он. — Простите меня, я не послушал вас, я не вернулся во Франкфурт... Я не мог! Я ждал вас здесь... Расскажите мне, как это было! Вы... убили его?

Санин с трудом успокоил и усадил Эмиля.

Многоглаголиво, с видимым удовольствием сообщил ему Панталеоне все подробности поединка, и уж, конечно, не преминул снова упомянуть о монументе из бронзы, о статуе командора! Он даже встал с своего места и, растопырив ноги, для удержания равновесия, скрестив на груди руки и презрительно скосясь через плечо, воочию представлял командора-Санина! Эмиль слушал с благоговением, изредка прерывая рассказ восклицанием или быстро приподнимаясь и столь же быстро целуя своего героического друга.

Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта — и остановились наконец перед гостиницей, в которой жил Санин.

В сопровождении своих двух спутников взбирался он по лестнице во второй этаж — как вдруг из темного коридорчика прорывными шагами вышла женщина: лицо ее было покрыто вуалью; она остановилась перед Саниным, слегка пошатнулась, вздохнула трепетно, тотчас же побежала вниз на улицу — и скрылась, к великому изумлению кельнера, который объявил, что «эта дама более часа ожидала возвращения господина иностранца». Как ни мгновенно было ее появление, Санин успел узнать в ней Джемму. Он узнал ее глаза под плотным шелком коричневой вуали.

— Разве фрейлейн Джемме было известно... — протянул он недовольным голосом, по-немецки, обратившись к Эмилю и Панталеоне, которые шли за ним по пятам.

Эмиль покраснел и смешался.

— Я принужден был ей все сказать, — пролепетал он, — она догадывалась, и я никак не мог... Но ведь теперь это ничего не значит, — подхватил он с живостью, — всё так прекрасно кончилось, и она вас видела здоровым и невредимым!

Санин отвернулся.

— Какие вы, однако, болтуны оба! — промолвил он с досадой, вошел к себе в комнату и сел на стул.

— Не сердитесь, пожалуйста, — взмолился Эмиль.

— Хорошо, я не буду сердиться. (Санин действительно не сердился — да и, наконец, едва ли бы мог он желать, чтобы Джемма ничего не узнала.) Хорошо... полноте обниматься. Ступайте теперь. Я хочу остаться наедине. Я лягу спать. Я устал.

— Превосходная мысль! — воскликнул Панталеоне. — Вам нужно отдохновение! Вы его вполне заслужили, благородный синьор! Пойдем, Эмилио! На цыпочках! На цыпочках! Шшшш!

Сказавши, что он хочет спать, Санин желал только отделаться от своих товарищей; но, оставшись один, он взаправду почувствовал значительную усталость во всех членах: всю предшествовавшую ночь он почти не смыкал глаз и, бросившись на постель, немедленно заснул глубоким сном.

### XXIII

Несколько часов сряду он спал беспробудно. Потом ему стало грезиться, что он опять дерется на дуэли, что в качестве противника стоит перед ним г-н Клубер, а на елке сидит попутай, и этот попутай Панталеоне, и твердит он, щелкая носом: раз-раз-раз! раз-раз-раз!

«Раз... раз... раз!!» послышалось ему уже слишком явственно: он открыл глаза, приподнял голову... кто-то стучался к нему в дверь.

— Войдите! — крикнул Санин.

Появился кельнер и доложил, что одной даме очень нужно его видеть.

«Джемма!» — мелькнуло у него в голове... но дама оказалась ее матерью — фрау Леноре.

Она, как только вошла, тотчас опустилась на стул и начала плакать.

— Что с вами, моя добрая, милая г-жа Розелли? — начал Санин, подсев к ней и с тихой лаской касаясь ее руки. — Что случилось? Успокойтесь, прошу вас.

— Ах, Негг Dimitri, я очень... очень несчастна!

— Вы несчастны?

— Ах, очень! И могла ли я ожидать? Вдруг, как гром из ясного неба...

Она с трудом переводила дыхание.

— Но что такое? Объяснитесь! Хотите стакан воды?

— Нет, благодарствуйте. — Фрау Леноре утерла платком глаза и с новой силой заплакала. — Ведь я всё знаю! Всё!

— То есть как же: всё?

— Всё, что произошло сегодня! И причина... мне тоже известна! Вы поступили,

как благородный человек; но какое несчастное стечение обстоятельств! Недаром мне не нравилась эта поездка в Соден... недаром! (Фрау Леноре ничего подобного не говорила в самый день поездки, но теперь ей казалось, что уже тогда она «всё» предчувствовала.) Я и пришла к вам, как к благородному человеку, как к другу, хотя я увидела вас в первый раз пять дней тому назад... Но ведь я вдова, одинокая... Моя дочь...

Слезы заглушили голос фрау Леноре. Санин не знал, что подумать.

— Ваша дочь? — повторил он.

— Моя дочь, Джемма, — вырвалось почти со стоном у фрау Леноре из-под смоченного слезами платка, — объявила мне сегодня, что не хочет выйти замуж за г-на Клюбера и что я должна отказать ему!

Санин даже отодвинулся слегка: он этого не ожидал.

— Я уже не говорю о том, — продолжала фрау Леноре, — что это позор, что этого никогда на свете не бывало, чтобы невеста отказала жениху; но ведь это для нас разорение, Herr Dimitri! — Фрау Леноре старательно и туго свернула платок в маленький-маленький клубочек, точно она хотела заключить в него всё свое горе. — Жить доходами с нашего магазина мы больше не можем, Herr Dimitri! а г-н Клубер очень богат и будет еще богаче. И за что же ему отказать? За то, что он не вступился за свою невесту? Положим, это не совсем хорошо с его стороны, но ведь он статский человек, в университете не воспитывался и, как солидный торговец, должен был презреть легкомысленную шалость неизвестного офицерчика. И какая же это обида, Herr Dimitri?

— Позвольте, фрау Леноре, вы словно осуждаете меня...

— Нисколько я вас не осуждаю, нисколько! Вы совсем другое дело; вы, как все русские, военный...

— Позвольте, я вовсе не...

— Вы иностранец, проезжий, я вам благодарна, — продолжала фрау Леноре, не слушая Санина. Она задыхалась, разводила руками, снова развертывала платок и сморкалась. По одному тому, как выражалось ее горе, можно было видеть, что она родилась не под северным небом.

— И как же будет г-н Клубер торговать в магазине, если он будет драться с покупателями? Это совсем несообразно! И теперь я должна ему отказать! Но чем мы будем жить? Прежде мы одни делали девичью кожу и нутá с фисташ-

ками — и к нам ходили покупатели, а теперь все делают девичью кожу!! Вы подумайте: уж без того в городе будут говорить о вашей дуэли... разве это можно утаить? И вдруг свадьба расстраивается! Ведь это скандал, скандал! Джемма — прекрасная девушка; она очень любит меня, но она упрямая республиканка, бравирует мнением других. Вы одни можете ее уговорить!

Санин изумился еще пуще прежнего.

— Я, фрау Леноре?

— Да, вы одни... Вы одни. Я затем и пришла к вам: я ничего другого придумать не умела! Вы такой ученый, такой хороший человек! Вы же за нее вступились. Вам она поверит! Она должна вам поверить — вы ведь жизнью своей рисковали! Вы ей докажете, а я уже больше ничего не могу! Вы ей докажете, что она и себя и всех нас погубит. Вы спасли моего сына — спасите и дочь! Вас сам бог послал сюда... Я готова на коленях просить вас...

И фрау Леноре наполовину приподнялась со стула, как бы собираясь упасть Санину в ноги... Он удержал ее.

— Фрау Леноре! Ради бога! Что вы это?

Она судорожно схватила его за руки.

— Вы обещаетесь?

— Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я...

— Вы обещаетесь? Вы не хотите, чтобы я тут же, сейчас, умерла перед вами?

Санин потерялся. Ему в первый раз в жизни приходилось иметь дело с загоревшей итальянской кровью.

— Я сделаю всё, что будет вам угодно! — воскликнул он. — Я поговорю с фрейлейн Джеммой...

Фрау Леноре вскрикнула от радости.

— Только я, право, не знаю, какой может выйти результат...

— Ах, не отказывайтесь, не отказывайтесь! — промолвила фрау Леноре умоляющим голосом, — вы уже согласились! Результат, наверное, выйдет отличный. Во всяком случае, я уже больше ничего не могу! Меня она не послушается!

— Она так решительно объявила вам свое нежелание выйти за г-на Клюбера? — спросил Санин после небольшого молчания.

— Как ножом отрезала! Она вся в отца, в Дживан' Баттиста! Бедовая!

— Бедовая? она?.. — протяжно повторил Санин.

— Да... да... но она тоже ангел. Она вас послушается. Вы придете, придете скоро? О мой милый русский друг! —

Фрау Леноре порывисто встала со стула и так же порывисто обхватила голову сидевшего перед ней Санина. — Примите благословение матери — и дайте мне воды!

Санин принес г-же Розелли стакан воды, дал ей честное слово, что придет немедленно, проводил ее по лестнице до улицы — и, вернувшись в свою комнату, даже руками всплеснул и глаза вытаращил.

— «Вот, — подумал он, — вот теперь завертелась жизнь! Да и так завертелась, что голова кругом пошла». Он и не попытался взглянуть внутрь себя, понять, что там происходит: сумятица — и basta! «Выдался денек! — невольно шептали его губы. — Бедовая... говорит ее мать... И я должен ей советовать — ей?! И что советовать?!»

Голова действительно кружилась у Санина — и над всем этим вихрем разнообразных ощущений, впечатлений, недосказанных мыслей постоянно носился образ Джеммы, тот образ, который так неизгладимо врезался в его память в ту теплую, электрически-потрясенную ночь, в том темном окне, под лучами роившихся звезд!

#### XXIV

Нерешительными шагами подходил Санин к дому г-жи Розелли. Сердце его сильно билось; он явственно чувствовал и даже слышал, как оно толкалось в ребра. Что он скажет Джемме, как заговорит с нею? Он вошел в дом не через кондитерскую, но по заднему крыльцу. В небольшой передней комнате он встретил фрау Леноре. Она и обрадовалась ему и испугалась.

— Я ждала, ждала вас, — проговорила она шепотом, попеременно обеими руками стискивая его руку. — Ступайте в сад; она там. Смотрите же: я на вас надеюсь!

Санин отправился в сад.

Джемма сидела на скамейке, близ дорожки, и из большой корзины, наполненной вишнями, отбирала самые спелые на тарелку. Солнце стояло низко — был уже седьмой час вечера — и в широких косых лучах, которыми оно затопляло весь маленький садик г-жи Розелли, было больше багрянца, чем золота. Изредка, чуть слышно и словно не спеша, перешептывались листья, да отрывисто жужжали, перелетывая с цветка на соседний цветок, запоздалые пчелы, да где-то ворковала горлянка — однообразно и неутомимо.

На Джемме была та же круглая шляпа, в которой она ездила в Соден. Она глянула на Санина из-под ее выгнутого края и снова наклонилась к корзинке.

Санин приблизился к Джемме, невольно укорачивая каждый шаг, и... и... И ничего другого не нашелся сказать ей, как только спросить: зачем это она отбирает вишни?

Джемма не тотчас отвечала ему.

— Эти — поспелее, — промолвила она наконец, — пойдут на варенье, а те на начинку пирогов. Знаете, мы продаем такие круглые пироги с сахаром.

Сказав эти слова, Джемма еще ниже наклонила голову, и правая ее рука, с двумя вишнями в пальцах, остановилась на воздухе между корзинкой и тарелкой.

— Можно подсесть к вам? — спросил Санин.

— Можно. — Джемма слегка подвинулась на скамейке. Санин поместился возле нее. «Как начать?» — думалось ему. Но Джемма вывела его из затруднения.

— Вы дрались сегодня на дуэли, — заговорила она с живостью и обернулась к нему всем своим прекрасным, стыдливо вспыхнувшим лицом, — а какой глубокой благодарностью светились ее глаза! — И вы так спокойны? Стало быть, для вас не существует опасности?

— Помилуйте! Я никакой опасности не подвергался. Всё обошлось очень благополучно и безобидно.

Джемма повела пальцем направо и налево перед глазами... Тоже итальянский жест.

— Нет! нет! не говорите этого! Вы меня не обманете! Мне Панталеоне всё сказал!

— Нашли кому верить! Сравнивал он меня с статуей командора?

— Выражения его могут быть смешны, но ни чувство его не смешно, ни то, что вы сделали сегодня. И всё это из-за меня... для меня... Я этого никогда не забуду.

— Уверю вас, фрейлейн Джемма...

— Я этого не забуду, — с расстановкой повторила она, еще раз пристально посмотрела на него и отвернулась.

Он мог теперь видеть ее тонкий, чистый профиль, и ему казалось, что он никогда не видывал ничего подобного и не испытывал ничего подобного тому, что он чувствовал в этот миг. Душа его разгоралась.

«А мое обещание!» — мелькнуло у него в мыслях.

— Фрейлейн Джемма... — начал он после мгновенного колебания.



— Что?

Она не повернулась к нему, она продолжала разбирать вишни, осторожно брала концами пальцев за их хвостики, заботливо приподнимала листочки... Но какой доверчивой лаской прозвучало это одно слово: «что!»

— Вам ваша матушка ничего не сообщала... насчет...

— Насчет?

— На мой счет?

Джемма вдруг отбросила назад в корзину взятые ею вишни.

— Она говорила с вами? — спросила она в свою очередь.

— Да.

— Что же она вам такое сказала?

— Она сказала мне, что вы... что вы внезапно решили переменить... свои прежние намерения.

Голова Джеммы опять наклонилась. Она вся исчезла под шляпой; виднелась только шея, гибкая и нежная, как стебель крупного цветка.

— Какие намерения?

— Ваши намерения... касательно... будущего устройства вашей жизни.

— То есть... Вы это говорите... о г-не Клюбере?

— Да.

— Вам мама сказала, что я не желаю быть женою г-на Клюбера?

— Да.

Джемма подвинулась на скамейке. Корзина накренилась, упала... несколько вишен покатились на дорожку. Прошла минута... другая...

— Зачем она вам это сказала? — слышался ее голос.

Санин по-прежнему видел одну шею Джеммы. Грудь ее поднималась и опускалась быстрее прежнего.

— Зачем? Ваша матушка подумала, что так как мы с вами в короткое время, можно сказать, подружились, и вы возымели некоторое доверие ко мне, то я в состоянии подать вам полезный совет — и вы меня послушаетесь.

Руки Джеммы тихонько соскользнули на колени... Она принялась перебирать складки своего платья.

— Какой же вы мне совет дадите, monsieur Dimitri? — спросила она погоды немного.

Санин увидал, что пальцы Джеммы дрожали на ее коленях... Она и складки платья перебирала только для того, чтобы скрыть эту дрожь. Он тихонько положил свою руку на эти бледные, трепетные пальцы.

— Джемма, — промолвил он, — отчего вы не смотрите на меня?

Она мгновенно отбросила назад через плечо свою шляпу — и устремила на него глаза, доверчивые и благодарные по-прежнему. Она ждала, что он заговорит... Но вид ее лица смутил и словно ослепил его. Теплый блеск вечернего солнца озарял ее молодую голову — и выражение этой головы было светлее и ярче самого этого блеска.

— Я вас послушаюсь, monsieur Dimitri, — начала она, чуть-чуть улыбаясь и чуть-чуть приподнимая брови, — но какой же совет дадите вы мне?

— Какой совет? — повторил Санин. — Вот видите ли, ваша матушка полагает, что отказать г-ну Клуберу только потому, что он третьего дня не выказал особенной храбрости...

— Только потому? — проговорила Джемма, нагнулась, подняла корзину и поставила ее возле себя на скамейку.

— Что... вообще... отказать ему, с вашей стороны — неблагоприятно; что это — такой шаг, все последствия которого нужно хорошенько взвесить; что, наконец, самое положение ваших дел налагает известные обязанности на каждого члена вашего семейства...

— Это всё — мнение мамы, — перебила Джемма, — это ее слова. Это я знаю; но ваше какое мнение?

— Мое? — Санин помолчал. Он чувствовал, что-то подступило к нему под горло и захватывало дыхание. — Я тоже полагаю, — начал он с усилием...

Джемма выпрямилась.

— Тоже? Вы — тоже?

— Да... то есть... — Санин не мог, решительно не мог прибавить ни единого слова.

— Хорошо, — сказала Джемма. — Если вы, как друг, советуете мне изменить мое решение... то есть не менять моего прежнего решения, — я подумаю. — Она, сама не замечая, что делает, начала перекладывать вишни обратно из тарелки в корзину... — Мама надеется, что я вас послушаюсь... Что ж? Я, быть может, точно послушаюсь вас...

— Но позволите, фрейлейн Джемма, я сперва желал бы узнать, какие причины побудили вас...

— Я вас послушаюсь, — повторила Джемма, а у самой брови всё надвигались, щеки бледнели; она покусывала нижнюю губу. — Вы так много для меня сделали, что и я обязана сделать, что вы хотите; обязана исполнить ваше желание. Я ска-



жу маме... я подумаю. Вот она, кстати, идет сюда.

Действительно: фрау Леноре показалась на пороге двери, ведущей из дома в сад. Нетерпение ее разбирало: она не могла усидеть на месте. По ее расчету, Санин давным-давно должен был окончить свое объяснение с Джеммой, хотя его беседа с нею не продолжалась и четверти часа.

— Нет, нет, нет, ради бога, не говорите ей пока ничего, — торопливо, почти с испугом произнес Санин. — Подождите... я вам скажу, я вам напишу... а вы до тех пор не решайтесь ни на что... подождите!

Он стиснул руку Джеммы, вскочил со скамейки — и, к великому изумлению фрау Леноры, прошмыгнув мимо нее, подняв шляпу, пробурчал что-то невнятное — и скрылся.

Она подошла к дочери.

— Скажи мне, пожалуйста, Джемма...

Та вдруг поднялась и обняла ее.

— Милая мама, можете вы подождать немножко, крошечку... до завтрашнего дня? Можете? И с тем, чтобы уж до завтра ни слова?.. Ах!..

Она залилась внезапными светлыми, для нее самой неожиданными слезами. Это тем более удивило фрау Леноре, что выражение Джеммина лица было далеко не печальное, скорее радостное.

— Что с тобой? — спросила она. — Ты у меня никогда не плачешь — и вдруг...

— Ничего, мама, ничего! только вы подождите. Нам обеим надо подождать. Не спрашивайте ничего до завтра — и дайте разбираться вишни, пока солнце не село.

— Но ты будешь благоразумна?

— О, я очень благоразумна! — Джемма значительно покачала головою. Она начала связывать небольшие пучки вишен, держа их высоко перед краснеющим лицом. Слез своих она не утирала: они высохли сами.

## XXV

Чуть не бегом возвратился Санин в свою квартиру. Он чувствовал, он сознавал, что только там, только наедине с самим собою, ему выяснится наконец, что с ним, что с ним такое? И действительно: не успел он войти в свою комнату, не успел сесть перед письменным столом, как, облокотясь об этот самый стол обеими руками и прижав обе ладони к лицу, — он горестно и глухо воскликнул: «Я ее люблю, люблю безумно!» — и весь внутренно зарделся, как уголь, с кото-

рого внезапно сдули выросший слой мертвого пепла. Мгновение... и уже он не в силах был понять, как он мог сидеть рядом с нею... с нею! — и разговаривать с нею, и не чувствовать, что он обожает самый край ее одежды, что он готов, как выражаются молодые люди, «умереть у ее ног». Последнее свидание в саду всё решило. Теперь, когда он думал о ней, — она уже не представлялась ему с развеянными кудрями, в сиянии звезд, — он видел ее сидящей на скамейке, видел, как она разом сбрасывает с себя шляпу и глядит на него так доверчиво... и трепет и жажда любви перебежали по всем его жилам. Он вспомнил о розе, которую вот уже третий день носил у себя в кармане: он выхватил ее и с такой лихорадочной силой прижал ее к своим губам, что невольно поморщился от боли. Теперь уже он ни о чем не рассуждал, ничего не соображал, не рассчитывал и не предвидел; он отделился от всего прошлого, он прыгнул вперед: с унылого берега своей одинокой, холостой жизни бухнулся он в тот веселый, кипучий, могучий поток — и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу! Это уже не те тихие струи уландовского романса, которые недавно его баюкали... Это сильные, неудержимые волны! Они летят и скачут вперед — и он летит с ними.

Он взял лист бумаги — и без помарки, почти одним взмахом пера, написал следующее:

«Милая Джемма!

Вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам, вы знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня просила, — но чего вы не знаете и что я обязан вам теперь сказать, — это то, что я люблю вас, люблю со всею страстью сердца, любившего в первый раз! Этот огонь вспыхнул во мне внезапно, но с такой силой, что я не нахожу слов! Когда ваша матушка пришла ко мне и просила меня — он еще только тлел во мне — а то я, как честный человек, наверное бы отказался исполнить ее поручение... Самое признание, которое я вам теперь делаю, есть признание честного человека. Вы должны знать, с кем имеете дело, — между нами не должно существовать недоразумений. Вы видите, что я не могу давать вам никаких советов... Я вас люблю, люблю, люблю — и больше нет у меня ничего — ни в уме, ни в сердце!

Дм. Санин».



Сложив и запечатав эту записку, Санин хотел было позвонить кельнера и послать ее с ним... Нет! этак неловко... Через Эмиля? Но отправиться в магазин, отыскивать его там между другими комм — неловко тоже. Притом уже ночь на дворе — и он, пожалуй, уже ушел из магазина. Размышляя таким образом, Санин, однако, надел шляпу и вышел на улицу; повернул за угол, за другой — и, к неопи-санной своей радости, увидел перед собою Эмиля. С сумкой под мышкой, со свертком бумаги в руке, молодой энтузиаст спешил домой.

«Недаром говорят, что у каждого влюбленного есть звезда», — подумал Санин и позвал Эмиля.

Тот обернулся и тотчас бросился к нему.

Санин не дал ему восторгаться, вручил ему записку, объяснил ему, кому и как ее передать... Эмиль слушал внимательно.

— Чтобы никто не видел? — спросил он, придав своему лицу выражение знаменательное и таинственное: мы, дескать, понимаем, в чем вся суть!

— Да, мой дружок, — проговорил Санин и немножко сконфузился, однако потрепал Эмиля по щеке... — И если ответ будет... Вы мне принесете ответ, не правда ли? Я буду сидеть дома.

— Уж об этом не беспокойтесь! — весело шепнул Эмиль, побежал прочь и на бегу еще раз кивнул ему.

Санин вернулся домой — и, не зажигая свечи, бросился на диван, занес руки за голову и предался тем ощущениям только что сознанный любви, которые и описывать нечего: кто их испытал, тот знает их томление и сладость; кто их не испытал — тому их не растолкуешь.

Дверь растворилась — показалась голова Эмиля.

— Принес, — сказал он шепотом, — вот он, ответ-то!

Он показал и поднял над головою свернутую бумажку.

Санин вскочил с дивана и выхватил ее из рук Эмиля. Страсть в нем слишком сильно разыгралась: не до скрытности было ему теперь, не до соблюдения приличия — даже перед этим мальчиком, ее братом. Он бы посоветился его, он бы принудил себя — если б мог!

Он подошел к окну — и при свете уличного фонаря, стоявшего перед самым домом, прочел следующие строки:

«Я вас прошу, я умоляю вас — целый завтрашний день не приходите к нам, не показываться. Мне это нужно, непременно

но нужно — а там всё будет решено. Я знаю, вы мне не откажете, потому что...

Джемма».

Санин два раза прочел эту записку — о, как трогательно мил и красив показался ему ее почерк! — подумал немного и, обратившись к Эмилю, который, желая дать понять, какой он скромный молодой человек, стоял лицом к стене и колупал в ней ногтем, — громко назвал его по имени.

Эмиль тотчас подбежал к Санину.

— Что прикажете?

— Послушайте, дружок...

— М-г Димитрий, — перебил его Эмиль жалобным голосом, — отчего вы не говорите мне: ты?

Санин засмеялся.

— Ну, хорошо. Послушай, дружок (Эмиль слегка подпрыгнул от удовольствия), — послушай: там, ты понимаешь, там ты скажешь, что всё будет исполнено в точности (Эмиль сжал губы и важно качнул головою), — а сам... Что ты делаешь завтра?

— Я? Что я делаю? Что вы хотите, чтобы я делал?

— Если тебе можно, приходи ко мне поутру, пораньше, — и мы до вечера будем гулять по окрестностям Франкфурта... Хочешь?

Эмиль опять подпрыгнул.

— Помилуйте, что может быть на свете лучше? Гулять с вами — да это просто чудо! Приду непременно!

— А если тебя не отпустят?

— Отпустят!

— Слушай... Не сказывай там, что я тебя звал на целый день.

— Зачем сказывать? Да я так уйду! Что за беда!

Эмиль крепко поцеловал Санина и убежал.

А Санин долго ходил по комнате и поздно лег спать. Он предался тем же жутким и сладким ощущениям, тому же радостному замиранию перед новой жизнью. Санин был очень доволен тем, что возымел мысль пригласить на завтрашний день Эмиля; он походил лицом на сестру. «Будет напоминать ее», — думалось Санину.

Но больше всего удивлялся он тому: как мог он вчера быть иначе, чем сегодня? Ему казалось, что он «вечно» любил Джемму — и именно так точно ее любил, как он любил ее сегодня.

На другой день, в восемь часов утра, Эмиль, с Тартальей на сворке, отъехал к Санину. Происходи он от германских родителей, он бы не мог выказать большую аккуратность. Дома он солгал: сказал, что погуляет с Саниным до завтрака, а потом отправится в магазин. Пока Санин одевался, Эмиль заговорил было с ним, правда, довольно нерешительно, о Джемме, об ее размолвке с г-м Клубером; но Санин сурово промолчал ему в ответ, а Эмиль, показав вид, что понимает, почему не следует слегка касаться этого важного пункта, уже не возвращался к нему — и только изредка принимал сосредоточенное и даже строгое выражение.

Напившись кофе, оба приятеля отправились — пешком, разумеется, — в Гаузен, небольшую деревеньку, лежащую в недалеком расстоянии от Франкфурта и окруженную лесами. Вся цепь гор Таунуса видна оттуда, как на ладони. Погода была прекрасная; солнце сияло и грело, но не пекло; свежий ветер бойко шумел в зеленых листьях; по земле, небольшими пятнами, плавно и быстро скользили тени высоких круглых облачков. Молодые люди скоро выбрались из города и бодро и весело зашагали по гладко выметенной дороге. Зашли в лес и долго там проплаутили; потом очень плотно позавтракали в деревенском трактире; потом лазали на горы, любовались видами, пускали сверху камни и хлопали в ладоши, глядя, как эти камни забавно и странно сигают, наподобие кроликов, пока проходивший внизу, невидимый для них, человек не выбрал их звонким и сильным голосом; потом лежали, раскинувшись, на коротком сухом мохе желто-фиолетового цвета; потом пили пиво в другом трактире, потом бегали взапуски, прыгали на пари: кто дальше? Открыли эхо и беседовали с ним, пели, аукались, боролись, ломали сучья, украшали свои шляпы ветками палоротника и даже танцевали. Тарталья, насколько мог и умел, участвовал во всех этих занятиях: камней он, правда, не бросал, но сам кубарем катился за ними, подвывал, когда молодые люди пели, и даже пиво пил, хотя с видимым отвращением: этому искусству его выучил студент, которому он некогда принадлежал. Впрочем, Эмиля он слушался плохо — не то, что своего хозяина Панталеоне, и когда Эмиль приказывал ему «говорить» или «читать», — только хвостиком



ком повивливал и высовывал язык трубочкой.

Молодые люди также беседовали между собою. В начале прогулки Санин, как старший и потому более рассудительный, завел было речь о том, что такое фатум, или предопределение судьбы, и что значит и в чем состоит призвание человека; но разговор вскорости принял направление менее серьезное. Эмиль стал расспрашивать своего друга и патрона о России, о том, как там дерутся на дуэли, и красивы ли там женщины, и скоро ли можно выучиться русскому языку, и что он почувствовал, когда офицер целился в него? А Санин в свою очередь расспрашивал Эмиля об его отце, о матери,



вообще об их семейных делах, всячески стараясь не упоминать имени Джеммы — и думая только о ней. Собственно говоря, он даже о ней не думал — а о завтрашнем дне, о том таинственном завтрашнем дне, который принесет ему неведомое, небывалое счастье! Точно завеса, тонкая, легкая завеса висит, слабо колыхаясь, перед его умственным взором, — и за той завесой он чувствует... чувствует присутствие молодого, неподвижного, божественного лика с ласковой улыбкой на устах и строго, приторно-строго опущенными ресницами. И этот лик — не лицо Джеммы, это лицо самого счастья! И вот настал наконец его час, завеса взвилась, открываются уста, ресницы поднимаются — увидало его божество — и тут уже свет, как от солнца, и радость, и восторг несочислимый! Он думает об этом завтрашнем дне — и душа его опять радостно замирает в млеющей тоске беспрестанно возрождающегося ожидания!

И ничему не мешает это ожидание, эта тоска. Она сопровождает каждое его движение и ничему не мешает. Не мешает она ему отлично пообедать в третьем трактире с Эмилем — и только изредка, как короткая молния, вспыхивает в нем мысль, что — если б кто-нибудь на свете знал?! Не мешает ему эта тоска играть после обеда с Эмилем в чехарду. На привольном зеленом лужку происходит эта игра... и каково изумление, каков конфуз Санина, когда, под ярый лай Тарталья, ловко растопырив ноги и перелетая птицей через прикорнувшего Эмиля, — он внезапно видит перед собою, на самой кайме зеленого лужка, двух офицеров, в которых он немедленно узнает своего вчерашнего противника и его секунданта, г-д фон Донгофа и фон Рихтера! Каждый из них встал по стеклышку в глаз и глядит на него и ухмыляется... Санин падает на ноги, отворачивается, поспешно надевает сброшенное пальто, говорит отрывистое слово Эмилю, тот тоже надевает куртку — и оба немедленно удаляются.

Поздно вернулись они во Франкфурт. — Будут меня бранить, — говорил Санину Эмиль, прощаясь с ним, — ну да всё равно! Зато я такой чудный, чудный день провел!

Вернувшись к себе в гостиницу, Санин нашел записку от Джеммы. Она назначала ему свидание — на следующий день, в семь часов утра, в одном из публичных садов, со всех сторон окружающих Франкфурт.

Как дрогнуло его сердце! Как рад он

был тому, что так беспрекословно ей повиновался! И, боже мой, что сулил... чего не сулил этот небывалый, единственный, невозможный — и несомненный завтрашний день!

Он впился глазами в записку Джеммы. Длинный изящный хвостик буквы G, первой буквы ее имени, стоявшей на конце листа, напомнил ему ее красивые пальцы, ее руку... Он подумал, что ни разу не прикоснулся к этой руке губами...

«Итальянки, — думал он, — вопреки молве о них, стыдливы и строги... А уж Джемма и подавно! Царица... богиня... мрамор девственный и чистый...»

Но придет время — и оно недалеко...»

Был в ту ночь во Франкфурте один счастливый человек... Он спал; но он мог сказать про себя словами поэта:

Я сплю... но сердце чуткое не спит...

Оно и билось так легко, как бьет крылами мотылек, приникший к цветку и облитый летним солнцем.

## XXVII

В пять часов Санин проснулся, в шесть уже был одет, в половине седьмого расхаживал по публичному саду, в виду небольшой беседки, о которой Джемма упомянула в своей записке.

Утро было тихое, теплое, серое. Иногда казалось, что вот-вот пойдет дождь; но протянутая рука ничего не ощущала, и только глядя на рукав платья, можно было заметить следы крохотных, как мельчайший бисер, капель; но и те скоро прекратились. Ветра — точно на свете никогда не бывало. Каждый звук не летел, а разливался кругом; в отдалении чуть сгущался беловатый пар, в воздухе пахло резедой и цветами белых акаций.

На улицах еще не открывались лавки, но уже показались пешеходы; изредка стучала одинокая карета... В саду гулявших не было. Садовник скоблил, не торопясь, дорожку лопатой, да дряхлая старушонка в черном суконном плаще проковыляла через аллею. Ни на одно мгновение не мог Санин принять это убогое существо за Джемму — и, однако же, сердце в нем ёкнуло, и он внимательно следил глазами за удалявшимся черным пятном.

Семь прогудели часы на башне.

Санин остановился. Неужели она не придет? Трепет холода внезапно пробежал по его членам. Тот же трепет повторился в нем мгновенье спустя, но уже от другой причины. Санин услышал за



собою легкие шаги, легкий шум женской одежды... Он обернулся: она!

Джемма шла сзади его по дорожке. На ней была серенькая мантилья и небольшая темная шляпа. Она глянула на Санина, повернула голову в сторону — и, поравнявшись с ним, быстро прошла мимо.

— Джемма, — проговорил он едва слышно.

Она слегка кивнула ему — и продолжала идти вперед. Он последовал за нею.

Он дышал прерывисто. Ноги плохо его слушались.

Джемма миновала беседку, взяла направо, миновала небольшой плоский бассейн, в котором хлопотливо плескался воробей, и, зайдя за клумбу высоких сиреней, опустилась на скамью. Место было уютное и закрытое. Санин сел возле нее.

Прошла минута — и ни он, ни она слова не промолвили; она даже не глядела на него — и он глядел ей не в лицо, а на сложенные руки, в которых она держала маленький зонтик. Что было говорить? Что было сказать такого, что по значению своему могло бы равняться одному их присутствию здесь, вместе, наедине, так рано, так близко друг от друга?

— Вы... на меня не сердитесь? — прозвучал наконец Санин.

Трудно было Санину сказать что-нибудь глупее этих слов... он сам это сознавал... Но по крайней мере молчание было нарушено.

— Я? — отвечала она. — За что? Нет.

— И вы верите мне? — продолжал он.

— Тому, что вы написали?

— Да.

Джемма опустила голову и ничего не промолвила. Зонтик выскользнул из ее рук. Она поспешно поймала его, прежде чем он упал на дорожку.

— Ах, верьте мне, верьте тому, что я писал вам, — воскликнул Санин; вся робость его вдруг исчезла — он заговорил с жаром. — Если есть на земле правда, святая, несомненная правда, — так это то, что я люблю вас, люблю вас страстно, Джемма!

Она бросила на него косвенный, мгновенный взгляд — и опять чуть не уронила зонтик.

— Верьте мне, верьте мне, — твердил он. Он умолял ее, протягивал к ней руки и не смел коснуться ее. — Что вы хотите, чтобы я сделал... чтоб убедить вас?

Она опять глянула на него.

— Скажите, monsieur Dimitri, — начала она, — третьего дня, когда вы пришли

меня уговаривать, — вы, стало быть, еще не знали... не чувствовали...

— Я чувствовал, — подхватил Санин, — но не знал. Я полюбил вас с самого того мгновенья, как я вас увидел, — но не тотчас понял, чем вы стали для меня! К тому же я услышал, что вы обрученная невеста... Что же касается до поручения вашей матушки, — то, во-первых, как бы я мог отказать? а, во-вторых, — я, кажется, так передал вам это поручение, что вы могли догадаться...

Послышались тяжелые шаги, и довольный плотный господин, с саквояжем через плечо, очевидно иностранец, выдвинулся из-за клумбы — и, с бесцеремонностью заезжего путешественника окинув взором сидевшую на скамейке парочку, громко кашлянул и прошел далее.

— Ваша матушка, — заговорил Санин, как только стук тяжелых ног затих, — сказала мне, что ваш отказ произведет скандал (Джемма чуть-чуть нахмурилась); что я отчасти сам подал повод к неблагоприятным толкам и что... следовательно... на мне — до некоторой степени — лежала обязанность уговорить вас не отказывать вашему жениху, г-ну Кюберу...

— Monsieur Dimitri, — промолвила Джемма и провела рукой по волосам со стороны, обращенной к Санину, — не называйте, пожалуйста, г-на Кюбера моим женихом. Я не буду его женой никогда. Я ему отказала.

— Вы ему отказали? Когда?

— Вчера.

— Ему самому?

— Ему самому. У нас в доме. Он приходил к нам.

— Джемма! Стало быть, вы любите меня?

Она обернулась к нему.

— Иначе... разве бы я пришла сюда? — шепнула она, и обе ее руки упали на скамью.

Санин схватил эти бессильные, ладонями вверх лежавшие руки — и прижал их к своим глазам, к своим губам... Вот когда взвилась та завеса, которая мерцала ему накануне! Вот оно, счастье, вот его лучезарный лик!

Он приподнял голову и посмотрел на Джемму — прямо и смело. Она тоже смотрела на него — несколько сверху вниз. Взор ее полузакрытых глаз едва мерцал, залитый легкими, блаженными слезами. А лицо не улыбалось... нет! оно смеялось, тоже блаженным, хотя беззвучным смехом.

Он хотел привлечь ее к себе на грудь,

но она отклонилась и, не переставая смеяться тем же беззвучным смехом, отрицательно покачала головою. «Подожди»,—казалось, говорили ее счастливые глаза.

— О, Джемма! — воскликнул Санин, — мог ли я думать, что ты (сердце в нем затрепетало, как струна, когда его губы в первый раз произнесли это «ты») — что ты меня полюбишь!

— Я сама не ожидала этого, — тихо проговорила Джемма.

— Мог ли я думать, — продолжал Санин, — мог ли я думать, подъезжая к Франкфурту, где я полагал остаться всего несколько часов, что я здесь найду счастье всей моей жизни!

— Всей жизни? Точно? — спросила Джемма.

— Всей жизни, навек и навсегда! — воскликнул Санин с новым порывом.

Лопата садовника внезапно заскребла в двух шагах от скамейки, на которой они сидели.

— Пойдем домой, — шепнула Джемма, — пойдем вместе — хочешь?

Если б она сказала ему в это мгновение: «Бросься в море — хочешь?» — она не договорила бы последнего слова, как уж он бы летел стремглав в бездну.

Они вместе вышли из сада и направились к дому, не городскими улицами, а предместьем.

## XXVIII

Санин шел то рядом с Джеммой, то несколько позади ее, не спускал с нее глаз и не переставал улыбаться. А она как будто спешила... как будто останавливалась. Правду сказать, оба они, он весь бледный, она вся розовая от волнения, подвигались вперед, как отуманенные. То, что они сделали вдвоем несколько мгновений тому назад — это отдание своей души другой душе, — было так сильно, и ново, и жутко; так внезапно всё в их жизни переставилось и переменялось, что они оба не могли опомниться и только сознавали подхвативший их вихорь, подобный тому ночному вихрю, который чуть-чуть не бросил их в объятия друг другу. Санин шел и чувствовал, что он даже иначе глядит на Джемму: он мгновенно заметил несколько особенностей в ее походке, в ее движениях, — и, боже мой! как они были ему бесконечно дороги и милы! И она чувствовала, что он так на нее глядит.

Санин и она — полюбили в первый раз; все чудеса первой любви совершались над ними. Первая любовь — та же рево-

люция: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновение, молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя, и что бы там впереди ее ни ждало — смерть или новая жизнь, — всему она шлет свой восторженный привет.

— Что? это никак наш старик? — промолвил Санин, указывая пальцем на закутанную фигуру, которая поспешно пробиралась сторонкой, как бы стараясь остаться незамеченной. Среди избытка блаженства он ощущал потребность говорить с Джеммой не о любви — то было дело решенное, святое, — а о чем-нибудь другом.

— Да, это Панталеоне, — весело и счастливо отвечала Джемма. — Он, наверное, вышел из дому по моим пятам; он уже вчера целый день следил за каждым моим шагом... Он догадывается!

— Он догадывается! — с восхищением повторил Санин. Что бы такое могла сказать Джемма, от чего он не пришел бы в восхищение?

Потом он попросил ее рассказать подробно всё, что именно произошло накануне.

И она немедленно начала рассказывать, спеша, путаясь, улыбаясь, вздыхая короткими вздохами и меняясь с Саниным короткими светлыми взглядами. Она рассказала ему, как, после третьегоняшнего разговора, мама всё хотела добиться от нее, Джеммы, чего-нибудь положительного; как она отделалась от фрау Леноры обещанием сообщить свое решение в течение суток; как она выпросила себе этот срок — и как это было трудно; как совершенно неожиданно явился г-н Кляубер, более чопорный и накрахмаленный, чем когда-либо; как он изъявил свое негодование по поводу мальчишески-непростительной и для него, Кляубера, глубоко оскорбительной (так именно он выразился) выходки русского незнакомца — он разумел твою дуэль — и как он потребовал, чтобы тебе немедленно отказали от дому. «Потому, — прибавил он, — и тут Джемма слегка передразнила его голос и манеру, — это бросает тень на мою честь; как будто я не сумел бы заступиться за свою невесту, если б нашел это необходимым или полезным! Весь Франкфурт завтра узнает, что чужой дрался с офицером за мою невесту, — на что это похоже? Это марает мою честь!» Мама с ним соглашалась — представь! — но тут я ему вдруг объявила, что он напрасно беспокоится о своей чести и о своей персоне, напрасно оскорбляется толками о



своей невесте — потому что я больше ему не невеста, и никогда его женой не буду! Признаться, я хотела было сперва поговорить с вами... с тобою, прежде чем отказать ему окончательно; но он пришел... и я не могла удержаться. Мама даже закричала от испуга, а я вышла в другую комнату и принесла ему его кольцо — ты не заметил, я уже два дня тому назад сняла это кольцо — и отдала ему. Он ужасно обиделся; но так как он ужасно самолюбив и чванлив, то он не стал много разговаривать — и ушел. Разумеется, мне пришлось много вытерпеть от мамы, и очень мне было больно видеть, как она огорчалась, — и думала я, что я немножко поторопилась; но ведь

у меня была твоя записка — и я без того уже знала...

— Что я тебя люблю, — подхватил Санин.

— Да... что ты полюбил меня.

Так говорила Джемма, путаясь и улыбаясь, и понижая всякий раз голос или вовсе умолкая, когда кто-нибудь шел ей навстречу или проходил мимо. А Санин слушал восторженно, наслаждаясь самым звуком ее голоса, как накануне он любовался ее почерком.

— Мама чрезвычайно огорчена, — начала снова Джемма, — и слова ее быстро-быстро бежали одно за другим, — она никак не хочет взять в соображение то, что г-н Клубер мог мне опротивить, что я и выходила-то за него не по любви, а вследствие ее усиленных просьб... Она подзревает... вас... тебя; то есть, прямо говоря, она уверена, что я тебя полюбила, — и это ей тем больнее, что еще третьего дня ей ничего подобного в голову не приходило, и она даже поручала тебе меня уговаривать... А странное это было поручение — не правда ли? Теперь она тебя... вас величает хитрецом, лукавым человеком, говорит, что вы обманули ее доверие, и предсказывает мне, что меня вы обманете...

— Но, Джемма, — воскликнул Санин, — разве ты ей не сказала...

— Я ничего не сказала! Какое я имела право, не переговоривши с вами?

Санин всплеснул руками.

— Джемма, я надеюсь, что теперь по крайней мере ты во всем ей сознаешься, ты приведешь меня к ней... Я хочу доказать твоей матушке, что я не обманщик!

Грудь Санина так и вздымалась от прилива великодушных и пламенных чувств!

Джемма глянула на него во все глаза.

— Вы точно хотите идти теперь к маме со мною? к маме, которая уверяет, что... что всё это между нами невозможно — и никогда сбывться не может?

Было одно слово, которое Джемма не решалась выговорить... Оно жгло ей губы; но тем охотнее произнес его Санин.

— Вступить с тобою в брак, Джемма, быть твоим мужем — я выше блаженства не знаю!

Ни любви своей, ни своему великодушию, ни решимости своей он уже не знал никаких пределов.

Услышав эти слова, Джемма, которая остановилась было на мгновенье, пошла еще скорее... Она как будто хотела убежать от этого слишком великого и неожиданного счастья!



Но вдруг у ней ноги подкосились. Из-за угла переулка, в нескольких шагах от нее, в новой шляпе и новой бекеше, прямой, как стрела, завитый, как пудель, появился г-н Клюббер. Он увидал Джемму, увидал Санина — и, как-то внутренне фыркнув и перегнув назад свой гибкий стан, щегольски пошел им навстречу. Санина покорило; но, взглянув на клубберовское лицо, которому владеец его, насколько в нем хватало уменья, тисился придать выражение презрительного изумления и даже соболезнования, — взглянув на это румяное, пошлое лицо, он внезапно почувствовал прилив гнева — и шагнул вперед.

Джемма схватила его руку и, с спокойной решительностью подав ему свою, посмотрела прямо в лицо своему бывшему жениху... Тот прищурился, съежился, вильнул в сторону и, пробормотав сквозь зубы: «Обычный конец песенки!» (*Das alte Ende vom Lied!*) — удалился той же щегольской, слегка подпрыгивающей походкой.

— Что он сказал, негодяй? — спросил Санин и хотел было броситься вслед за Клуббером; но Джемма его удержала и пошла с ним дальше, уже не принимая руки, продетой в его руку.

Кондитерская Розелли показалась впереди. Джемма еще раз остановилась.

— *Dimitri, monsieur Dimitri,* — сказала она, — мы еще не вошли туда, мы еще не видели мамы... Если вы хотите еще подумать, если... вы еще свободны, Дмитрий.

В ответ ей Санин крепко-крепко притиснул ее руку к своей груди и повлек ее вперед.

— Мама, — сказала Джемма, входя с Саниным в комнату, где сидела фрау Леноре, — я привела настоящего!

## XXIX

Если бы Джемма объявила, что привела с собою холеру или самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла бы с большим отчаянием принять это известие. Она немедленно села в угол, лицом к стене, — и залилась слезами, почти заголосила, ни дать ни взять русская крестьянка над гробом мужа или сына. На первых порах Джемма до того смутилась, что даже не подошла к матери — и осталась, как статуя, посреди комнаты; а Санин совсем потерялся — хоть самому удариться в слезы! Целый час продолжался этот безутешный плач, целый час!





Панталеоне почел за лучшее запереть наружную дверь кондитерской, как бы кто чужой не вошел — благо, пора стоял ранняя. Старик сам чувствовал недоумение — и во всяком случае не одобрял поспешности, с которой поступили Джемма и Санин, а, впрочем, осуждать их не решался и готов был оказать им покровительство — в случае нужды: уж очень не любил он Кляубера! Эмиль считал себя посредником между своим другом и сестрой — и чуть не гордился тем, что как это всё превосходно удалось! Он никак не в состоянии был понять, чего фрау Леноре так убивается, и в сердце своем он тут же решил, что женщины, даже самые лучшие, страдают отсутствием сообразительной способности! Санину приходилось хуже всех. Фрау Леноре поднимала вопль и отмахивалась руками, как только он приближался к ней, — и напрасно он попытался, стоя в отдалении, несколько раз громко воскликнуть: «Прошу руки вашей дочери!» Фрау Леноре особенно досадовала на себя за то, что «как могла она быть до того слепою — и ничего не видеть!» «Был бы мой Джован' Баттиста жив, — твердила она сквозь слезы, — ничего бы этого не случилось!» — «Господи, что же это такое? — думал Санин, — ведь это глупо наконец!» Ни сам он не смел взглянуть на Джемму, ни она не решалась поднять на него глаза. Она ограничивалась тем, что терпеливо ухаживала за матерью, которая сначала и ее отталкивала...

Наконец, мало-помалу буря утихла. Фрау Леноре перестала плакать, дозволила Джемме вывести ее из угла, куда она забилась, усадить ее в кресло возле окна и дать ей напиться воды с флёр-д'оранжем; дозволила Санину — не приблизиться... о нет! — но по крайней мере остаться в комнате (прежде она всё требовала, чтобы он удалился) и не перебивала его, когда он говорил. Санин немедленно воспользовался наступившим штилем — и выказал красноречие изумительное: едва ли бы сумел он с таким жаром и с такой убедительностью изложить свои намерения и свои чувства перед самой Джеммой. Эти чувства были самые искренние, эти намерения — самые чистые, как у Альмавивы в «Севиальском цирюльнике». Он не скрывал ни от фрау Леноры, ни от самого себя невыгодной стороны этих намерений; но эти невыгоды были только кажущиеся! Правда: он чужестранец, с ним недавно познакомились, не знают ничего положительного ни об его личности, ни об его средствах; но он



готов привести все нужные доказательства того, что он человек порядочный и не бедный; он сошлется на самые несомненные свидетельства своих соотечей! Он надеется, что Джемма будет счастлива с ним и что он сумеет усладить ей разлуку с родными!.. Упоминание разлуки — одно это слово «разлука» — чуть было не испортило всего дела... Фрау Леноре так и затрепетала вся и заметалась... Санин поспешил заметить, что разлука будет только временная — и что, наконец, быть может, ее не будет вовсе!

Красноречие Санина не пропало даром. Фрау Леноре начала взглядывать на него, хотя всё еще с горестью и упреком, но уже не с прежним отвращением и гневом; потом она позволила ему подойти и даже сесть возле нее (Джемма сидела по другую сторону); потом она стала упрекать его — не одними взорами, но словами, что уже означало некоторое смягчение ее сердца; она стала жаловаться, и жалобы ее становились всё тише и мягче; они чередовались вопросами, обращенными то к дочери, то к Санину; потом она позволила ему взять ее за руку и не тотчас отняла ее... потом она заплакала опять — но уже совсем другими слезами... потом она грустно улынулась и пожалела об отсутствии Джован'Баттиста, но уже в другом смысле, чем прежде... Прошло еще мгновение — и оба преступника, Санин и Джемма, уже лежали на коленях у ног ее, и она клала им поочередно свои руки на головы; прошло другое мгновение — и они уже обнимали и целовали ее, и Эмиль, с сияющим от восторга лицом, вбежал в комнату и тоже бросился к тесно сплоченной группе.

Панталеоне глянул в комнату, ухмыльнулся и нахмурился в одно и то же время — и, отправившись в кондитерскую, отпер наружную дверь.

### XXX

Переход от отчаяния к грусти, а от нее к «тихой резиньяции» совершился довольно скоро в фрау Леноре; но и эта тихая резиньяция не замедлила превратиться в тайное довольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдерживалось ради приличия. Санин с первого дня знакомства пришелся по нутру фрау Леноре; свыкшись с мыслию, что он будет ее зятем, она уже не находила в ней ничего особенно неприятного, хотя и считала долгом сохранять на лице своем несколько



ко обиженное... скорей озабоченное выражение. К тому же всё, что произошло в последние дни, было так необычайно... Одно к одному! Как женщина практическая и как мать, фрау Леноре почла также своим долгом подвергнуть Санина разнообразным вопросам, и Санин, который, отправляясь утром на свидание с Джеммой, и в помыслах не имел, что он женится на ней, — правда, он ни о чем тогда не думал, а только отдавался влечению своей страсти, — Санин с полной готовностью и, можно сказать, с азартом вошел в свою роль, роль жениха, и на все расспросы отвечал обстоятельно, подробно, охотно. Удостоверившись, что он настоящий, природный дворянин, и даже несколько удивившись тому, что он не



князь, фрау Леноре приняла серьезный вид и — «предупредила его заранее», что будет с ним совершенно бесцеремонно откровенна, потому что к этому принуждает ее священная обязанность матери! — на что Санин отвечал, что он от нее иного не ожидал, и сам ее убедительно просит не щадить его!

Тогда фрау Леноре заметила ему, что г-н Клюббер (произнеся это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запнулась) — г-н Клюббер, бывший Джеммин жених, уже теперь обладает восемью тысячами гульденов дохода — и с каждым годом эта сумма будет быстро увеличиваться, — а его, г-на Санина, каков доход?

— Восемь тысяч гульденов, — повторил протяжно Санин. — Это на наши деньги — около пятнадцати тысяч рублей ассигнациями... Мой доход гораздо меньше. У меня есть небольшое имение в Тульской губернии... При хорошо устроенном хозяйстве оно может дать — и даже непременно должно дать тысяч пять или шесть... Да если я поступлю на службу — я легко могу получить тысячи две жалованья.

— На службу в России? — воскликнула фрау Леноре. — Я, стало быть, должна расстаться с Джеммой!

— Можно будет определиться по дипломатической части, — подхватил Санин, — у меня есть некоторые связи... Тогда служба происходит за границей. А то вот еще что можно будет сделать — и это гораздо лучше всего: продать имение и употребить вырванный капитал на какое-нибудь выгодное предприятие, например, на усовершенствование вашей кондитерской.

Санин и чувствовал, что говорит нечто несообразное, но им овладела непонятная отвага! Он глянет на Джемму, которая с тех пор, как начался «практический» разговор, то и дело вставала, ходила по комнате, садилась опять, — глянет он на нее — и нет для него препятствий, и готов он устроить всё, сейчас, самым лучшим образом, лишь бы она не тревожилась!

— Г-н Клюббер тоже хотел дать мне небольшую сумму на поправку кондитерской, — промолвила, после небольшого колебания, фрау Леноре.

— Матушка! ради бога! матушка! — воскликнула Джемма по-итальянски.

— Об этих вещах надо говорить за благовременно, дочь моя, — отвечала ей фрау Леноре на том же языке.

Она снова обратилась к Санину и ста-

ла его спрашивать о том, какие законы существуют в России насчет браков и нет ли препятствий для вступления в супружество с католичками, — как в Пруссии? (В то время, в сороковом году, вся Германия еще помнила ссору прусского правительства с кельнским архиепископом из-за смешанных браков.) Когда же фрау Леноре услыхала, что, выйдя замуж за русского дворянина, ее дочь сама станет дворянкой, — она выказала некоторое удовольствие.

— Но ведь вы должны сперва отправиться в Россию?

— Зачем?

— А как же? Получить позволение от вашего государя?

Санин объяснил ей, что это вовсе не нужно... но что, быть может, ему точно придется перед свадьбой съездить на самое короткое время в Россию (он сказал эти слова — и сердце в нем болезненно сжалось, глядевшая на него Джемма поняла, что оно сжалось, и покраснела и задумалась) — и что он постарается воспользоваться своим пребыванием на родине, чтобы продать имение... во всяком случае, он вывезет оттуда нужные деньги.

— Я бы также попросила вас привезти мне оттуда астраханские хорошие мерлушки на мантилью, — проговорила фрау Леноре. — Они там, по слухам, удивительно хороши и удивительно дешевы!

— Непременно, с величайшим удовольствием привезу и вам, и Джемме! — воскликнул Санин.

— А мне вышитую серебром сафьянную шапочку, — вмешался Эмиль, выставив голову из соседней комнаты.

— Хорошо, привезу и тебе... и Панталеоне туфли.

— Ну к чему это? к чему? заметила фрау Леноре. — Мы говорим теперь о серьезных вещах. Но вот еще что, — прибавила практическая дама. — Вы говорите: продать имение. Но как же вы это делаете? Вы, стало быть, и крестьян тоже продадите?

Санина точно что в бок кольнуло. Он вспомнил, что, разговаривая с г-жой Розелли и ее дочерью о крепостном праве, которое, по его словам, возбуждало в нем глубокое негодование, он неоднократно заверял их, что никогда и ни за что своих крестьян продавать не станет, ибо считает подобную продажу безнравственным делом.

— Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я буду знать с хорошей стороны, — произнес он не без за-

пинки,— или, быть может, сами крестьяне захотят откупиться.

— Это лучше всего,— согласилась и фрау Леноре.— А то продавать живых людей...

— *Barbari!*<sup>1</sup> — проворчал Панталеоне, который, вслед за Эмилем, показался было у дверей, тряхнул тупеем и скрылся. «Скверно!» — подумал про себя Санин — и украдкой поглядел на Джемму. Она, казалось, не слышала его последних слов. «Ну ничего!» — подумал он опять.

Таким манером продолжался практический разговор почти вплоть до самого обеда. Фрау Леноре совсем укротилась под конец — и называла уже Санина Дмитрием, ласково грозила ему пальцем и обещала отомстить за его коварство. Много и подробно расспрашивала она об его родне, потому что — «это тоже очень важно»; потребовала также, чтобы он описал ей церемонию брака, как он совершается по обряду русской церкви, — и заранее восхищалась Джеммой в белом платье, с золотой короной на голове.

— Ведь она у меня красива, как королева, — промолвила она с материнской гордостью, — да и королев таких на свете нет!

— Другой Джеммы на свете нет! — подхватил Санин.

Да; оттого-то она и — Джемма! (Известно, что на итальянском языке Джемма значит: драгоценный камень.)

Джемма бросилась целовать свою мать... Казалось, только теперь она вздохнула свободно — и удручавшая ее тяжесть спала с ее души.

А Санин вдруг почувствовал себя до того счастливым, такую детскую веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вот сбылись же, сбылись те грезы, которым он недавно предавался в тех же самых комнатах; всё существо его до того зыграло, что он немедленно отправился в кондитерскую; он пожелал непременно, во что бы то ни стало, поторговать за прилавком, как несколько дней тому назад... «Я, мол, имею полное теперь на это право! Я ведь теперь домашний человек!»

И он действительно стал за прилавок и действительно поторговал, то есть продал двум зашедшим девочкам фунт конфет, вместо которого он им отпустил целых два, взявши с них только полцены.

За обедом он официально, как жених, сидел рядом с Джеммой. Фрау Леноре

продолжала свои практические соображения. Эмиль то и дело смеялся и приставал к Санину, чтобы тот его взял с собой в Россию. Было решено, что Санин уедет через две недели. Один Панталеоне являл несколько угрюмый вид, так что даже фрау Леноре ему попеняла: «А еще секундантом был!» — Панталеоне взглянул исподлобья.

Джемма молчала почти всё время, но никогда ее лицо не было прекраснее и светлее. После обеда она отозвала Санина на минуту в сад и, остановившись около той самой скамейки, где она третьего дня отбирала вишни, сказала ему:

— Димитрий, не сердись на меня; но я еще раз хочу напомнить тебе, что ты не должен почитать себя связанным...

Он не дал ей договорить...

Джемма отклонила свое лицо.

— А насчет того, что мама упомянула — помнишь? — о различии нашей веры, то вот!..

Она схватила гранатовый крестик, висевший у ней на шее на тонком шнурке, сильно дернула и оборвала шнурок — и подала ему крестик.

— Если я твоя, так и вера твоя — моя вера!

Глаза Санина были еще влажны, когда он вместе с Джеммой вернулся в дом.

К вечеру всё пришло в обычную колею. Даже в тресетте поиграли.

### XXXI

Санин проснулся очень рано на следующий день. Он находился на высшей степени человеческого благополучия; но не это мешало ему спать; вопрос, жизненный, роковой вопрос: каким образом он продаст свое имение как можно скорее и как можно выгоднее — тревожил его покой. В голове его скрещивались различнейшие планы, но ничего пока еще не выяснилось. Он вышел из дому, чтобы проветриться, освежиться. С готовым проектом — не иначе — хотел он предстать перед Джеммой.

Что это за фигура, достаточно грузная и толстоногая, впрочем, прилично одетая, идет перед ним, слегка переваливаясь и ковыляя? Где видел он этот затылок, поросший белобрсыми вихрами, эту голову, как бы насаженную прямо на плечи, эту мягкую, жирную спину, эти пухлые отвислые руки? Неужели

<sup>1</sup> Варвары! (итал.)

это — Полозов, его старинный пансионский товарищ, которого он уже вот пять лет, как потерял из виду? Санин обогнал шедшую перед ним фигуру, обернулся... Широкое желтоватое лицо, маленькие свиные глазки с белыми ресницами и бровями, короткий, плоский нос, крупные, словно склеенные губы, круглый, безволосый подбородок — и это выражение всего лица, кислое, ленивое и недоверчивое — да точно: это он, это Ипполит Полозов!

«Уж не опять ли моя звезда действует?» — мелькнуло в мыслях Санина.

— Полозов! Ипполит Сидорыч! Это ты?

Фигура остановилась, подняла свои крохотные глаза, подождала немного — и, расклеив, наконец, свои губы, проговорила сиповатой фистулой:

— Дмитрий Санин?

— Он самый и есть! — воскликнул Санин и пожал одну из рук Полозова; облезлые в тесные лайковые перчатки серо-пепельного цвета, они по-прежнему безжизненно висели вдоль его выпуклых ляжек. — Давно ли ты здесь? Откуда приехал? Где остановился?

— Я приехал вчера из Висбадена, — отвечал, не спеша, Полозов, — за покупками для жены и сегодня же возвращаюсь в Висбаден.

— Ах, да! Ведь ты женат — и, говорят, на такой красавице!

Полозов повел в сторону глазами.

— Да, говорят.

Санин засмеялся.

— Я вижу, ты всё такой же... флегматик, каким ты был в пансионе.

— На что я буду меняться?

— И говорят, — прибавил Санин с особым ударением на слово «говорят», — что твоя жена очень богата.

— Говорят и то.

— А тебе самому, Ипполит Сидорыч, разве это неизвестно?

— Я, брат, Дмитрий... Павлович? — да, Павлович! в женины дела не мешаюся.

— Не мешаешься? Ни в какие дела?

Полозов опять повел глазами.

— Ни в какие, брат. Она — сама по себе... ну и я — сам по себе.

— Куда же ты теперь идешь? — спросил Санин.

— Теперь я никуда не иду; стою на улице и с тобой беседую; а вот как мы с тобой покончим, отправлюсь к себе в гостиницу и буду завтракать.

— Меня в товарищи — хочешь?

— То есть это ты насчет завтрака?

— Да.

— Сделай одолжение, есть вдвоем гораздо веселее. Ты ведь не говоришь?

— Не думаю.

— Ну и ладно.

Полозов двинулся вперед, Санин отправился с ним рядом. И думалось Санину — губы Полозова опять склеились, он сопел и переваливался молча, — думалось Санину: каким образом удалось этому чурбану подцепить красивую и богатую жену? Сам он ни богат, ни знатен, ни умен; в пансионе слыл за вялого и тупого мальчика, за соню и обжору — и прозвище носил «слюнция». Чудеса!

«Но если жена его очень богата — сказывают, она дочь какого-то откупщика, — то не купит ли она мое имение? Хотя он и говорит, что ни в какие женины дела не входит, но ведь этому веры дать нельзя! Притом же и цену я назначу сходную, выгодную цену! Отчего не попытаться? Быть может, это всё моя звезда действует... Решено! попытаюсь!»

Полозов привел Санина в одну из лучших гостиниц Франкфурта, в которой занимал уже, конечно, лучший номер. На столах и стульях громоздились каргоны, ящики, свертки... «Всё, брат, покупки для Марьи Николаевны!» (так звали жену Ипполита Сидорыча). Полозов опустился в кресло, протонал: «Эка жара!» — и развязал галстук. Потом позвонил обер-кельнера и тщательно заказал ему обильнейший завтрак. «А в час чтобы карета была готова! Слышите, ровно в час!»

Обер-кельнер подобострастно наклонился и рабски исчез.

Полозов расстегнул жилет. По одному тому, как он приподнимал брови, отдувался и морщил нос, можно было видеть, что говорить будет для него большою тягостью и что он не без некоторой тревоги ожидал, заставит ли его Санин ворочать языком, или сам возьмет на себя труд вести беседу?

Санин понял настроение своего приятеля и потому не стал обременять его вопросами; ограничился лишь самым необходимым; узнал, что он два года состоял на службе (в уланах! то-то, чай, хорош был в коротком-то мундирчике!), три года тому назад женился — и вот уже второй год находится за границей с женой, «которая теперь от чего-то лечится в Висбадене», — а там отправляется в Париж. С своей стороны, Санин также мало распространялся о своей прошедшей жизни, о своих планах; он прямо приступил к главному — то есть заговорил о своем намерении продать имение.

Полозов слушал его молча, лишь из-





редка взглядывая на дверь, откуда должен был явиться завтрак. Завтрак явился наконец. Ober-кельнер, в сопровождении двух других слуг, принес несколько блюд под серебряными колпаками.

— Это в Тульской губернии имение? — промолвил Полозов, садясь за стол и затыкая салфетку за ворот рубашки.

— В Тульской.

— Ефремовского уезда... Знаю.

— Ты мою Алексеевку знаешь? — спросил Санин, тоже садясь за стол.

— Знаю, как же. — Полозов закинул себе в рот кусок яичницы с трюфелями. — У Марьи Николаевны — жены моей — по соседству есть имение... Откупорьте эту бутылку, кельнер! Земля порядочная — только мужики у тебя лес вырубали. Ты зачем же продаешь?

— Деньги нужны, брат. Я бы дешево продал. Вот бы тебе купить... Кстати. Полозов проглотил стакан вина, утерся салфеткой и опять принялся жевать — медленно и шумно.

— Н-да, — проговорил он наконец... Я имений не покупаю: капиталов нет. Пододвинь-ка масло. Разве вот жена купит. Ты с ней поговори. Коли дорого не запросишь — она этим не брезгает... Экие, однако, эти немцы — ослы! Не умеют рыбу сварить. Чего, кажется, проще? А еще толкуют: фатерланд, мол, объединить следует. Кельнер, примите эту мерзость!

— Неужели же твоя жена сама распоряжается... по хозяйству? — спросил Санин.

— Сама. Вот котлеты — хороши. Рекомендую. Я сказал тебе, Дмитрий Павлович, что ни в какие женины дела я не вхожу, и теперь тебе то же повторяю.

Полозов продолжал чавкать.

— Гм... Но как я с ней переговорить могу, Ипполит Сидорыч?

— А очень просто, Дмитрий Павлович. Отправляйся в Висбаден. Отсюда недалеко. Кельнер, нет ли у вас английской горчицы? Нет? Скоты! Только времени не теряй. Мы послезавтра уезжаем. Позволь, я тебе налью рюмку: с букетом вино — не кислятина.

Лицо Полозова оживилось и покраснело; оно и оживлялось только тогда, когда он ел... или пил.

— Право же... я не знаю, как это сделать? — пробормотал Санин.

— Да что тебе так вдруг приспичило?

— То-то и есть, что приспичило, брат.

— И большая сумма нужна?

— Большая. Я... как бы это тебе сказать? я затеял... жениться.

Полозов поставил на стол рюмку, которую поднес было к губам.

— Жениться! — промолвил он хриплым, от изумленья хриплым, голосом и сложил свои пухлые руки на желудке. — Так скоропостижно?

— Да... скоро.

— Невеста — в России, разумеется?

— Нет, не в России.

— Где же?

— Здесь, во Франкфурте.

— И кто она?

— Немка; то есть нет — итальянка.

Здесьняя жительница.

— С капиталом?

— Без капитала.

— Стало быть, любовь уж очень сильная?

— Какой ты смешной! Да, сильная.

— И для этого тебе деньги нужны?

— Ну да... да, да.

Полозов проглотил вино, выполоскал себе рот и руки вымыл, старательно утер их о салфетку, достал и закурил сигару. Санин молча глядел на него.

— Одно средство, — промычал наконец Полозов, закидывая назад голову и выпуская дым тонкой струйкой. — Ступай к жене. Она, коли захочет, всю беду твою руками разведет.

— Да как я ее увижу, жену твою? Ты говоришь, вы послезавтра уезжаете?

Полозов закрыл глаза.

— Знаешь, что я тебе скажу, — проговорил он наконец, вертя губами сигару и вздыхая. — Ступай-ка домой, снаряжись попроворнее да приходи сюда. В час я выезжаю, карета у меня просторная — я тебя с собой возьму. Этак всего лучше. А теперь я посплю. Я, брат, как поем, непременно поспать должен. Natura требует — и я не противлюсь. И ты не мешай мне.

Санин подумал, подумал — и внезапно поднял голову: он решился!

— Ну хорошо, согласен — и благодарю тебя. В половине первого я здесь — и мы отправимся вместе в Висбаден. Я надеюсь, жена твоя не рассердится...

Но Полозов уже сопел. Пролетел: Не мешай! — поболтал ногами и заснул, как младенец.

Санин еще раз окинул взором его грузную фигуру, его голову, шею, его высоко поднятый, круглый, как яблоко, подбородок — и, выйдя из гостиницы, проворными шагами направился к кондитерской Розелли. Надо было предвзреть Джемму.

Он застал ее в кондитерской комнате, вместе с матерью. Фрау Леноре, перегнувши спину, измеряла небольшим складным футом промежутки между окнами. Увидя Санина, она выпрямилась и весело приветствовала его, не без маленького замешательства, однако.

У меня, с ваших вчерашних слов, — начала она, — всё в голове вертятся мысли, как бы нам улучшить наш магазин. Вот тут, я полагаю, два шкапчика с зеркальными полочками поставить. Теперь, знаете, это в моде. И потом еще...

— Прекрасно, прекрасно, — перебил ее Санин, — это всё надо будет сообразить... Но подите-ка сюда, я вам что сообщу.

Он взял фрау Леноре и Джемму под руки и повел их в другую комнату. Фрау Леноре встревожилась и мерку из рук выронила. Джемма встревожилась было тоже, но глянула попристальнее на Санина и успокоилась. Лицо его, правда, озабоченное, выражало в то же время оживленную бодрость и решимость.

Он попросил обеих женщин сесть, а сам стал перед ними — и, размахивая руками да ероша волосы, сообщил им всё: встречу с Полозовым, предполагаемую поездку в Висбаден, возможность продажи имения.

— Вообразите мое счастье, — воскликнул он наконец, — дело приняло такой оборот, что мне даже, быть может, незачем будет ехать в Россию! И свадьбу мы можем сыграть гораздо скорее, чем я предполагал!

— Когда вы должны ехать? — спросила Джемма.

— Сегодня же — через час; мой приятель нанял карету — он меня довезет.

— Вы нам напишете?

— Немедленно! как только переговорю с этой дамой — так тотчас и напишу.

— Эта дама, вы говорите, очень богата? — спросила практическая фрау Леноре.

— Чрезвычайно! ее отец был миллионером — и всё ей оставил.

— Всё — ей одной? Ну, это ваше счастье. Только смотрите не продешевите вашего имения! Будьте благоразумны и тверды. Не увлекайтесь! Я понимаю ваше желание быть как можно скорее мужем Джеммы... но осторожность прежде всего! Не забудьте: чем вы дороже продадите имение, тем больше останется вам обоим — и вашим детям.

Джемма отвернулась, и Санин опять замахал руками.

— В моей осторожности вы можете быть уверены, фрау Леноре! Да я и торговаться не стану. Скажу ей настоящую цену: даст — хорошо; не даст — бог с ней!

— Вы с ней знакомы... с этой дамой? — спросила Джемма.

— Я ее никогда в лицо не видал.

— И когда же вы вернетесь?

— Если ничем не кончится наше дело — послезавтра; если же оно пойдет на лад — может быть, придется пробыть лишний день или два. Во всяком случае — минуты не промешкаю. Ведь я душу свою оставляю здесь! Однако я с вами заговорился, а мне нужно перед отъездом еще домой сбежать... Дайте мне руку на счастье, фрау Леноре, — у нас в России всегда так делается.

— Правую или левую?

— Левую — ближе к сердцу. Явлюсь послезавтра — со щитом или на щите! Мне что-то говорит: я вернусь победителем. Прощайте, мои добрые, мои милые...

Он обнял и поцеловал фрау Леноре, а Джемму попросил пойти с ним в ее комнату — на минутку, так как ему нужно сообщить ей что-то очень важное. Ему просто хотелось проститься с ней наедине. Фрау Леноре это поняла — и не полюбопытствовала узнать, какая это была такая важная вещь...

Санин никогда еще не бывал в комнате Джеммы. Всё обаяние любви, весь ее огонь, и восторг, и сладкий ужас — так и вспыхнули в нем, так и ворвались в его душу, как только он переступил заветный порог... Он кинул вокруг умиленный взор, пал к ногам милой девушки и прижал лицо свое к ее стану...

— Ты мой? — шепнула она, — ты вернешься скоро?

— Я твой... я вернусь, — твердил он задыхаясь.

— Я буду ждать тебя, мой милый!

Несколько мгновений спустя Санин уже бежал по улице к себе на квартиру. Он и не заметил того, что вслед за ним из двери кондитерской, весь растрепанный, выскочил Панталеоне — и что-то кричал ему, и потрясал, и как будто грозил высоко поднятой рукою.

Ровно в три четверти первого Санин отъехал к Полозову. У ворот его гостиницы уже стояла карета, запряженная четырьмя лошадьми. Увидав Санина, Полозов только промолвил: «А! решил-





ся?» — и, надев шляпу, шинель и калоши, заткнув себе хлопчатой бумагой уши, хотя дело было летом, вышел на крыльцо. Кельнеры, по его указанию, расположили во внутренности кареты все многочисленные его покупки, обложили место его сиденья шелковыми подушечками, сумочками, узелками, поставили в ноги короб с провизией и привязали к козлам чемодан. Полозов расплатился щедрой рукой — и, хотя сзади, но почтительно поддерживаемый услужливым привратником, полез, крихтя, в карету, уселся, обмял хорошенько всё вокруг себя, выбрал и закурил сигару — и тогда только кивнул пальцем Санину: полезай, мол, и ты! Санин поместился с ним рядом. Полозов приказал через привратника почтальону ехать исправно — если желает получить на водку; подножки загремели, дверцы хлопнули, карета покати-лась.

### XXXIII

От Франкфурта до Висбадена теперь по железной дороге менее часа езды; в то время экстра-почта поспевала часа в три. Лошадей меняли раз пять. Полозов не то дремал, не то так покачивался, держа сигару в зубах, и говорил очень мало; в окошко не выглянул ни разу: живописными видами он не интересовался и даже объявил, что «природа — смерть его!» Санин тоже молчал и тоже не любовался видами: ему было не до того. Он весь отдался размышлениям, воспоминаниям. На станциях Полозов аккуратно расплачивался, замечал время по часам и награждал почтальонов — мало или много, смотря по их усердию. На полдороге он достал из короба с съестными припасами два апельсина и, выбрав лучший, предложил Санину другой. Санин пристально поглядел на своего спутника — и вдруг рассмеялся.

— Чему ты? — спросил тот, старательно отдирая своими короткими белыми ногтями кожу с апельсина.

— Чему? — повторил Санин. — Да на-шему с тобой путешествию.

— А что? — переспросил Полозов, пропуская в рот один из тех продольных ломтиков, на которые распадается мясо апельсина.

— Очень оно уже странно. Вчера я, признаться, так же мало думал о тебе, как о китайском императоре, а сегодня я еду с тобой продавать мое имение твоей жене, о которой тоже не имею малейшего понятия.

— Всяко бывает, — отвечал Полозов. — Ты только поживи подольше — всего насмотришься. Например, можешь ты себе представить меня подъезжающим на ординарцы? А я подъезжал; а великий князь Михаил Павлович скомандовал: «Рысью, рысью этого толстого корнета! Прибавь рыси!»

Санин почесал у себя за ухом.

— Скажи мне, пожалуйста, Ипполит Сидорыч, какова твоя жена? Нрав у ней каков? Мне ведь это нужно знать.

— Ему хорошо командовать: «рысью!» — с внезапной запальчивостью подхватил Полозов, — а мне-то... мне-то какво? Я и подумал: возьмите вы себе ваши чины да эполеты — ну их с богом! Да... ты о жене спрашивал? Что — жена? Человек, как все. Пальца ей в рот не клади — она этого не любит. Главное, говори побольше... чтобы посмеяться было над чем. Про любовь свою расскажи, что ли... да позабавней, знаешь.

— Как позабавней?

— Да так же. Ведь ты мне сказывал, что влюблен, жениться хочешь. Ну вот, ты это и опиши.

Санин обиделся.

— Что же в этом ты находишь смешного?

Полозов только глазами повел. Сок от апельсина тек по его подбородку.

— Это твоя жена тебя во Франкфурт за покупками послала? — спросил Санин спустя немного времени.

— Она самая.

— Какие же это покупки?

— Известно: игрушки.

— Игрушки? разве у тебя есть дети?

Полозов даже посторонился от Санина.

— Вона! С какой стати у меня будут дети? Женские кофичиш<sup>1</sup>... Уборы. По части туалета.

— Ты разве в этом толк знаешь?

— Знаю.

— Как же ты мне говорил, что ни во что женино не входишь?

— В другое не вхожу. А это... ничего. От скуки — можно. Да и жена вкусу моему верит. Я ж и торговаться лих.

Полозов начинал говорить отрывисто; он уже устал.

— И очень жена твоя богата?

— Богата-то богата. Только больше для себя.

— Однако, кажется, и ты пожаловаться не можешь?

— На то я муж. Еще бы мне не пользоваться! И полезный же я ей человек! Ей со мной — лафа! Я — удобный!

Полозов утер лицо фуляром и тяжело фукнул: «Пощади, дескать; не заставляй еще произносить слова. Видишь, как оно мне трудно».

Санин оставил его в покое — и снова погрузился в размышления.

Гостиница в Висбадене, перед которой остановилась карета, уже прямо смахивала на дворец. Колокольчики немедленно зазвонили в ее недрах, поднялась суетня и беготня; благообразные люди в черных фраках запрыгали у главного входа; залитый золотом швейцар с размаху отворил дверцы кареты.

Как некий триумфатор высадился Полозов и начал подниматься по усталой коврами и благоухонной лестнице. К нему подлетел человек, тоже отлично одетый, но с русским лицом — его камердинер. Полозов заметил ему, что впредь будет всегда брать его с собою, ибо, накануне, во Франкфурте, его, Полозова, оставили на ночь без теплой воды! Камердинер изобразил ужас на лице — и, проворно наклонясь, снял с барина калоши.

— Марья Николаевна дома? — спросил Полозов.

— Дома-с. Изволят одеваться. У графини Ласунской изволят обедать.

— А! у этой!.. Стой! Там вещи в карете, всё вынь сам и внеси. А ты, Дмитрий Павлович, — прибавил Полозов, — возьми себе комнату да через три четверти часа и приходи. Пообедаем вместе.

Полозов поплыл дальше, а Санин спросил себе номер попроще — и, приведя туалет свой в порядок да отдохнув немножко, отправился в громадный апартамент, занимаемый его светлостью (Durchlaucht) князем фон Полозбф.

Он застал этого «князя» восседающим на роскошнейшем бархатном кресле посреди великолепнейшего салона. Флегматический приятель Санина успел уже ванну взять и облачиться в богатейший атласный шлафрок; на голову он надел малиновую феску. Санин приблизился к нему и некоторое время рассматривал его. Полозов сидел неподвижно, как идол; даже лица в его сторону не повернул, даже бровью не повел, звука не издал. Зрелище было поистине величественное! Полюбовавшись им минуты с две, Санин хотел было заговорить, нарушить эту священную тишину — как вдруг дверь

<sup>1</sup> безделушки (франц. colifichet).

из соседней комнаты растворилась и на пороге появилась молодая, красивая дама в белом шелковом платье, с черными кружевами, в бриллиантах на руках и на шее — сама Марья Николаевна Полозова. Ее густые русые волосы падали с обеих сторон головы — заплетенными, но не подобранными косами.

#### XXXIV

— Ах, извините! — проговорила она с полусмущенной, полунасмешливой улыбкой, мгновенно прихватив рукою конец одной косы и вперив на Санина свои большие серые светлые глаза. — Я не думала, что вы уже пришли.

— Санин, Дмитрий Павлович, приятель мой с детства, — промолвил Полозов, по-прежнему не оборачиваясь к нему и не вставая, но указывая на него пальцем.

— Да... знаю... Ты мне уже сказывал. Очень рада познакомиться. Но я хотела было попросить тебя, Ипполит Сидорыч... Моя горничная сегодня какая-то бестолковая...

— Волосы тебе убрать?

— Да, да, пожалуйста. Извините, — повторила Марья Николаевна с прежней улыбкой, кивнула головою Санину и, быстро повернувшись, скрылась за дверью, оставив за собою мимолетное, но стройное впечатление прелестной шеи, удивительных плеч, удивительного стана.

Полозов встал и, тяжело переваливаясь, ушел в ту же дверь.

Санин ни одной секунды не сомневался в том, что присутствие его в салоне «князя Полозова» было как нельзя лучше известно самой хозяйке; весь форс состоял в том, чтобы показать свои волосы, которые были точно хороши. Санин внутренне даже порадовался этой выходке г-жи Полозовой: коли, мол, захотели меня поразить, блеснуть передо мною — может быть, как знать? и насчет цены на имение окажут податливость. Его душа до того была наполнена Джеммой, что все другие женщины уже не имели для него никакого значения: он едва замечал их; и на этот раз он ограничился только тем, что подумал: «Да, правду говорили мне: эта барыня хоть куда!»

А будь он не в таком исключительном душевном состоянии, он бы, вероятно, иначе выразился: Мария Николаевна Полозова, урожденная Колышкина, была чистейшая замечательная особа. И не то, чтобы отъявленная красавица: в ней довольно явственно сказывались

следы ее плебейского происхождения. Лоб у ней был низкий, нос несколько мясистый и вздернутый; ни тонкостью кожи, ни изяществом рук и ног она похвалиться не могла — но что всё это значило? Не перед «святыней красоты», говоря словами Пушкина, остановился бы всякий, кто бы встретился с нею, но перед обаянием мощного, не то русского, не то цыганского, цветущего женского тела... и не невольно остановился бы он!

Но образ Джеммы охранял Санина, как та тройная броня, о которой поют стихотворцы.

Минут десять спустя Марья Николаевна появилась опять в сопровождении своего супруга. Она подошла к Санину... а походка у ней была такая, что иные чудაკи в те, увь! уже далекие времена — от одной этой походки с ума сходили. «Эта женщина, когда идет к тебе, точно всё счастье твоей жизни тебе навстречу несет», — говаривал один из них. Она подошла к Санину — и, протянув ему руку, промолвила своим ласковым и как бы сдержанным голосом по-русски: «Вы меня дождетесь, не правда? Я вернусь скоро».

Санин наклонился почтительно, а Марья Николаевна уже исчезала за портьерой выходной двери — и, исчезая, опять повернула голову назад через плечо, и опять улыбнулась, и опять оставила за собою прежнее, стройное впечатление.

Когда она улыбалась — не одна и не две, а целых три ямочки обозначались на каждой щеке, и ее глаза улыбались больше, чем губы, чем ее алые, длинные, вкусные губы, с двумя крошечными родинками на левой их стороне.

Полозов ввалился в комнату и опять поместился на кресле. Безмолвствовал он по-прежнему; но странная усмешка от времени до времени пучила его бесцветные и уже сморщенные щеки.

Он был старообразен, хотя всего тремя годами старше Санина.

Обед, которым он попотчевал своего гостя, конечно, удовлетворил бы самого взыскательного гастронома, но Санину он показался бесконечным, несносным! Полозов ел медленно, «с чувством, с толком, с расстановкой», внимательно наклоняясь над тарелкой, нюхая чуть не каждый кусок; сперва пополощет себе рот вином, потом уже проглотит и губами пошлепает... А за жарким он вдруг разговорился — но о чем? О меринсах, которых намеревался выписать целое стадо, да так подробно, с такой нежностью,





употребляя всё уменьшительные имена. Выпив чашку горячего, как кипятка, кофе (он несколько раз, слезливо-раздраженным голосом, напомнил кельнеру, что накануне ему подали кофе — холодный, холодный, как лед!) и прикусив гаванскую сигару своими желтыми кривыми зубами, он по обычаю своему задремал, к великой радости Санина, который начал ходить взад и вперед, неслышными шагами, по мягкому ковру, и мечтал о том, как он будет жить с Джеммой и с каким известием вернется к ней. Однако Полозов проснулся, по собственному замечанию, раньше обыкновенного, — он поспал всего полтора часика и, выпив стакан зельтерской воды со льдом да проглотив ложек с восемь варенья, русского варенья, которое принес ему камердьер в темно-зеленой, настоящей «киевской» банке и без которого он, по его словам, жить не мог, — он устался припухшими глазами на Санина и спросил его, не хочет ли он поиграть с ним в дурачки. Санин охотно согласился: он боялся, как бы Полозов опять не заговорил о барашках, да о ярочках, да о курдючках с жирком. Хозяин и гость, оба перешли в гостиную, кельнер принес карты — и началась игра, разумеется, не на деньги.

За этим невинным занятием застала их Марья Николаевна, вернувшись от графини Ласунской.

Она громко рассмеялась, как только вошла в комнату и увидела карты и раскрытый ломберный стол. Санин вскочил с места, но она воскликнула:

— Сидите играйте. Я сейчас переоденусь и к вам вернусь, — и опять исчезла, прошумев платьем и сдергивая перчатки на ходу.

Она точно вернулась очень скоро. Свое нарядное платье она заменила широкой шелковой блузой лилового цвета с открытыми висячими рукавами; толстый крученный шнурок перехватывал ее талию. Она под села к мужу и, дождавшись, что он остался в дураках, сказала ему: «Ну, пышка, довольно! (при слове «пышка» Санин с изумлением глянул на нее, а она весело улыбнулась, отвечая взглядом на его взгляд и выказывая все свои ямочки на щеках) — довольно; я вижу, ты спать хочешь; целуй ручку и отправляйся; а мы с г-м Саниным побеседуем вдвоем».

— Спать я не хочу, — промолвил Полозов, грузно поднимаясь с кресла, — а отправиться отправлюсь и ручку поцелую. — Она подставила ему свою ладонь,

не переставая улыбаться и глядеть на Санина.

Полозов тоже глянул на него и ушел не протрившись.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте, — с живостью проговорила Марья Николаевна, разом ставя оба обнаженные локтя на стол и нетерпеливо постукивая ногтями одной руки о ногти другой. — Правда, вы, говорят, женитесь?

Сказав эти слова, Марья Николаевна даже голову немножко набок нагнула, чтобы пристальнее и пронзительнее взглянуть Санину в глаза.

### XXXV

Развязное обхождение г-жи Полозовой, вероятно, на первых порах смутило бы Санина — хотя он новичком не был и уже потерялся между людьми, — если бы в самой этой развязности и фамилиарности он опять-таки не увидел хорошего предзнаменования для своего предприятия. «Будем потакать капризам этой богатой барыни», — решил он про себя — и так же непринужденно, как она его спрашивала, ответил ей:

— Да, я женюсь.

— На ком? На иностранке?

— Да.

— Вы недавно с ней познакомились? Во Франкфурте?

— Точно так.

— И кто она такая? Можно узнать?

— Можно. Она дочь кондитера.

Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла брови.

— Да ведь это прелесть, — проговорила она медлительным голосом, — это чудо! Я уже полагала, что таких молодых людей, как вы, на свете больше не встречается. Дочь кондитера!

— Вас это, я вижу, удивляет, — заметил не без достоинства Санин, — но, во-первых, у меня вовсе нет тех предрассудков...

— Во-первых, это меня несколько не удивляет, — перебила Марья Николаевна, — предрассудков и у меня нет. Я сама дочь мужика. А? что, взяли? Меня удивляет и радует то, что вот человек не боится любить. Ведь вы ее любите?

— Да.

— Она очень хороша собою?

Санина слегка покорибило от этого последнего вопроса... Однако отступить уже не приходилось.

— Вы знаете, Марья Николаевна, — начал он, — всякому человеку лицо его возлюбленной кажется лучше всех дру-



гих: но моя невеста — действительно красавица.

— В самом деле? В каком роде? итальянском? античном?

— Да; у ней очень правильные черты.

— С вами нет ее портрета?

— Нет. (В то время о фотографиях еще помину не было. Дагерротипы едва стали распространяться.)

— Как ее зовут.

— Ее имя — Джемма.

— А ваше — как?

— Дмитрий.

— По отчеству?

— Павлович.

— Знаете что, — проговорила Марья Николаевна всё тем же медлительным голосом, — вы мне очень нравитесь, Дмитрий Павлович. Вы, должно быть, хороший человек. Дайте-ка мне вашу руку. Будемте приятелями.

Она крепко пожала его руку своими красивыми, белыми, сильными пальцами. Ее рука была немногим меньше его руки — но гораздо теплей и глаже, и мягче, и жизненней.

— Только знаете, что мне приходит в голову?

— Что?

— Вы не рассердитесь? Нет? Она, вы говорите, ваша невеста. Но разве... разве это непременно было нужно?

Санин нахмурился.

— Я вас не понимаю, Марья Николаевна.

Марья Николаевна засмеялась тихохонько и, встряхнув головою, откинула назад падавшие ей на щеки волосы.

— Решительно — он прелесть, — промолвила она не то задумчиво, не то рассеянно. — Рыцари! Подите верьте после этого людям, которые утверждают, что идеалисты все перевелись!

Марья Николаевна всё время говорила по-русски удивительно чистым, прямо московским языком — народного, не дворянского пошиба.

— Вы, наверное, дома воспитывались, в старозаветном, богобоязненном семействе? — спросила она. — Вы какой губернии?

— Тульской.

— Ну, так мы однокорытники. Мой отец... Ведь вам известно, кто был мой отец?

— Да известно.

— Он в Туле родился... Туляк был. Ну, хорошо... (Это «хорошо» Марья Николаевна уже с намерением выговорила совсем по-мецанскому — вот так:



хершбоо.) Ну давайте же теперь за дело примемся.

— То есть... как же это так за дело приняться? Что вам угодно этим сказать?

Марья Николаевна прищурилась.

— Да вы зачем сюда приехали? (Когда она щурила глаза, выражение их становилось очень ласковым и немного насмешливым; когда же она раскрывала их во всю величину — в их светлом, почти холодном блеске проступало что-то недоброе... что-то угрожающее. Особенную красоту придавали ее глазам ее брови, густые, немного надвинутые, настоящие соболиные.) Вы хотите, чтобы я у вас ку-



пила именьи? Вам нужны деньги для вашего бракосочетания? Не так ли?

— Да, нужны.

— И много вам их требуется?

— На первый случай я бы удовольствовался несколькими тысячами франков. Вашему супругу мое именьи известно. Вы можете посоветоваться с ним, — а я бы взяла цену недорогого.

Марья Николаевна повела головою направо и налево.

— Во-первых, — начала она с расстановкой, ударяя концами пальцев по обшлагу санинского сюртука, — я не имею привычки советоваться с мужем, разве вот насчет туалета — он на это у меня молодец; а во-вторых, зачем вы говорите, что вы цену назначите недорогого? Я не хочу воспользоваться тем, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякие жертвы... Я никаких жертв от вас не приму. Как? Вместо того чтобы поощрять в вас... ну, как бы это сказать получше?... благородные чувства, что ли? я вас стану обдирать как липку? Это не в моих привычках. Когда случится, я людей не щажу — только не таким манером.

Санин никак не мог понять, что она — смеется ли над ним, или говорит серьезно? а только думал про себя: «О, да с тобой держи ухо востро!»

Слуга вошел с русским самоваром, чайным прибором, сливками, сухарями и т. п. на большом подносе, расставил всю эту благодать на столе между Санниным и г-жою Полозовой — и удалился.

Она налила ему чашку чаю.

— Вы не брезгаете? — спросила она, накладывая ему сахар в чашку пальцами... а щипчики лежали тут же.

— Помилуйте!.. От такой прекрасной руки...

Он не закончил фразы и чуть не поперхнулся глотком чаю, а она внимательно и ясно глядела на него.

— Я потому упомянул о недорогой цене моего именьи, — продолжал он, — что так как вы теперь находите за границей, то я не могу предполагать у вас много свободных денег и наконец я сам чувствую, что продажа... или покупка именьи при подобных условиях есть нечто ненормальное, и я должен взять это в соображение.

Санин путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядела на него тем же внимательным и ясным взглядом. Он наконец умолк.

— Ничего, говорите, говорите, — промолвила она, как бы приходя ему на

помощь, — я вас слушаю — мне приятно вас слушать; говорите.

Санин принялся описывать свое именьи, сколько в нем десятин, и где он находится, и каковы в нем хозяйственные угодья, и какие можно извлечь из него выгоды... упомянул даже о живописном местоположении усадьбы; а Марья Николаевна всё глядела да глядела на него — всё светлее и пристальнее, и губы чуть-чуть двигались, без улыбки: он покусывала их. Ему стало неловко наконец; он замолчал вторично.

— Дмитрий Павлович, — начала Марья Николаевна и задумалась... — Дмитрий Павлович, — повторила она... Знаете что: я уверена, что покупка вашего именьи — очень выгодная для меня афера и что мы сойдемся; но вы должны мне дать... два дня — да, два дня срок. Ведь вы в состоянии на два дня расстаться с вашей невестой? Дольше я вас не придержу, против вашей воли — даю честное слово. Но если вам нужны теперь же пять, шесть тысяч франков я с великим удовольствием готова предложить вам их займы — а там мы счтемся.

Санин поднялся.

— Я должен благодарить вас, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человеку, почти совсем вам незнакомому... Но если же вам непременно так угодно, то предпочту дожидаться вашего решения насчет моего именьи — останусь здесь два дня.

— Да; мне так угодно, Дмитрий Павлович. А вам будет очень тяжело? Очень Скажите.

— Я люблю свою невесту, Марья Николаевна, и разлука с ней мне не легка.

— Ах, вы золотой человек! — со вздохом промолвила Марья Николаевна. Обещаюсь не слишком томить вас. Ну уходят?

— Уже поздно, — заметил Санин.

— А вам надо отдохнуть от дороги и от игры в дурачки с моим мужем. Скажите — вы Ипполиту Сидорычу, моему мужу, большой приятель?

— Мы воспитывались в одном пансионе.

— И он уже тогда был такой?

— Какой «такой»? — спросил Санин.

Марья Николаевна вдруг засмеялась, засмеялась до красноты всего лица, понесла платок к губам, встала с кресла, покачиваясь, как усталая, подошла к Саннину и протянула ему руку.

Он раскланялся и направился к двери.



— Извольте завтра пораньше явиться-слышите? крикнула она ему лед.

Он глянул назад, уходя из комнаты, увидел, что она опять опустилась в кресло и закинула обе руки за голову. Широкие рукава блузы скатились почти самых плеч — и нельзя было не сойти, что поза этих рук, что вся эта фигура была обаятельно прекрасна.

### XXXVI

Далеко за полночь горела лампа в мнате Санина. Он сидел за столом и пил «своей Джемме». Рассказал ей всё; рассказал ей Полозовых, мужа и жену —

впрочем, больше распространялся насчет собственных чувств — и кончил тем, что назначил ей свидание через три дня!!! (с тремя восклицательными знаками). Утром рано он отнес это письмо на почту и пошел прогуляться по саду Кургауза, где уже играла музыка. Народу было еще мало; он постоял перед беседкой, в которой помещался оркестр, прослушал по-турки из «Роберта-Дьявола» и, напившись кофе, отправился в боковую, уединенную аллею, присел на лавочку — и задумался.

Ручка зонтика проворно — и довольно крепко — постучала по его плечу. Он встрепенулся... Перед ним, в легком, серозеленом баржевом платье, в белой тюлевой шляпке, в шведских перчатках, свежая и розовая, как летнее утро, но с не исчезнувшей еще негой безмятежного сна в движениях и во взорах, стояла Марья Николаевна.

— Здравствуйте, — промолвила она. — Я сегодня послала за вами, да вы уже ушли. Я только что отпила свой второй стакан — меня, вы знаете, заставляют здесь воду пить, бог ведает зачем... уж я ли не здорова? И вот я должна гулять целый час. Хотите вы быть моим спутником? А там мы кофе напьемся.

— Я уже пил, — промолвил Санин, вставая, — но я очень рад гулять с вами.

— Ну так дайте же мне вашу руку... Не бойтесь: вашей невесты здесь нет — она вас не увидит.

Санин принужденно улыбнулся. Он испытывал ощущение неприятное всякий раз, когда Марья Николаевна упоминала о Джемме. Однако он поспешно и послушно наклонился... Рука Марьи Николаевны медленно и мягко опустилась на его руку, и скользнула по ней, и как бы прильнула к ней.

— Пойдемте — вот сюда, — сказала она ему, закинув раскрытый зонтик за плечо. — Я в здешнем парке как дома: поведу вас по хорошим местам. И знаете что (она часто употребляла эти два слова): мы с вами не будем говорить теперь об этой покупке; мы о ней после завтрака хорошенько потолкуем; а вы должны мне теперь рассказать о себе... чтобы я знала, с кем я имею дело. А после, если хотите, я вам о себе порасскажу. Согласны?

— Но, Марья Николаевна, что может быть для вас интересного...

— Постояйте, постояйте. Вы не так меня поняли. Я с вами не кокетничать хочу. — Марья Николаевна пожала плечами. — У него невеста, как древняя статуя, а я

буду с ним кокетничать?! Но у вас товар — а я купец. Я и хочу знать, каков у вас товар. Ну-ка, показывайте — каков он? Я хочу знать не только, что я покупаю, но и у кого я покупаю. Это было правило моего батюшки. Ну, начинайте... Ну, хоть не с детства — ну вот — давно ли вы за границей? И где вы были до сих пор? Только идите тише — нам некуда спешить.

— Я сюда прибыл из Италии, где я пробыл несколько месяцев.

— А у вас, видно, особое влечение ко всему итальянскому? Странно, что вы не там нашли свой предмет. Вы любите художества? Картины? или больше — музыку?

— Я люблю искусство... Я всё прекрасное люблю.

— И музыку?

— И музыку тоже.

— А я ее совсем не люблю. Нравятся мне одни русские песни — и то в деревне, и то весной — с пляской, знаете... Красные кумачи, подпизи, на выгоне молоденькая травка, дымком пахнет... чудесно! Но не обо мне речь. Говорите же, рассказывайте.

Марья Николаевна сама шла, а сама то и дело взглядывала на Санина. Она была высокого роста — ее лицо приходилось почти в уровень с его лицом.

Он принялся рассказывать — сначала неохотно, неумело, а потом разговорился, разболтался даже. Марья Николаевна очень умно слушала; да к тому же она сама казалась до того откровенной, что невольно и других вызывала на откровенность. Она обладала тем великим даром «обиходности» — *le terrible don de la familiarité*, о котором упоминает кардинал Ретц. Санин говорил о своих путешествиях, о житье в Петербурге, о своей молодости... Будь Марья Николаевна светской дамой, с утонченными манерами — он никогда бы так не распустился; но она сама называла себя добрым мальым, не терпящим никаких церемоний; она именно так отрекомендовала себя Санину. И в то же время этот «добрый мальый» шел рядом с ним кошачьей походкой, слегка прислоняясь к нему, и заглядывал ему в лицо; и шел он в образе молодого женского существа, от которого так и веяло тем разбирающим и томящим, тихим и жгучим соблазном, каким способны донимать нашего брата — грешного, слабого мужчину, одни — и то некоторые и то не чистые, а с надлежащей помесью — славянские натуры!

Прогулка Санина с Марьей Никола-

евной, беседа Санина с Марьей Николаевной продолжалась час с лишком. И ни разу они не останавливались — всё шли да шли по бесконечным аллеям парка, то поднимаясь в гору и на ходу любуясь видом, то спускаясь в долину и укрываясь в непроницаемую тень — и всё рука с рукой. Временами Санину даже досадно становилось: он с Джеммой, с своей милой Джеммой никогда так долго не гулял... а тут эта барыня завладела им — и баста!

— Не устали ли вы? — спрашивал он ее не однажды.

— Я никогда не устаю, — отвечала она.

Издредка им попадались гуляющие; почти все ей кланялись — иные почтительно, другие даже подобострастно. Одному из них, весьма красивому, щегольски одетому бронеу она крикнула издали, с самым лучшим парижским акцентом: «Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir — ni aujourd'hui, ni demain»<sup>1</sup>. Тот снял молча шляпу и отвесил низкий поклон.

— Кто это? — спросил Санин, по дурной привычке «любопытствовать», свойственной всем русским.

— Это? Один французик — их здесь много вертится... За мной ухаживает — тоже. Однако пора кофе пить. Пойдемте домой; вы, чай, успели проголодаться. Мой благоверный, должно быть, теперь глаза продрал.

«Благоверный! Глаза продрал!» — повторил про себя Санин... «И говорит так отлично по-французски... Что за чудачка!»

Марья Николаевна не ошиблась. Когда она вместе с Санниным вернулась в гостиницу — «благоверный», или «пышка», сидел уже, с неизменной феской на голове, перед накрытым столом.

— А я тебя прождался! — воскликнул он, скорчив кислую мину. — Хотел уже кофе без тебя пить.

— Ничего, ничего, — весело возразила Марья Николаевна. — Ты сердился? Это тебе здорово: а то ты совсем застынешь. Я вот гостя привела. Звони скорее! Давайте пить кофе, кофе — самый лучший кофе — в саксонских чашках, на белоснежной скатерти!

Она скинула шляпу, перчатки — и залопала в ладоши.

<sup>1</sup> «Знаете, граф, ни сегодня, ни завтра ко мне нельзя приходиться» (франц.).



Полозов глянул на нее исподлобья.

— Что это вы сегодня так рассказали, Марья Николаевна? — проговорил он вполголоса.

— А не ваше дело, Ипполит Сидорыч! Звони! Дмитрий Павлович, садитесь — и пейте кофе во второй раз! Ах, как весело приказывать! Другого удовольствия на свете нет!

— Когда слушаются, — проворчал опять супруг.

— Именно, когда слушаются! Оттого-то мне и весело. Особенно с тобою. Не правда ли, пышка? А вот и кофе.

На громадном подносе, с которым появился кельнер, находилась также и театральная афишка. Марья Николаевна тотчас ухватилась за нее.

— Драма! — произнесла она с негодованием, — немецкая драма. Всё равно: лучше, чем немецкая комедия. Велите мне взять ложу — бенуар — или нет... лучше Fremden-Loge<sup>1</sup>, — обратилась она к кельнеру. — Слышите ли: непременно Fremden-Loge!

— Но если Fremden-Loge уже взята его превосходительством, директором города (seine Excellenz der Herr Stadt-Director), — осмелился доложить кельнер.

— Дайте его превосходительству десять талеров, — а чтоб ложа у меня была! Слышите!

Кельнер покорно и печально наклонил голову.

— Дмитрий Павлович, вы поедете со мной в театр? немецкие актеры ужасны, но вы поедете... Да? Да! Какой вы любезный! Пышка, а ты не пойдешь?

— Как прикажешь, — проговорил Полозов в чашку, которую поднес ко рту.

— Знаешь что: останься. Ты в театре всё спишь — да и по-немецки ты понимаешь плохо. Ты лучше вот что сделай: напиши ответ управляющему — помнишь, насчет нашей мельницы... насчет крестьянского помолу. Скажи ему, что я не хочу, но хочу и не хочу! Вот тебе и занятие на целый вечер.

— Слушаю, — ответил Полозов.

— Ну, вот и прекрасно. Ты у меня умница. А теперь, господа, благо мы заговорили об управляющем, будемте толковать о главном нашем деле. Вот как только кельнер уберет со стола, вы нам всё расскажете, Дмитрий Павлович, о своем имении — как, что, за какую цену продаете, сколько хотите задатку вперед, — словом, всё! («Наконец-то, — подумал Са-

нин, — слава богу!») Вы уж мне кое-что сообщили, сад свой, помнится, чудесно описали, да «пышки» при этом не было... Пусть он послушает — всё что-нибудь пробуркнет! Мне очень приятно думать, что я могу помочь вам жениться, да я же обещала вам, что после завтрака займусь вами; а я всегда держу свои обещания; не правда ли, Ипполит Сидорыч?

Полозов потер себе лицо ладонью.

— Что правда, то правда, вы никого не обманываете.

— Никогда! И никогда никого не обману. Ну, Дмитрий Павлович, излагайте дело, как мы выражаемся в сенате.

### XXXVII

Санин принялся «излагать дело», то есть опять, во второй раз, описывать свое имение, но уже не касаясь красот природы и от времени до времени ссылаясь на Полозова, для подтверждения приводимых «фактов и цифр». Но Полозов только хмыкал и головой покачивал — одобрительно ли, или неодобрительно — этого, кажется, сам чёрт бы не разобрал. Впрочем, Марья Николаевна и не нуждалась в его участии. Она выказывала такие коммерческие и административные способности, что оставалось только изумляться! Вся подноготная хозяйства была ей отлично известна; она обо всем аккуратно спрашивала, во всё входила; каждое ее слово попадало в цель, ставило точку прямо на *i*. Санин не ожидал подобного экзамена: он не приготовился. И продолжался этот экзамен целых полтора часа. Санин испытывал все ощущения подсудимого, сидящего на узенькой скамеечке перед строгим и пронизательным судьей. «Да это допрос!» — тоскливо шептал он про себя. Марья Николаевна всё время посмеивалась, словно шутила, но от этого Санину не было легче; а когда в течение «допроса» оказалось, что он не совсем ясно понимал значение слов: «передел» и «запашка» — так его даже пот прошиб.

— Ну, хорошо! — решила наконец Марья Николаевна. — Ваше имение я теперь знаю... не хуже вас. Какую же цену вы положите за душу? (В то время цены имениям, как известно, определялись по душам.)

— Да... я полагаю... меньше пятисот рублей взять нельзя, — с трудом проговорил Санин. (О, Панталеоне, Панталеоне, где ты? Вот бы когда тебе пришлось снова воскликнуть: Barbari!)

Марья Николаевна взвела глаза к небу, как бы соображая.

<sup>1</sup> ложу для иностранцев (нем.).

— Что ж? — промолвила она наконец. — Эта цена мне кажется безобидной. Но я выговорила себе два дня срока — и вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдемся, и тогда вы скажете, сколько вам потребуется задатку. А теперь *basta cos!*<sup>1</sup> — подхватила она, заметив, что Санин хотел что-то возразить. — Довольно мы занимались презренным металлом... *à demain les affaires!*<sup>2</sup> Знаете что: я теперь отпускаю вас (она глянула на эмалевые часики, заткнутые у ней за поясом)... до трех часов... Надо ж дать вам отдохнуть. Ступайте поиграйте в рулетку.

— Я никогда в азартные игры не играю, — заметил Санин.

— В самом деле? Да вы совершенство. Впрочем, и я не играю. Глупо бросать деньги на ветер — наверняка. Но подите в игорную залу, посмотрите на физиономии. Попадают презабавные. Старуха есть там одна, с фероньеркой и с усами — чудо! Наш князь там один — тоже хорош. Фигура величественная, нос как у орла, а поставит талер — и крестится украдкой под жилеткой. Читайте журналы, гуляйте, — словом, делайте что хотите... А в три часа я вас ожидаю... *de pied ferme*<sup>3</sup>. Надо будет пораньше пообедать. Театр у этих смешных немцев начинается в половине седьмого. — Она протянула руку. — *Sans gaucule, n'est-ce pas?*<sup>4</sup>

— Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на вас досадовать?

— А за то, что я вас мучила. Погодите, я вас еще не так, — прибавила она, прищурив глаза, и все ее ямочки разом выступили на заалевших щеках. — До свидания!

Санин поклонился и вышел. Веселый смех раздался вслед за ним — и в зеркале, мимо которого он проходил в это мгновенье, отразилась следующая сцена: Марья Николаевна надвинула своему супругу его феску на глаза, а он бессильно барахтался обеими руками.

### XXXVIII

О, как глубоко и радостно вздохнулось Санину, как только он очутился у себя в комнате! Точно: Марья Николаевна правду сказала — ему следовало отдох-

нуть, отдохнуть от всех этих новых знакомств, столкновений, разговоров, от этого чада, который забрался ему в голову, в душу — от этого негаданного, непрошенного сближения с женщиной, столь чуждой ему! И когда же всё это совершается? Чуть не на другой день после того, как он узнал, что Джемма его любит, как он стал ее женихом! Да ведь это святотатство! Тысячу раз просил он мысленно прощенья у своей чистой, непорочной голубицы, хотя он собственно ни в чем обвинить себя не мог; тысячу раз целовал данный ею крестик. Не имея он надежды скоро и благополучно окончить дело, за которым приехал в Висбаден, опрометью бросился бы он оттуда назад — в милый Франкфурт, в тот дорогой, теперь уже родственник ему дом, к ней, к возлюбленным ее ногам... Но делать нечего! Надо испытать фиал до дна, надо одеться, идти обедать — а оттуда в театр... Хоть бы завтра она его поскорей отпустила!

Еще одно его смущало, его сердило: он с любовью, с умилением, с благодарным восторгом думал о Джемме, о жизни с нею вдвоем, о счастье, которое его ожидало в будущем, — и между тем эта странная женщина, эта госпожа Полозова неотступно носилась... нет! не носилась — торчала... так именно, с особым злорадством выразился Санин — торчала перед его глазами, — и не мог он отделаться от ее образа, не мог не слышать ее голоса, не вспоминать ее речей, не мог не ощущать даже того особенного запаха, тонкого свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым веяло от ее одежды. Эта барыня явно дурачит его, и так и сяк к нему подъезжает... Зачем это? что ей надо? Неужели же это одна прихоть избалованной, богатой и едва ли не безответственной женщины? И этот муж?! Что это за существо? Какие его отношения к ней? И к чему лезут эти вопросы в голову ему, Санину, которому собственно нет никакого дела ни до г-на Полозова ни до его супруги? Почему не может он прогнать этот неотвязный образ даже тогда, когда обращается всей душою к другому, светлому и ясному, как божий день. Как смеют — сквозь те, почти божественные черты — сквозить эти? И они не только сквозят — они ухмыляются дерзостно. Эти серые хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти змеевидные косы — да неужели же это всё словно прилипло к нему и он стряхнуть, отбросить прочь всё это не в силах, не может?

Вздор! вздор! Завтра же это всё исчез-

<sup>1</sup> Довольно! (итал.).

<sup>2</sup> Дела на завтра! (франц.).

<sup>3</sup> непременно (франц.).

<sup>4</sup> Забудем старые обиды, не правда ли? (франц.).

нет без следа... Но отпустит ли она его завтра?

Да... Все эти вопросы он себе ставил, а стало время пододвигаться к трем часам — и надел он черный фрак да, погулявши немного по парку, отправился к Полозовым.

Он застал у них в гостиной секретаря посольства из немцев, длинного-длинного, белокурого, с лошадиным профилем и пробором сзади (тогда это было еще внове) и... о чудо! кого еще? Фон Дёнгофа, того самого офицера, с которым дрался несколько дней тому назад! Он никак не ожидал встретить его именно тут — и невольно смутился, однако раскланялся с ним.

— Вы знакомы? — спросила Марья Николаевна, от которой не ускользнуло смущение Санина.

— Да... я имел уже честь, — промолвил Дёнгоф и, наклонившись слегка в сторону Марьи Николаевны, прибавил вполголоса, с улыбкой: — Тот самый... Ваш соотечественник... русский...

— Не может быть! — воскликнула она также вполголоса, погрозила ему пальцем и тотчас же стала прощаться — и с ним и с длинным секретарем, который, по всем признакам, был смертельно в нее влюблен, ибо даже рот раскрывал всякий раз, когда на нее взглядывал. Дёнгоф удалился немедленно, с любезной покорностью, как друг дома, который с полуслова понимает, чего от него требуют; секретарь заартачился было, но Марья Николаевна выпроводила его без всяких церемоний.

— Ступайте к вашей владетельной особе, — сказала она ему (тогда в Висбадене проживала некая принципесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую лоретку), — что вам сидеть у такой плебейки, как я?

— Помилуйте, сударыня, — уверял злополучный секретарь, — все принципессы в мире...

Но Марья Николаевна была безжалостна — и секретарь ушел вместе со своим пробором.

Марья Николаевна в тот день принарядилась очень к своему «авантажу», как говорили наши бабушки. На ней было шелковое розовое платье глясэ, с рукавами à la Fontanges, и по крупному бриллианту в каждом ухе. Глаза ее блистали не хуже тех бриллиантов: она казалась в духе и в ударе.

Она усадила Санина возле себя и начала говорить ему о Париже, куда соби-

ралась ехать через несколько дней, о том, что немцы ей надоели, что они глупы, когда умничают, и некстати умны, когда глупят; да вдруг, как говорится, в упор — à brule pourpoint — спросила его, правда ли, что он вот с этим самым офицером, который сейчас тут сидел, на днях дрался из-за одной дамы?

— Вам это почему известно? — пробормотал изумленный Санин.

— Слухом земля полнится, Дмитрий Павлович; но, впрочем, я знаю, что вы были правы, тысячу раз правы — и вели себя как рыцарь. Скажите — эта дама была ваша невеста?

Санин слегка наморщил брови...

— Ну, не буду, не буду, — постешно проговорила Марья Николаевна. — Вам это неприятно, простите меня, не буду! не сердитесь! — Полозов появился из соседней комнаты с листом газеты в руках. — Что ты? или обед готов?

— Обед сейчас подают, а ты посмотри-ка, что я в «Северной пчеле» вычитал... Князь Громобой умер.

Марья Николаевна подняла голову.

— А! царство ему небесное! Он мне каждый год, — обратилась она к Санину, — в феврале, ко дню моего рождения, все комнаты убирал камелиями. Но для этого еще не стоит жить в Петербурге зимой. Что, ему, пожалуй, за семьдесят лет было? — спросила она мужа.

— Было. Похороны его в газете описывают. Весь двор присутствовал. Вот и стихи князя Коврижкина по этому случаю.

— Ну и чудесно.

— Хочешь, прочту? Князь его называет мужем совета.

— Нет, не хочу. Какой он был муж совета! Он просто был муж Татьяны Юрьевны. Пойдемте обедать. Живой живое думает. Дмитрий Павлович, вашу руку.

Обед был, по-вчерашнему, удивительный и прошел весьма оживленно. Марья Николаевна умела рассказывать... редкий дар в женщине, в выражениях; особенно доставалось от нее соотечественницам. Санину не раз пришлось расхохотаться от много бойкого и меткого словца. Пуще всего Марья Николаевна не терпела ханжества, фразы и лжи... Она находила ее почти повсюду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной средою, в которой началась ее жизнь; сообщала довольно странные анекдоты о своих родных из времени своего детства; называла себя лапотницей, не хуже Натальи Кирил-



ловны Нарышкиной. Санину стало очевидным, что она испытала на своем веку гораздо больше, чем многое множество ее сверстниц.

А Полозов кушал обдуманно, пил внимательно и только изредка вскидывал то на жену, то на Санина свои белесоватые, с виду слепые, в сущности очень зрячие глаза.

— Какой ты у меня умница! — воскликнула Марья Николаевна, обратившись к нему, — как ты все мои комиссии во Франкфурте исполнил! Поцеловала бы я тебя в лобик, да ты у меня за этим не гоняешься.

— Не гоняюсь, — отвечал Полозов и взрезал ананас серебряным ножом.

Марья Николаевна посмотрела на него и постучала пальцами по столу.

— Так идет наше пари? — промолвила она значительно.

— Идет.

— Ладно. Ты проиграешь.

Полозов выставил подбородок вперед.

— Ну, на этот раз, как ты на себя ни надейся, Марья Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.

— О чем пари? Можно узнать? — спросил Санин.

— Нет... нельзя теперь, — ответила Марья Николаевна — и засмеялась.

Пробило семь часов. Кельнер доложил, что карета готова. Полозов проводил жену и тотчас же поплелся назад к своему креслу.

— Смотри же! Не забудь письма к управляющему! — крикнула ему Марья Николаевна из передней.

— Напишу, не беспокойся. Я человек аккуратный.

### XXXIX

В 1840 году театр в Висбадене был и по наружности плох, а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутине, ни на волос не возвышалась над тем уровнем, который до сих пор можно считать нормальным для всех германских театров и совершенство которого в последнее время представляла труппа в Карлсруэ, под «знаменитым» управлением г-на Девриента. Позади ложи, взятой для «ее светлости г-жи фон Полозов» (бог ведает, как умудрился кельнер ее достать — не подкупил же он штатт-директора в самом деле!) — позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками; прежде чем войти в нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отделявшие ложу от театра.

— Я не хочу, чтобы меня видели, — сказала она, — а то ведь сейчас полезут.

Она и его посадила возле себя, спиной к зале, так, чтобы ложа казалась пустою.

Оркестр проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро»... Занавес поднялся: пьеса началась.

То было одно из многочисленных доморощенных произведений, в которых начитанные, но бездарные авторы отборным, но мертвенным языком, прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь «глубокую» или «животрепещущую» идею, представляли так называемый трагический конфликт и наводили скуку... азиатскую, как бывает азиатская холера. Марья Николаевна терпеливо выслушала половину акта, но когда первый любовник, узнав об измене своей возлюбленной (одет он был в коричневый сюртук с «буфами» и плисовым воротником, полосатый жилет с перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со штрипками из лакированной кожи и белые замшевые перчатки), когда этот любовник, уперев оба кулака в грудь и оттопырив локти вперед, под острым углом, завыл уже прямо по-собачьи — Марья Николаевна не выдержала.

— Последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость, — с негодованием воскликнула она и пересела в заднюю комнатку. — Подите сюда, — сказала она Санину, постучивая рукою возле себя по дивану. — Будемте болтать.

Санин повиновался.

Марья Николаевна глянула на него.

А вы, я вижу, шелковый! Вашей жене будет с вами легко. Этот шут, — продолжала она, указывая концом веера на завывавшего актера (он исполнял роль домашнего учителя), — напомнил мне мою молодость: я тоже была влюблена в учителя. Это была моя первая... нет, моя вторая пассия. В первый раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было двенадцать лет. Я видала его только по воскресеньям. Он носил бархатный подрясник, душился одеколоном, пробираясь в толпе с кадиллом, говорил дамам по-французски: «пардон, экскузё» — и никогда не поднимал глаз, а ресницы у него были вот какие! — Марья Николаевна отделила ногтем большого пальца целую половину своего мизинца и показала Санину. — Учителя моего звали — monsieur Gaston! Надо вам сказать, что он был ужасно ученый и престрогий человек, из швейцарцев — и с таким энергическим

лицом! Бакенбарды черные, как смоль, греческий профиль — и губы как из железа вылитые! Я его боялась! Я во всей моей жизни только одного этого человека и боялась. Он был гувернером моего брата, который потом умер... утонул. Одна цыганка и мне предсказала насильственную смерть, но это вздор. Я этому не верю. Представьте вы себе Ипполита Сидорыча с кинжалом?!

— Можно умереть и не от кинжала, — заметил Санин.

— Всё это вздор! Вы суеверны? Я — нисколько. А чему быть, того не миновать. Monsieur Gaston жил у нас в доме, над моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его шаги — он очень поздно ложился — и сердце замирает от благоговения... или от другого чувства. Мой отец сам едва разумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее. Знаете ли, что по-латыни понимаю?

— Вы? по-латыни?

— Да — я. Меня monsieur Gaston выучил. Я с ним «Энеиду» прочла. Скучная вещь, но есть места хорошие. Помните, когда Дидона с Энеем в лесу...

— Да, да, помню, — торопливо промолвил Санин. Сам он давным-давно всю свою латынь забыл и об «Энеиде» понятие имел слабое.

Марья Николаевна глянула на него, по своей привычке, несколько вбок и изпод низу.

— Вы не думайте, однако, что я очень учена. Ах, боже мой, нет — я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва умею... право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни рисовать, ни шить — ничего! Вот я какая — вся тут!

Она расставила руки.

— Я вам всё это рассказываю, — продолжала она, — во-первых, для того, чтобы не слушать этих дураков (она указала на сцену, где в это мгновение вместо актера подвывала актриса, тоже выставив локти вперед), а во-вторых, для того, что я перед вами в долгу: вы вчера мне про себя рассказывали.

— Вам угодно было спросить меня, — заметил Санин.

Марья Николаевна внезапно повернулась к нему.

— А вам не угодно знать, что собственно я за женщина? Впрочем, я не удивляюсь, — прибавила она, снова прислонясь к подушкам дивана. — Человек собирается жениться, да еще по любви, да после дуэли... Где ему помышлять о чем-нибудь другом?

Марья Николаевна задумалась и нача-



ла кусать ручку веера своими крупными, но ровными и, как молоко, белыми зубами.

А Санину казалось, что ему в голову опять стал подниматься тот чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день.

Разговор между им и Марьей Николаевной происходил вполголоса, почти шёпотом — и это еще более его раздражало и волновало его...

Когда же это всё кончится?

Слабые люди никогда сами не кончают — всё ждут конца.

На сцене кто-то чихал; чиханье это было введено автором в свою пьесу, как «комический момент» или «элемент»; другого комического элемента в ней уже, конечно, не было; и зрители удовлетворялись этим моментом, смеялись.

Этот смех также раздражал Санина.

Были минуты, когда он решительно не знал: что он — злится или радуется, скучает или веселится? О, если б Джемма его видела!

— Право, это странно,— заговорила вдруг Марья Николаевна.— Человек объявляет вам, и таким спокойным голосом: «Я, мол, намерен жениться»; а никто вам не скажет спокойно: «Я намерен в воду броситься». И между тем — какая разница? Странно, право.

Досада взяла Санина.

— Разница большая, Марья Николаевна! Иному броситься в воду вовсе не страшно: он плавать умеет; а сверх того... что касается до странности браков... уж коли на то пошло...

Он вдруг умолк и прикусил язык.

Марья Николаевна ударила себя веером по ладони.

— Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте — я знаю, что вы хотели сказать. «Уж коли на то пошло, милостивая государыня, Марья Николаевна Полозова,— хотели вы сказать,— страннее вашего брака ничего нельзя себе представить... ведь я вашего супруга знаю хорошо, с детства!» Вот что вы хотели сказать, вы, умеющий плавать!

— Позвольте,— начал было Санин...

— Разве это не правда? Разве не правда? — настойчиво произнесла Марья Николаевна.— Ну, посмотрите мне в лицо и скажите, что я неправду сказала!

Санин не знал, куда деть свои глаза.

— Ну, извольте: правда, коли вы уж этого непременно требуете,— проговорил он наконец.

Марья Николаевна покачала головою.

— Так... так.— Ну — и спрашивали вы себя, вы, умеющий плавать, какая может быть причина такого странного... поступка со стороны женщины, которая не бедна... и не глупа... и не дурна? Вас это не интересует, может быть; но всё равно. Я вам скажу причину не теперь, а вот как только кончится антракт. Я всё беспокоюсь, как бы кто-нибудь не зашел...

Не успела Марья Николаевна выговорить это последнее слово, как наружная дверь действительно растворилась наполовину — и в ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, с плоскими длинными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как у летучей мыши, с золотыми очками на любопытных и тупых глазенках, и с *pinse-nez* на очках. Голова осмотрелась, увидала Марью Николаевну, дрянно осклабилась, закивала... Жиллистая шея вытянулась вслед за нею...

Марья Николаевна замахала на нее платком.

— Меня дома нет! *Ich bin nicht zu Hause, Herr P...! Ich bin nicht zu Hause... Кшшш, кшшш!*

Голова изумилась, принужденно засмеялась, проговорила, словно всхлипывая, в подражание Листу, у ног которого когда-то пресмыкалась: *Sehr gut! sehr gut!*<sup>1</sup> — и исчезла.

— Это что за субъект? — спросил Санин.

— Это? Критик висбаденский. «Литтерат» или лон-лакей<sup>2</sup>, как угодно. Он нанят здешним откупщиком и потому обязан всё хвалить и всем восторгаться, а сам весь налит гаденькой желчью, которую даже выпускать не смеет. Я боюсь: он сплетник ужасный; сейчас побежит рассказывать, что я в театре. Ну, всё равно.

Оркестр проиграл вальс, занавес взвился опять... Поднялось опять на сцене кривлянье да хныканье.

— Ну-с,— начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диван,— так как вы попались и должны сидеть со мною, вместо того чтобы наслаждаться близостью вашей невесты... не вращайте глазами и не гневайтесь — я вас понимаю и уже обещала вам, что отпущу вас на все четыре стороны,— а теперь слушайте мою исповедь. Хотите знать, что я больше всего люблю?

— Свободу,— подсказал Санин.

<sup>1</sup> Очень хорошо! очень хорошо! (нем.)

<sup>2</sup> наемный лакей (нем.: Lohn-Lakai).



Марья Николаевна положила руку на его руку.

— Да, Дмитрий Павлович,— промолвила она, и голос ее прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью,— свободу, больше всего и прежде всего. И не думайте, чтоб я этим хвасталась — в этом нет ничего похвального,— только оно так, и всегда было и будет так для меня, до самой смерти моей. Я в детстве, должно быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него. Ну, и monsieur Gaston, мой учитель, глаза мне открыл. Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча; с ним я свободна, совершенно свободна, как воздух, как ветер... И это я знала перед свадьбой, я знала, что с ним я буду вольный казак!

Марья Николаевна помолчала и бросила веер в сторону.

— Скажу вам еще одно: я не прочь размышлять... оно весело, да и на то ум нам дан; но о последствиях того, что я сама делаю, я никогда не размышляю, и когда придется, не жалею себя — ни на это стою: не стоит. У меня есть поговорка: «Cela ne tire pas à conséquence»<sup>1</sup> — не знаю, как это сказать по-русски. Да и точно: что *tire à conséquence*? Ведь от меня отчета не потребуют *здесь*, на сей земле; а там (она подняла палецверху) — ну, там пусть распоряжаются, как знают. Когда меня будут там судить, то я не я буду! Вы слушаете меня? Вам не скучно?

Санин сидел наклонившись. Он поднял голову.

Мне вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я вас с любопытством. Только я... признаюсь... я спрашиваю себя, зачем вы это всё говорите мне?

Марья Николаевна слегка подвинулась на диване.

— Вы себя спрашиваете... Вы такой недогадливый? Или такой скромный?

Санин поднял голову еще выше.

— Я вам всё это говорю,— продолжала Марья Николаевна спокойным тоном, который, однако, не совсем соответствовал выражению ее лица,— потому что вы мне очень нравитесь; да, не удивляйтесь, я не шучу; потому, что после встречи с вами мне было бы неприятно думать, что вы сохраните обо мне воспоминание нехорошее... или даже неохо-

рошее, это мне всё равно, а неверное. Оттого-то я и залучила вас сюда, и остаюсь с вами наедине, и говорю с вами так откровенно... Да, да, откровенно. Я не лгу. И заметьте, Дмитрий Павлович, я знаю, что вы влюблены в другую, что вы собираетесь жениться на ней... Отдайте же справедливость моему бескорыстию! А впрочем, вот вам случай сказать в свою очередь: «Cela ne tire pas à conséquence!»

Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался — и она осталась неподвижной, как будто ее собственные слова ее самое поразили, а в глазах ее, в обычное время столь веселых и смелых, мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже на грусть.

«Змея! ах, она змея! — думал между тем Санин,— но какая красивая змея!»

Дайте мне мою лорнетку,— проговорила вдруг Марья Николаевна.— Мне хочется посмотреть: неужели эта *jeune ptemière* в самом деле так дурна собою? Право, можно подумать, что ее определило правительство с нравственной целью, чтобы молодые люди не слишком увлекались.

Санин подал ей лорнетку, а она, принимая ее от него, быстро, но чуть слышно, охватила обеими руками его руку.

— Не извольте серьезничать,— шепнула она с улыбкой.— Знаете что: на меня цепей наложить нельзя, но ведь и я не накладываю цепей. Я люблю свободу и не признаю обязанностей — не для себя одной. А теперь посторонитесь немножко и давайте послушаемте пьесу.

Марья Николаевна навела лорнетку на сцену — и Санин принялась глядеть туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ложи, и вдыхая, невольно вдыхая теплоту и благоговение ее роскошного тела и столь же невольно переворачивая в голове своей всё, что она ему сказала в течение вечера — особенно в течение последних минут.

## XL

Пьеса длилась еще час с лишком, но Марья Николаевна и Санин скоро перестали смотреть на сцену. У них снова завязался разговор, и пробирался он, разговор этот, по той же дорожке, как и прежде; только на этот раз Санин меньше молчал. Внутренно он и на себя сердился и на Марью Николаевну; он старался доказать ей всю неосновательность ее «теории», как будто ее занимали теории! Он стал с ней спорить, чему она втайне очень порадовалась: коли спорит, значит

<sup>1</sup> Это не влечет за собою никаких последствий! (франц.)

уступает или уступит. На прикормку пошел, подается, дичиться перестал! Она возражала, смеялась, соглашалась, задумывалась, нападала... а между тем его лицо и ее лицо сближались, его глаза уже не отворачивались от ее глаз... Эти глаза словно блуждали, словно кружили по его чертам, и он улыбался ей в ответ — учтиво, но улыбался. Ей на руку было уже и то, что он пускался в отвлеченности, рассуждал о честности взаимных отношений, о долге, о святости любви и брака... Известное дело: эти отвлеченности очень и очень годятся как начало... как исходная точка...

Люди, хорошо знавшие Марью Николаевну, уверяли, что когда во всем ее сильном и крепком существе внезапно проступало нечто нежное и скромное, что-то почти девически стыдливое — хотя, подумаешь, откуда оно бралось?.. — тогда... да, тогда дело принимало оборот опасный.

Оно, по-видимому, принимало этот оборот и для Санина... Презрение он бы почувствовал к себе, если б ему удалось хотя на миг сосредоточиться; но он не успевал ни сосредоточиться, ни презирать себя.

А она не теряла времени. И всё это происходило оттого, что он был очень недурен собою! Поневоле придется сказать: «Как знать, где найдешь, где потеряешь?»

Пьеса кончилась. Марья Николаевна попросила Санина накинуть на нее шаль и не шевелиться, пока он окутывал мягкой тканью ее поистине царственные плечи. Потом она взяла его под руку, вышла в коридор — и чуть не вскрикнула: у самой двери ложи, как некое привидение, торчал Дёнгоф; а из-за его спины выглядывала паскудная фигура висбаденского критика. Маслянистое лицо «литтерата» так и сияло злорадством.

— Не прикажете ли, сударыня, я вам отыщу вашу карету? — обратился к Марье Николаевне молодой офицер с трепетом худо сдержанного бешенства в голосе.

— Нет, благодарствуйте, — ответила она, — мой лакей ее найдет. — Оставайтесь! — прибавила она повелительным шепотом — и быстро удалилась, увлекая за собою Санина.

— Ступайте к чёрту! Что вы ко мне пристали? — гаркнул вдруг Дёнгоф на литтерата. Надо было ему на ком-нибудь сорвать свое сердце!

— Sehr gut! sehr gut! — пробормотал литтерат и стушевался.

Лакей Марья Николаевна, ожидавший ее в сенях, в мгновение ока отыскал ее карету — она проворно села в нее, за нею вскочил Санин. Дверцы захлопнулись — и Марья Николаевна разразилась смехом.

— Чему вы смеетесь? — полюбопытствовал Санин.

— Ах, извините меня, пожалуйста... но мне пришло в голову, что если Дёнгоф с вами опять будет стреляться... из-за меня... Не чудеса ли это?

— А вы с ним очень коротко знакомы? — спросил Санин.

— С ним? С этим мальчиком? Он у меня на побегушках. Вы не беспокойтесь!

— Да я и не беспокоюсь вовсе.

Марья Николаевна вздохнула.

Ах, я знаю, что вы не беспокоитесь. Но слушайте — знаете что: вы такой милый, вы не должны отказать мне в одной последней просьбе. Не забудьте: через три дня я уезжаю в Париж, а вы возвращаетесь во Франкфурт... Когда мы встретимся?

— Какая это просьба?

— Вы верхом, конечно, умеете ездить?

— Умею.

— Ну вот что. Завтра поутру я вас возьму с собою — и мы поедем вместе за город. У нас будут отличные лошади. Потом мы вернемся, дело покончим — и амины! Не удивляйтесь, не говорите мне, что это каприз, что я сумасшедшая — всё это может быть, — но скажите только: я согласен!

Марья Николаевна обернула к нему свое лицо. В карете было темно, но глаза ее сверкнули в самой этой темноте.

Извольте, я согласен, — промолвил Санин со вздохом.

— Ах! Вы вздохнули! — передразнила его Марья Николаевна. — Вот что значит: взялся за гуж — не говори, что не дюж. Но нет, нет... Вы — прелесть, вы хороший — а обещание я свое сдержу. Вот вам моя рука, без перчатки, правая, деловая. Возьмите ее и верьте ее пожатую. Что я за женщина, я не знаю; но человек я честный — и делё иметь со мною можно.

Санин, сам хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делает, поднес эту руку к своим губам. Марья Николаевна тихонько ее приняла и вдруг умолкла — и молчала, пока карета не остановилась.

Она стала выходить... Что это? показалось ли Санину, или он точно почувствовал на щеке своей какое-то быстрое и жгучее прикосновение?

«До завтра!» — шепнула Марья Николаевна ему на лестнице, вся освещенная



четырьмя свечами канделябра, ухваченного при ее появлении золотообрезным привратником. Она держала глаза опущенными. — «До завтра!»

Вернувшись к себе в комнату, Санин нашел на столе письмо от Джеммы. Он мгновенно... испугался — и тотчас же обрадовался, чтобы поскорей замаскировать перед самим собою свой испуг. Оно состояло из нескольких строк. Она радовалась благополучному «началу дела», советовала ему быть терпеливым и прибавляла, что все в доме здоровы и заранее радуются его возвращению. Санин нашел это письмо довольно сухим — однако

взял перо, бумагу... и всё бросил. «Что писать!? Завтра сам вернусь... пора, пора!»

Он немедленно лег в постель и постарался как можно скорее заснуть. Оставшись на ногах и бодрствуя, он наверное стал бы думать о Джемме — а ему было почему-то... стыдно думать о ней. Совесть шевелилась в нем. Но он успокаивал себя тем, что завтра всё будет навсегда кончено и он навсегда расстанется с этой взбалмошной барыней — и забудет всю эту чепуху!..

Слабые люди, говоря с самими собою, охотно употребляют энергические выражения.

Et puis... cela ne tire pas à conséquence!

## XLI

Вот что думал Санин, ложась спать; но что он подумал на следующий день, когда Марья Николаевна нетерпеливо постучала коралловой ручкой хлыстика в его дверь, когда он увидел ее на пороге своей комнаты — с шлейфом темно-синей амазонки на руке, с маленькой мужской шляпой на крупно заплетенных кудрях, с откиннутым на плечо вуалем, с вызывающей улыбкой на губах, в глазах, на всем лице, — что он подумал тогда — об этом молчит история.

— Ну? готовы? — прозвучал веселый голос.

Санин застегнул сюртук и молча взял шляпу. Марья Николаевна бросила на него светлый взгляд, кивнула головою и быстро побежала вниз по лестнице. И он побегал вслед за нею.

Лошади стояли уже на улице перед крыльцом. Их было три: золотисто-рыжая чистокровная кобыла с сухой, оскалистой мордой, черными глазами навывкате, с оленьими ногами, немного поджарая, но красивая и горячая как огонь — для Марьи Николаевны; могучий, широкий, несколько тяжелый конь, вороной, без отмет — для Санина; третья лошадь назначалась груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою кобылу... Та затопала ногами и завертелась, отделяя хвост и поджимая круп, но Марья Николаевна (отличная наездница!) удержала ее на месте: нужно было проститься с Полозовым, который, в неизменной своей феске и в шлафроке нараспашку, появился на балконе и махал оттуда батистовым платочком, нисколько, впрочем, не улыбаясь, а скорее хмурясь. Взобрался и Санин на своего коня; Марья Николаевна отсалютовала г-ну Полозову хлыстиком, потом ударила им свою лошадь по выгнутой



и плоской шее: та взвилась на дыбы, прыгнула вперед и пошла щепотким, укрощенным шагом, вздрагивая всеми жилками, собираясь на мундштуке, кусая воздух и порывисто фыркая. Санин ехал сзади и глядел на Марью Николаевну; самоуверенно, ловко и стройно покачивался ее тонкий и гибкий стан, тесно и вольно охваченный корсетом. Она обернула голову назад и подозвала его своими глазами. Он поравнялся с нею.

— Ну, вот видите, как хорошо,— сказала она. — Я вам говорю напоследях, перед разлукой: вы прелесть — и раскaiваться не будете.

Выговорив эти последние слова, она несколько раз повела головою сверху вниз, как бы желая подтвердить их и дать ему почувствовать их значение.

Она казалась до того счастливой, что Санин просто удивлялся; у нее на лице появилось даже то степенное выражение, какое бывает у детей, когда они очень... очень довольны.

Шагом доехали они до недалекой заставы, а там пустились крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо летняя; ветер струился им навстречу и приятно шумел и свистал в их ушах. Им было хорошо: сознание молодой, здоровой жизни, свободного, стремительного движения вперед охватывало их обоих; оно росло с каждым мигом.

Марья Николаевна осадила свою лошадь и опять поехала шагом; Санин последовал ее примеру.

— Вот,— начала она с глубоким, блаженным вздохом,— вот для этого только и стоит жить. Удалось тебе сделать, чего тебе хотелось, что казалось невозможным,— ну и пользуйся, душа, по самый край! — Она провела рукой себе по горлу поперек.— И каким добрым человек тогда себя чувствует! Вот теперь я... какая добрая! Кажется, весь свет бы обняла. То есть нет, не весь свет!.. Вот этого я бы не обняла.— Она указала хлыстиком на пробиравшегося сторонкой нищенски одетого старика.— Но осчастливить его я готова. Натe, возьмите,— крикнула она громко по-немецки и бросила к его ногам кошелек. Увесистый мешочек (тогда еще портмоне в помину не было) стукнул о дорогу. Прохожий изумился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь.

— Вам так весело верхом ездить? — спросил Санин, догнав ее.

Марья Николаевна опять разом осадила свою лошадь: она иначе ее не оставливали.

— Я хотела только уехать от благодарности. Кто меня благодарит — удовольствие мое портит. Ведь я не для него это сделала, а для себя. Как же он смеет меня благодарить? Я не расслышала, о чем вы меня спрашивали.

— Я спрашивал... я хотел знать, отчего вы сегодня так веселы?

— Знаете что,— промолвила Марья Николаевна: она либо опять не расслышала Санина, либо не почла за нужное отвечать на его вопрос.— Мне ужасно надоел этот грум, который торчит за нами и который, должно быть, только и думает о том, когда, мол, господа домой поедут? Как бы от него отделаться? — Она проворно достала из кармана записную книжечку.— Послать его с письмом в город? Нет... не годится. А! вот как! Это что такое впереди? Трактир?

Санин глянул, куда она указывала.

— Да, кажется, трактир.

— Ну и прекрасно. Я прикажу ему остаться в этом трактире — и пить пиво, пока мы вернемся.

— Да что он подумает?

— А нам что за дело! Да он и думать не будет; будет пить пиво — и только. Ну, Санин (она в первый раз назвала его по одной фамилии), — вперед, рысью!

Поравнявшись с трактиром, Марья Николаевна подозвала грума и сообщила ему, что она от него требовала. Грум, человек английского происхождения и английского темперамента, молча поднес руку к козырьку своей фуражки, соскочил с лошади и взял ее под уздцы.

— Ну, теперь мы — вольные птицы! — воскликнула Марья Николаевна.— Куда нам ехать — на север, на юг, на восток, на запад? Смотрите — я как венгерский король на коронации (она указала концом хлыста на все четыре стороны света). Всё наше! Нет, знаете что: видите, какие там славные горы — и какой лес! Поедемте туда, в горы, в горы!

In die Berge, wo die Freiheit thront! <sup>1</sup>

Она свернула с шоссе и поскакала по узкой, неторной дорожке, которая действительно как будто направлялась к горам. Санин поскакал за нею.

## XLII

Дорожка эта скоро превратилась в тропинку и наконец совсем исчезла, пересеченная канавой. Санин посоветовал вер-

<sup>1</sup> В горы, где царит свобода! (нем.)







человек, а хотите жениться на итальянке. Ну да это — ваша печаль. Это что? Опять канава? Гоп!

Лошадь перескочила — но шляпа упала с головы Марьи Николаевны, и кудри ее рассыпались по плечам. Санин хотел было слезть с коня и поднять шляпу, но она крикнула ему: «Не трогайте, я сама достану», нагнулась низко с седла, зацепила ручкой хлыста за вуаль и точно: достала шляпу, надела ее на голову, но волос не подобрала и опять помчалась, даже гикнула. Санин мчался с нею рядом, рядом с нею и перепрыгивал рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабкивался, неся под гору, неся в гору и всё глядел ей в лицо. Что за лицо! Всё оно словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные, светлые, дикие; губы, ноздри раскрыты тоже и дышат жадно; глядит она прямо, в упор перед собою, и, кажется, всем, что она видит, землею, небом, солнцем и самым воздухом хочет завладеть эта душа, и об одном только она и жалеет; опасностей мало — все бы их одолела! «Санин! — кричит она, — ведь это как в Бюргеровой „Леноре“! Только вы не мертвый — а? Не мертвый?.. Я живая!» Разыгрались удалые силы. Это уж не amazonка пускает коня в галоп — это скачет молодой женский кентавр, полузверь и полубог, и изумляется степенный и благовоспитанный край, попираемый ее буйным разгулом!

Марья Николаевна остановила наконец свою вспененную забрызганную лошадь: она шаталась под нею, а у могучего, но тязкого санинского жеребца прерывалось дыхание.

— Что? Любо? — спросила Марья Николаевна каким-то чудным шепотом.

— Любо! — восторженно отозвался Санин. И в нем кровь разгорелась.

— Постойте, то ли еще будет! — Она протянула руку. Перчатка на ней была разорвана.

— Я сказала, что приведу вас к лесу, к горам... Вот они, горы! — Точно: покрытые высоким лесом, зачинались горы шагах в двухстах от того места, куда вылетели лихие всадники. — Смотрите: вот и дорога. Оправимтесь — и вперед. Только шагом. Надо дать лошадям вздохнуть.

Они поехали. Одним сильным взмахом руки Марья Николаевна отбросила назад свои волосы. Посмотрела потом на свои перчатки — и сняла их.

— Руки будут кожей пахнуть, — сказала она, — да ведь это вам ничего? А?..

Марья Николаевна улыбалась, и Санин улыбался тоже. Эта бешеная скачка их

нуться, но Марья Николаевна сказала: «Нет! я хочу в горы! Поедем прямо, как летают птицы» — и заставила свою лошадь перескочить канаву. Санин тоже перескочил. За канавой начинался луг, сперва сухой, потом влажный, потом уже совсем болотистый: вода просачивалась везде, стояла лужицами. Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этим лужицам, хохотала и твердила: «Давайте школьничать!»

— Вы знаете, — спросила она Санина, — что значит: охотиться по брызгам? — Знаю, — отвечал Санин.

— У меня дядя был псовый охотник, — продолжала она. — Я с ним езживала — весной. Чудо! Вот и мы теперь с вами — по брызгам. А только я вижу: вы русский



как будто окончательно сблизила и подружила.

— Сколько вам лет? — спросила она вдруг.

— Двадцать два.

Не может быть! Мне двадцать два тоже. Годы хорошие. Сложи их вместе, и то до старости далеко. Однако жарко. Что, я раскраснелась?

— Как маков цвет!

Марья Николаевна утерла лицо платком.

— Только бы до леса добраться, а там будет прохладно. Этакой старый лес — точно старый друг. Есть у вас друзья?

Санин подумал немного.

— Есть... только мало. Настоящих нет.

— А у меня есть, настоящие — только не старые. Вот тоже друг — лошада. Как она тебя бережно несет! Ах, да здесь отлично! Неужто я послезавтра в Париж еду?

Да... неужто? — подхватил Санин.

— А вы во Франкфурт?

Я непременно во Франкфурт.

— Ну, что ж — с богом! Зато сегодняшний день наш... наш... наш!

Лошади добрались до опушки и вошли в нее. Тень леса накрыла их широко и мягко, и со всех сторон.

— О, да тут рай! — воскликнула Марья Николаевна. — Глубже, дальше в эту тень, Санин!

Лошади тихо двигались «глубже в тень», слегка покачиваясь и похрапывая. Дорожка, по которой они выступали, внезапно повернула в сторону и водалась в довольно тесное ущелье. Запах вереска, папоротника, смолы сосновой, промозглой, прошлогодней листвы так и сперся в нем — густо и дремотно. Из расщелин бурых крупных камней било крепкой свежестью. По обеим сторонам дорожки высились круглые бутры, поросшие зеленым мохом.

— Стойте! — воскликнула Марья Николаевна. — Я хочу присесть и отдохнуть на этом бархате. Помогите мне сойти.

Санин соскочил с коня и подбежал к ней. Она оперлась об его плечи, мгновенно прыгнула на землю и села на одном из моховых бугров. Он стал перед нею, держа в руках поводья обеих лошадей.

Она подняла на него глаза...

— Санин, вы умеете забывать?

Санину вспомнилось вчерашнее... в катерете.

— Что это — вопрос... или упрек?

— Я отроду никого и ни в чем не упрекала. А в присуху вы верите?

Как?

— В присуху — знаете, о чем у нас в песнях поется. В простонародных русских песнях?

— А! Вы вот о чем говорите... — протянул Санин.

— Да, об этом. Я верю... и вы поверите.

— Присуха... колдовство... — повторил Санин. — Всё на свете возможно. Прежде я не верил, а теперь верю. Я себя не узнаю.

Марья Николаевна подумала — и оглянулась.

— А мне сдается, место это мне как будто знакомое. Посмотрите-ка, Санин, за тем широким дубом — стоит деревянный красный крест? аль нет?

Санин сделал несколько шагов в сторону.

— Стоит.

Марья Николаевна ухмыльнулась.

— А, хорошо! Я знаю, где мы. Пока еще не потерялись. Это что стучит? Дровосек?

Санин поглядел в чашу.

— Да... там какой-то человек сухие сучья рубит.

— Надо волосы в порядок привести, — проговорила Марья Николаевна. — А то увидит — осудит. — Она сняла шляпу и начала заплетать свои длинные косы — молча и важно. Санин стоял перед нею... Ее стройные члены явственно рисовались под темными складками сукна, с кое-где приставшими волокнами моха.

Одна из лошадей внезапно встряхнулась за спиною Санина; он сам затрепетал невольно, с ног до головы. Всё в нем было перепутано — нервы натянулись как струны. Недаром он сказал, что сам себя не узнает... Он действительно был околдован. Всё существо его было полно одним... одним помыслом, одним желаньем. Марья Николаевна бросила на него пронизательный взгляд.

— Ну, вот теперь всё как следует, — промолвила она, надевая шляпу. — Вы не садитесь? Вот тут! Нет, погодите... не садитесь. Что это такое?

По верхушкам деревьев, по воздуху лесному, прокатилось глухое сотрясение.

Неужели это гром?

— Кажется, точно гром, — ответил Санин.

— Ах, да это праздник! просто праздник! Только этого не доставало! — Глухой гул раздался вторично, поднялся — и упал раскатом. — Bravo! Bis! Помните, я вам говорила вчера об «Энеиде»? Ведь

их тоже в лесу застала гроза. Однако надо убраться.— Она быстро поднялась на ноги.— Подведите мне лошадь... Подставьте мне руку. Вот так. Я не тяжела.

Она пгидей взвилась на седло. Санин тоже сел на коня.

Вы — домой? — спросил он неверным голосом.

— Домой?? — отвечала она с расстановкой и подобрала поводья.— Ступайте за мной,— приказала она почти грубо.

Она выехала на дорогу и, минуя красный крест, опустилась в лошину, добралась до перекрестка, повернула направо, опять в гору... Она, очевидно, знала, куда держала путь — и шел этот путь всё в глубь да в глубь леса. Она ничего не говорила, не оглядывалась; она повелительно двигалась вперед — и он послушно и покорно следовал за нею, без искры воли в замиравшем сердце. Дождик начал накрапывать. Она ускорила ход своей лошади — и он не отставал от нее. Наконец, сквозь темную зелень еловых кустов, изпод навеса серой скалы, глянула на него убогая караулка, с низкой дверью в плетеной стене... Марья Николаевна заставила лошадь продраться сквозь кусты, прыгнула с нее — и, очутившись вдруг у входа караулки, обернулась к Санину и шепнула: Эней?

Четыре часа спустя Марья Николаевна и Санин, в сопровождении дремавшего на седле груга, возвратились в Висбаден, в гостиницу. Г-н Полозов встретил свою супругу, держа в руках письмо к управляющему. Вглядевшись в нее попристальнее, он, однако, выразил на лице своем некоторое неудовольствие — и даже пробормотал:

— Неужто проиграл пари?

Марья Николаевна только плечами пожала.

А в тот же день, два часа спустя, Санин в своей комнате стоял перед нею, как потерянный, как погибший...

— Куда же ты едешь? спрашивала она его.— В Париж — или во Франкфурт?

— Я еду туда, где будешь ты, — и буду с тобой, пока ты меня не прогонишь,— отвечал он с отчаянием и припал к рукам своей властительницы. Она высвободила их, положила их ему на голову и всеми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество —

а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который согтит пойманную птицу, такие бывают глаза.

### XLIII

Вот что припомнил Дмитрий Санин, когда в тишине кабинета, разбирая свои старые бумаги, он нашел между ними гранатовый крестик. Рассказанные нами события ясно и последовательно возникли перед его мысленным взором... Но, дойдя до той минуты, когда он с таким униженным молением обратился к г-же Полозовой, когда он отдался ей под ноги, когда началось его рабство, — он отвернулся от вызванных им образов, он не захотел более вспоминать. И не то, чтобы память изменила ему — о нет! он знал, он слишком хорошо знал, что последовало за той минутой, но стыд душил его — даже и теперь, столько лет спустя; он страшился того чувства неодолимого презрения к самому себе, которое, он в этом не мог сомневаться, непременно нахлынет на него и затопит, как волною, все другие ощущения, как только он не велит памяти своей замолчать. Но как он ни отворачивался от возникавших воспоминаний, вполне заглушить их не мог. Он вспомнил дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без ответа... Явиться к ней, вернуться к ней — после такого обмана, такой измены — нет! нет! на столько совести и честности осталось еще в нем. К тому же он всякое доверие потерял к себе, всякое уважение: он уже ни за что не смел ручаться. Санин вспомнил также, как он потом — о, позор! — отправил полозовского лакея за своими вещами во Франкфурт, как он трусил, как он думал лишь об одном: поскорей уехать в Париж, в Париж; как он, по приказанию Марьи Николаевны, подлаживался и подделывался к Исполиту Сидорычу — и любезничал с Дёнгофом, на пальце которого он заметил точно такое же железное кольцо, какое дала ему Марья Николаевна!!! Потом пошли воспоминания еще хуже, еще позорнее... Кельнер подает ему визитную карточку — и стоит на ней имя Панталеоне Чипшатола, придворного певца е. к. в. герцога Моденского! Он прячется от старика, но не может избежать встречи с ним в коридоре — и встает перед ним раздраженное лицо под взвившимся сверху седым хохлом; горят, как уголья,







старческие глаза — и слышатся грозные восклицания и проклятия: *Maledizione!*<sup>1</sup>, слышатся даже страшные слова: *Codardo! Infame traditore!*<sup>2</sup> Санин жмурит глаза, встряхивает головою, отворачивается вновь и вновь — и все-таки видит себя сидящим в дорожном дормезе на узком переднем месте... На задних, покойных местах сидят Марья Николаевна и Ипполит Сидорыч — четверня лошадей несет дружной рысью по мостовой Висбадена — в Париж! в Париж! Ипполит Сидорыч кушает грушу, которую он, Санин, ему очистил, а Марья Николаевна глядит на него и усмехается тою, ему, закрепощенному человеку, уже знакомой усмешкой — усмешкой собственника, владыки...

Но боже мой! Вон там, на углу улицы, недалеко от выезда из города, не Панталеоне ли стоит опять — и кто с ним? Неужели Эмилио? Да, это он, тот восторженный, преданный мальчик! Давно ли его юное сердце благоговело перед своим героем, идеалом, а теперь его бледное красивое — до того красивое лицо, что Марья Николаевна его заметила и высунулась в окошко кареты — это благородное лицо пышет злобой и презрением; глаза, столь похожие на те глаза! — впадают в Санина, и губы сжимаются... и раскрываются вдруг для обиды...

А Панталеоне протягивает руку и указывает на Санина — кому? — стоящему возле Тарталье, и Тарталья лает на Санина — и самый лай честного пса звучит невыносимым оскорблением... Безобразно!

А там — житье в Париже и все унижения, все гадкие муки раба, которому не позволено ни ревновать, ни жаловаться и которого бросают наконец, как изношенную одежду...

Потом — возвращение на родину, отравленная, опустошенная жизнь, мелкая возня, мелкие хлопоты, раскаяние горькое и бесплодное и столь же бесплодное и горькое забвение — наказание не явное, но ежеминутное и постоянное, как незначительная, но неизлечимая боль, уплата по копейке долга, которого и сосчитать нельзя...

Чаша переполнилась — довольно!

Каким образом уцелел крестик, данный Санину Джеммой, почему не возвратил он его, как случилось, что до того

<sup>1</sup> Проклятье! (итал.)

<sup>2</sup> Трус! Гнусный изменник! (итал.)



дня он ни разу на него не натыкался? Долго, долго сидел он в раздумье и — уже наученный опытом, через столько лет — всё не в силах был понять, как мог он покинуть Джемму, столь нежно и страстно им любимую, для женщины, которую он и не любил вовсе?.. На следующий день он удивил всех своих приятелей и знакомых: он объявил им, что уезжает за границу.

Недоумение распространилось в обществе. Санин покидал Петербург, среди белой зимы, только что нанявши и обмелировавши отличную квартиру, даже обонировавшись на представления итальянской оперы, в которой участвовала сама г-жа Патти — сама, сама, сама г-жа Патти! Приятели и знакомые недоумевали; но людям вообще не свойственно долго заниматься чужими делами, и когда Санин отправился за границу — его на станцию железной дороги приехал провожать один француз портной, и то в надежде получить недоплаченный счетец — «pour un saute-en-barque en velours noir, tout à fait chic»<sup>1</sup>

#### XLIV

Санин сказал своим друзьям, что уезжает за границу, но не сказал, куда именно; читатели легко догадаются, что он покатил прямо во Франкфурт. Благодаря повсеместно распространенным железным дорогам он на четвертый день после выезда из Петербурга был уже там. Он не посещал его с самого 1840 года. Гостиница «Белого лебедя» стояла на прежнем месте и процветала, хотя уже не считалась первоклассной; Цейль, главная улица Франкфурта, мало изменилась, но не только от дома г-жи Розелли — от самой улицы, где находилась ее кондитерская, — не осталось ни следа. Санин бродил как ошалелый по местам, когда-то столь знакомым, и ничего не узнавал: прежние постройки исчезли; их заменили новые улицы, уставленные громадными сплошными домами, изящными виллами; даже публичный сад, где происходило его последнее объяснение с Джеммой, разросся и переменялся до того, что Санин себя спрашивал — полно, тот ли это сад? Что было ему делать? Как и где наводить справки? Тридцать лет прошло с тех пор... Легкое ли дело! К кому он ни обращался — никто даже имени Розелли не слы-



хивал; хозяин гостиницы советовал ему справиться в публичной библиотеке: там он, дескать, найдет все старые газеты, но какую он из этого извлечет пользу — хозяин сам объяснить не умел. Санин, с отчаянья, осведомился о г-не Клюбере. Это имя было хорошо известно хозяину — но и тут вышла неудача. Изящный комми, прогремев и возвысившись до звания капиталиста, проторговался, обанкротился и умер в тюрьме... Это известие не причинило, впрочем, Санину ни малейшего огорчения. Он начинал уже находить свое путешествие несколько неудобным... Но вот однажды, перелистывая франкфуртский адрес-календарь, он наткнулся на имя фон Дёнгофа, майора в отставке (Major a. D.). Он немедленно взял карету и поехал к нему — хотя почему этот Дёнгоф должен был непременно быть тем Дёнгофом и почему даже тот Дёнгоф мог сообщить ему какие-либо сведения о семействе Розелли? Всё равно: утопающий за соломинку хватается.

Санин застал отставного майора фон Дёнгофа дома — и в принявшем его поезде господине немедленно узнал своего бывшего противника. И тот его узнал, и даже обрадовался его появлению: оно напомнило ему молодость и молодые проказы. Санин услышал от него, что семейство Розелли давным-давно переселилось в Америку, в Нью-Йорк; что Джемма вышла замуж за негоцианта; что, впрочем, у него, Дёнгофа, есть знакомый, тоже негоциант, которому, вероятно, известен адрес ее мужа, так как у него много дел с Америкой. Санин упросил Дёнгофа сходить к этому знакомому, и — о радость! — Дёнгоф принес ему адрес

<sup>1</sup> «за матросскую куртку из черного бархата, самую модную» (франц.).

Джеммина мужа, г-на Иеремии Слокома — М-г J. Slocum, New York, Broadway, № 501.— Только адрес этот относился к 1863 году.

— Будем надеяться,— воскликнул Дёнгоф,— что наша бывшая франкфуртская красавица еще жива и не покинула Нью-Йорка! Кстати,— прибавил он, понизив голос,— а что та русская дама, что, помните, гостила тогда в Висбадене — г-жа фон Бо... фон Бозолоф — еще жива?

— Нет,— отвечал Санин,— она давно умерла.

Дёнгоф поднял глаза, но, заметив, что Санин отвернулся и нахмурился, не прибавил ни слова — и удалился.

В тот же день Санин послал письмо к г-же Джемме Слоком в Нью-Йорк. В этом письме он говорил ей, что пишет к ней из Франкфурта, куда приехал единственно для того, чтобы отыскать ее следы; что он очень хорошо сознает, до какой степени он лишен малейшего права на то, чтобы она ему отозвалась; что он ничем не заслужил ее прощения — и надеется только на то, что она, среди счастливой обстановки, в которой находится, давно позабыла о самом его существовании. Он прибавлял, что решился напомнить ей о себе вследствие случайного обстоятельства, которое слишком живо возбудило в нем образы прошедшего; рассказал ей свою жизнь, одинокую, семейную, безрадостную; заклинал ее понять причины, побудившие его обратиться к ней, не дать ему унести в могилу горестное сознание своей вины — давно выстраданной, но не прощенной — и порадовать его хотя самой краткой весточкой о том, как ей живется в этом новом мире, куда она удалась. «Написав мне хоть одно слово,— так кончал Санин свое письмо,— вы сделаете доброе дело, достойное вашей прекрасной души,— и я буду благодарить вас до последнего моего дыхания. Я остановился здесь, в гостинице Белого лебедя (эти слова он подчеркнул) и буду ждать — ждать до весны — вашего ответа».

Он отправил это письмо и принялся ждать. Целых шесть недель прожил он в гостинице, почти не выходя из комнаты и решительно никого не видя. Никто не мог написать к нему ни из России, ни откуда; и это было ему по сердцу; приди на его имя письмо — он уже знает, что оно то, которого он ждет. Он читал с утра до вечера — и не журналы, а серьезные книги, исторические сочинения. Эти

продолжительные чтения, это безмолвие, это улиткообразное, скрытое житье — всё это пришлось как раз под лад его душевного строя: уж за это за одно спасибо Джемме! Но, жива ли она? Ответит ли она?

Наконец пришло письмо — с американской почтовой маркой — из Нью-Йорка на его имя. Почерк адреса на обертке был английский... Он не узнал его, и сердце в нем сжалось. Не разом решился он надломить пакет. Он глянул на подпись: Джемма! Слезы так и брызнули из его глаз: одно то, что она подписалась своим именем, без фамилии — служило ему залогом примирения, прощения! Он развернул тонкий лист синей почтовой бумаги — фотография выскользнула оттуда. Он поспешно ее поднял — и так и обомлел: Джемма, живая Джемма, молодая, какою он ее знал тридцать лет тому назад! Те же глаза, те же губы, тот же тип всего лица! На оборотной стороне фотографии стояло: «Дочь моя, Марианна». Всё письмо было очень ласково и просто. Джемма благодарила Санина за то, что он не усумнился обратиться к ней, что он имел к ней доверие; не скрывала от него и того, что она точно после его бегства пережила тяжелые мгновенья, но тут же прибавляла, что все-таки считает — и всегда считала — свою встречу с ним за счастье, так как эта встреча помешала ей сделаться женою г-на Клюбера и таким образом, хотя косвенно, но была причиной ее брака с теперешним ее мужем, с которым она живет вот уже двадцать восьмой год совершенно счастливо, в довольстве и изобилии: дом их известен всему Нью-Йорку. Джемма извещала Санина, что у ней пять человек детей — четыре сына и одна восемнадцатилетняя дочь, невеста, фотографию которой она ему посылает, так как она, по общему суждению, весьма похожа на свою мать. Печальные вести Джемма приберегла к концу письма. Фрау Леноре скончалась в Нью-Йорке, куда она последовала за дочерью и зятем,— однако успела порадоваться счастьем своих детей, понячить внучат; Панталеоне тоже собирался в Америку, но умер перед самым отъездом из Франкфурта. «А Эмилио, наш милый, несравненный Эмилио — погиб славною смертью за свободу родины, в Сицилии, куда он отправился в числе тех „Тысячи“, которыми предводительствовал великий Гарибальди; мы все горячо оплакали кончину нашего бесценного брата, но, и проливая слезы, мы гордились им — и вечно будем им гордиться и свято чтить его



память! Его высокая, бескорыстная душа была достойна мученического венца!» Потом Джемма изъясляла свое сожаление о том, что жизнь Санина, по-видимому, так дурно сложилась, желала ему прежде всего успокоения и душевной тишины и говорила, что была бы рада свидеться с ним — хотя и сознает, как мало вероятно подобное свиданье...

Не беремся описывать чувства, испытанные Саниным при чтении этого письма. Подобным чувствам нет удовлетворительного выражения: они глубже и сильнее — и неопределеннее всякого

слова. Музыка одна могла бы их передать.

Санин отвечал тотчас — и в подарок невесте послал «Марианне Слоком от неизвестного друга» гранатовый крестик, обделанный в великолепное жемчужное ожерелье. Подарок этот, хотя весьма ценный, не разорил его: в течение тридцати лет, протекших со времени его первого пребывания во Франкфурте, он успел нажить значительное состояние. В первых числах мая он вернулся в Петербург — но едва ли надолго. Слышно, что он продает все свои имения и собирается в Америку.



# ПУНИН И БАБУРИН

Рассказ Петра Петровича Б.



...Я теперь и стар и болен — и чаще всего размышляю о смерти, с каждым днем более близкой; редко думаю о прошедшем, редко устремляю назад мой духовный взор. Лишь иногда — зимой, сидя неподвижно перед пылающим камином; летом, расхаживая тихим шагом по тенистой аллее, — припоминаю я минувшие годы, события, лица; но не на зрелой поре моей жизни и не на молодости останавливаются тогда мои мысли. Они переносят меня либо в раннее детство, либо в первое отроческое время. Вот и теперь: я вижу себя в деревне у моей строгой и гневной бабушки — мне всего двенадцать лет — и возникают в моем воображении два существа...

Но стану рассказывать по порядку и в связи.

## I

1830 г.

Старый лакей Филиппыч вошел, по обыкновенью на цыпочках, с повязанным в виде розетки галстухом, с крепко стис-

нутыми — «чтобы не отдавало духом» — губами, с седеньким хохолком на самой середине лба; вошел, поклонился и подал на железном подносе моей бабушке большое письмо с гербовой печатью. Бабушка надела очки, прочла письмо...

— Сам он тут? — спросила она.

— Чего изволите? — робко проговорил Филиппыч.

— Бестолковый! Тот, кто привез письмо, — тут?

— Тутот-ка, тутот-ка... В конторе сидит.

Бабушка погремела своими янтарными четками...

— Вели ему явиться... А ты, сударь, — обратилась она ко мне, — сиди смирно.

Я и так не шевелился в своем уголку, на присвоенном мне табурете.

Бабушка держала меня в ежовых рукавицах!

Минут пять спустя вошел в комнату человек лет тридцати пяти, черноволосый, смуглый, с широкоскулым рябым лицом, крючковатым носом и густыми бровями, из-под которых спокойно и печально выглядывали небольшие серые глаза. Цвет этих глаз и выражение их не соответствовали восточному складу остального лица. Одет был вошедший человек в степенный, долгополый сюртук. Он остановился у самой двери и поклонился — одной головою.

— Твоя фамилия Бабурин? — спросила бабушка и тут же прибавила про себя: «Il a l'air d'un arménien»<sup>1</sup>.

— Точно так-с, — отвечал тот глухим и ровным голосом. При первом слове бабушки: «твоя» — брови его слегка дрогнули. Уж не ожидал ли он, что она будет его «выкать», говорить ему: вы?

— Ты русский? православный?

— Точно так-с.

Бабушка сняла очки и окинула Бабу-

<sup>1</sup> «Он похож на армянина» (франц.).

рина медлительным взором с головы до ног. Он не опустил глаз и только руки за спину заложил. Собственно меня больше всего интересовала его борода: она была очень гладко выбрита, но таких синих щек и подбородка я отроду не видывал!

— Яков Петрович,— начала бабушка,— в письме своем очень тебя рекомендую, как человека «тверезого» и трудолюбивого; однако отчего же ты от него отошел?

— Им, сударыня, в их хозяйстве другого качества люди нужны.

— Другого... качества? Этого я что-то не понимаю.— Бабушка снова погромила четками.— Яков Петрович мне пишет, что за тобою две странности водятся. Какие странности?

Бабурин легонько пожал плечами.

— Не могу знать, что им угодно было назвать странностями. Разве вот, что я... телесного наказания не допускаю.

Бабушка удивилась.

— Неужто ж Яков Петрович тебя наказывать хотел?

Темное лицо Бабурина покраснело до самых волос.

— Не так вы изволили понять меня, сударыня. Я имею правилом не употреблять телесного наказания... над крестьянами.

Бабушка удивилась больше прежнего, даже руки приподняла.

— А! — промолвила она наконец и, нагнувши голову несколько набок, еще раз пристально осмотрела Бабурина.— Это твое правило? Ну, это мне совершенно всё равно; я тебя не в приказчики прочу, а в конторщики, в писцы. Почерк у тебя каков?

— Пишу я хорошо-с, без ошибок орфографических.

— И это мне всё равно. Мне — главное, чтобы четко было, да без этих прописных новых букв с хвостами, которых я не люблю. А какая твоя другая странность?

Бабурин помялся на месте, кашлянул...

— Быть может... господин помещик изволил намекать на то, что я не один.

— Ты женат?

— Никак нет-с... но...

Бабушка нахмурилась.

— Со мной живет одно лицо... мужеского пола... товарищ, убогий человек, с которым я не расстаюсь... вот уже, почитай, десятый год.

— Он твой родственник?

— Нет-с, не родственник — товарищ.

Неудобств от него никаких по хозяйству произойти не может,— поспешил прибавить Бабурин, как бы предупреждая возражения.— Живет он на моих харчах, помещается в одной со мной комнате; скорей пользу он должен принести, так как грамоте он обучен, без лести сказать, в совершенстве и нравственность имеет примерную.

Бабушка выслушала Бабурина, пожевывая губами и щурясь.

— Он на твоём иждивении живет?

— На моем-с.

— Ты его из милости содержишь?

— По справедливости... так как бедного человека обязанность есть — помогать другому бедному.

— Вот как! Впервые слышу. Я до сих пор полагала, что это скорей обязанность богатых людей.

— Для богатых, осмелюсь доложить, это занятие... а для нашего брата...

— Ну, довольно, довольно, хорошо,— перебила бабушка и, подумав немного, промолвила в нос, что всегда было дурным знаком: — А каких он лет, твой на хлебник?

— Моих лет-с.

— Твоих? Я полагала, он твой воспитанник.

— Никак нет-с; он мой товарищ — и притом...

— Довольно, — вторично перебила бабушка.— Ты, значит, филантроп. Яков Петрович прав: в твоём звании — это странность большая. А теперь поговоримка о деле. Я тебе растолкую, какие будут твои занятия. Да вот еще насчет жалованья...— *Que faites vous ici?*<sup>1</sup> — прибавила вдруг бабушка, обратив ко мне свое сухое и желтое лицо.— *Allez étudier votre devoir de mythologie*<sup>2</sup>.

Я вскочил, подошел к бабушкиной ручке и отправился — не изучать мифологию, а просто в сад.

Сад в бабушкином имении был очень стар и велик и заканчивался с одной стороны проточным прудом, в котором не только водились караси и пескари, но даже гольцы попадались, знаменитые, нынче почти везде исчезнувшие гольцы. В голове этого пруда засел густой лозняк; дальше вверх, по обоим бокам косогора, шли сплошные кусты орешника, бузины,

<sup>1</sup> Что вы здесь делаете? (франц.)

<sup>2</sup> Идите займитесь вашим сочинением по мифологии (франц.).





жимолости, терия, проросшие снизу вереском и зорей. Лишь кое-где между кустами выдавались крохотные полянки с изумрудно-зеленой, шелковистой, тонкой травой, среди которой, забавно пестрея своими розовыми, лиловыми, палевыми шапочками, выглядывали приземистые сыроежки и светлыми пятнами загорались золотые шарики «куриной слепоты». Тут по веснам певали соловьи, свистали дрозды, куковали кукушки; тут и в летний зной стояла прохлада — и я любил забиваться в эту глушь и чащу, где у меня были фаворитные, потаенные местечки, известные — так по крайней мере

я воображал! — только мне одному. Вышедши из бабушкиного кабинета, я прямо отправился в одно из тех местечек, прозванное мною «Швейцарией». Но каково было мое изумление, когда, еще не добравшись до «Швейцарии», я сквозь частый переплет полузасохших прутьев и зеленых ветвей увидал, что кто-то открыл ее кроме меня! Какая-то длинная-длинная фигура, в желтом фризвом балахоне и высоком картузе, стояла на самом любимом мною местечке! Я подкрался поближе и разглядел лицо, совершенно мне неизвестное, тоже предлинное, мягкое, с небольшими красноватыми глазками и презабавным носом: вытянутый, как стручок, он точно повис над пухлыми губками; и эти губки, изредка, вздрагивая и округляясь, издавали тонкий свист, между тем как длинные пальцы костлявых рук, поставленные дружка против дружки на высоте груди, проворно двигались круговращательным движением. Время от времени движение рук замедлялось, губы переставали свистать и вздрагивать, голова наклонялась вперед, как бы прислушиваясь. Я пододвинулся еще поближе, вглядываясь еще внимательнее... Незнакомец держал в каждой руке по небольшой плоской чашечке, вроде тех, которыми дразнят и заставляют петь канареек. Сук хрустнул у меня под ногою; незнакомец дрогнул, устремил свои слепые глазенки в чашу и попятился было... да наткнулся на дерево, охнул и остановился.

Я вышел на полянку. Незнакомец улыбнулся.

— Здравствуйте,— промолвил я.

— Здравствуйте, барчук!

Мне не понравилось, что он меня назвал барчуком. Что за фамильярность!

— Что вы здесь делаете?— спросил я строго.

— А вот видите,— отвечал он, не переставая улыбаться.— Птичек на пение вызываю.— Он показал мне свои чашечки.— Зяблики отлично отвечают! Вас, по младости ваших лет, пение пернатых должно улащать беспременно! Извольте прислушать: я стану щебетать, а они за мною сейчас — как приятно!

Он начал тереть свои чашечки. Точно, зяблик отозвался на ближайшей рябине. Незнакомец засмеялся беззвучно и подмигнул мне глазом.

Смех этот и это подмигивание — каждое движение незнакомца, его шепелявый, слабый голос, выгнутые колени, худощавые руки, самый его картуз, его длинный балахон — всё в нем дышало

добродушием, чем-то невинным и забавным.

— Вы давно сюда приехали? — спросил я.

— А сегодня.

Да вы не тот ли, о котором...

Господин Бабурин с барыней говорил? Тот самый, тот самый.

— Вашего товарища Бабуриным зовут, а вас?

— А меня Пуниным. Пунин моя фамилия; Пунин. Он Бабурин, а я Пунин. — Он опять зажужжал чашечками. — Слышите, слышите зяблика... Как заливается!

Мне этот чудак вдруг «ужасно» полюбился. Как почти все мальчики, я с чужими либо робел, либо важничал, а с этим я словно век был знаком.

Пойдемте со мною, — сказал я ему, — я знаю местечко еще лучше этого; там есть скамейка: мы сесть можем, и платина оттуда видна.

Извольте, пойдемте, — отвечал нараспев мой новый приятель. Я пропустил его вперед. На ходу он переваливался, шмыгал ногами и затылок назад закидывал.

Я заметил, что у него сзади на балахоне, под воротником, болталась небольшая кисточка.

— Что это у вас такое висит? — спросил я.

— Где? — переспросил он и пощупал воротник рукою. — А! Эта кисточка? Пушай ее! Значит, для красы пришита. Не мешает.

Я привел его к скамейке, сел; он поместился рядом.

— Здесь хорошо! — промолвил он и вздохнул глубоко, глубоко. — Ох, хорошохонько! Отличнейший у вас сад! Ох, ох-хо!

Я посмотрел на него сбоку.

— Какой у вас картуз! — невольно воскликнул я. — Покажите-ка!

— Извольте, барчук, извольте. — Он снял картуз; я протянул было руку, но поднял глаза и — так и прыснул. Пунин был совершенно лыс; ни одного волосика не виднелось на заостренном его черепе, покрытом гладкой и белой кожей.

Он провел по нем ладонью и засмеялся тоже. Когда он смеялся, он словно захлебывался, раскрывал широко рот, закрывал глаза — а по лбу пробегали морщины снизу вверх, в три ряда, как волны.

— Что? — сказал он наконец. — Не правда ли, настоящее яйцо?

— Настоящее, настоящее яйцо! —

подхватил я с восторгом. — И давно вы такие?

— Давно; а какие были волосы! — Золотое руно, подобное тому, за которым аргонавты переплывали морские пучины.

Хотя мне всего было двенадцать лет, однако я, по милости моих мифологических занятий, знал, кто были аргонавты; тем более удивился я, услышав это слово в устах человека, одетого чуть не в рубище.

— Вы, стало быть, учились мифологии? — спросил я, переворачивая в руках картуз, который оказался на вате, с меховым облезлым околышком и картонным надломанным козырьком.

Изучал и этот предмет, барчучонок мой миленький; в жизни моей всего было достаточно! А теперь возвратитесь мне покрывало, ею же защищается нагота главы моей.

Он нахлобучил картуз и, перекосив свои беловатые брови, спросил меня: кто я собственно такой и кто мои родители?

— Я внук здешней помещицы, — отвечал я. — Я у ней один. Папа и мама умерли.

Пунин перекрестился.

— Царство им небесное! Значит, сирота; ну и наследник. Дворянская-то кровь сейчас видна; так в глазенках и бегают, так и играет... ж... ж... ж... ж...

Он представил пальцами, как играет кровь. — Ну, а не знаете ли, ваше благородие, поладил ли мой товарищ с бабенькой вашей, получил ли место, которое ему обещали?

— Этого я не знаю.

Пунин крикнул.

— Эх! кабы здесь пристроиться! хотя бы на время! А то странствуешь, странствуешь, приюта не обретается, тревоги житейские не прекращаются, душа сомущается...

— Скажите, — перебил я его, — вы — из духовного звания?

Пунин обернулся ко мне и прищурился.

— А какая сему вопросу причина, отроче мой любезный?

Да вы так говорите — вот как в церкви читают.

— Что славянские-то речения я употребляю? Но это не должно вас удивлять. Положим, в обыкновенной беседе подобные речения не всегда уместны; но как только воспарить духом — так сейчас и слог является возвышенный. Неужто же ваш учитель, преподаватель словесности российской, — ведь вам ее преподают? — неужто же он вам этого не объясняет?

Нет, не объясняет,— ответил я.— Когда мы в деревне живем — у меня и учителя нет. В Москве у меня много учителей.

— А долго ли вы в деревне проживать изволите?

— Месяца два, не больше; бабушка говорит, что я в деревне балуюсь. Гувернантка со мной есть и тут.

— Французенка?

— Французенка.

Пунин почесал у себя за ухом.

— Сиречь мамзель?

— Да; ее зовут мадмуазель Фрикэ.—

Мне вдруг показалось постыдным, что у меня, двенадцатилетнего мальчика, не гувернер, а гувернантка, точно у девочки! — Да я ее не слушаюсь,— прибавил я с пренебрежением.— Мне что!

Пунин покачал головою.

— Ох, дворянчики, дворянчики! полюбилась вам иностранчики! От русского вы отклонились,— на чужое преклонились, к иноземцам обратились...

— Что это? Вы стихами говорите? — спросил я.

А вы как полагаете? Я могу всегда, сколько угодно; потому сие мне природно...

Но в это самое мгновение раздался в саду за нами сильный и резкий свист. Собеседник мой проворно поднялся с лавки.

— Простите, барчук; это товарищ меня зовет, ищет меня... Что-то он мне скажет? Простите, не взыщите...

Он юркнул в кусты и исчез; а я сидел еще на скамейке. Я чувствовал недоуменье и какое-то другое, довольно приятное чувство... Я никогда еще не встречался и не говорил с таким человеком. Понемногу я размечтался... но вспомнил мифологию — и побрел домой.

Дома я узнал, что бабушка сошла с Бабуриным: ему отвели небольшую комнату в людской избе, на конном дворе. Он тотчас поселился в ней со своим товарищем.

На другое утро я, напившись чаю и не отпросившись у мадмуазель Фрикэ, отправился в людскую избу. Мне хотелось опять поболтать со вчерашним чудачком. Не постучавшись в дверь — этого обычая у нас и в заводе не было, — я прямо вошел в комнату. Я застал в ней не того, кого я искал, не Пунина, а покровителя его — филантропа Бабурина. Он стоял перед окном, без верхней одежды, широко растопырив ноги, и тщательно

вытирал себе голову и шею длинным полотенцем.

— Вам что угодно? — промолвил он, не опуская рук и насупив брови.

— Пунина нет дома? — спросил я самым развязным манером и не снимая шапки.

— Господина Пунина, Никандра Вавилыча, в сию минуту точно нет дома, — отвечал, не торопясь, Бабурин, — но позвольте вам заметить, молодой человек: разве прилично — так, не спросясь, входить в чужую комнату?

Я!.. молодой человек!.. Как он смеет!.. Я вспыхнул от гнева.

— Вы, должно быть, меня не знаете, — произнес я уже не развязно, а надменно, — я здешней барыни внук.

— Это мне всё едино, — возразил Бабурин, снова принимаясь за полотенце. — Вы хоть и барский внук, а не имеете права входить в чужую комнату.

— Какая же она чужая? Что вы?! Я здесь — везде дома.

— Нет, извините, здесь дома — я; потому что комната эта назначена мне по условию — за мои труды.

— Не учите меня, пожалуйста, — перебил я его, — я лучше вас знаю, что...

— Вас надобно учить, — перебил он меня в свою очередь, — потому что вы в таком возрасте обретаетесь... Я знаю свои обязанности, но и права свои знаю тоже очень хорошо, и если вы будете продолжать таким образом со мною беседовать — то мне придется попросить вас отсюда выйти...

Неизвестно, чем бы кончилось наше препирание, если б в эту минуту, шмыгая и раскачиваясь, не вошел Пунин. Он, вероятно, догадался, по выражению наших лиц, что между нами произошло что-то неладное, и тотчас обратился ко мне с самыми любезными изъявлениями радости.

— А, барчук! барчук! — воскликнул он, беспорядочно взмахивая руками и заливаясь своим беззвучным смехом, — миленький! меня навестить пришел! пришел, миленький! («Что это? — подумал я, — неужто же он мне «ты» говорит?») Ну, пойдём, пойдём со мною в сад. Я там нечто такое нашёл... Что в духоте сидеть-то! Пойдём.

Я последовал за Пуниным, однако на пороге двери почел за нужное обернуться и бросить вызывающий взор на Бабурина. Я, мол, тебя не боюсь!

Он ответил мне тем же и даже фукнул в полотенце — вероятно, для того, чтобы



хорошенько дать мне почувствовать, до какой степени он меня презирает!

— Какой нахал ваш приятель! — сказал я Пунину, как только дверь затворилась за мною.

Пунин чуть не с испугом поворотил ко мне свое пухлое лицо.

— Это вы о ком так выражаетесь? — спросил он, выпуча глаза.

— Да, конечно, о нем... как вы его называете? об этом... Бабурине.

— О Парамоне Семеновиче?

— Ну да; вот об этом... черномазом.

— Э... э... э!.. — промолвил с ласковой укоризной Пунин. — Как это вы можете так говорить, барчук, барчук! Парамон Семеныч человек достойнейший, строжайших правил, из ряду вон! Ну, конечно, себя он в обиду не даст, потому — цену себе знает. Большими познаниями обладает сей человек — и не такое бы ему занимать место! С ним, мой миленький, надо обходиться вежливоенько, ведь он... — тут Пунин наклонился к самому моему уху — республиканец!

Я уставился на Пунина. Этого я никак не ожидал. Из учебника Кайданова и других исторических сочинений я вычитал, что существовали когда-то в древности республиканцы, греки и римляне, и даже почему-то воображал их всех в шлемах, с круглыми щитами на руках и голыми большими ногами; но чтобы в действительности, в настоящее время, особенно в России, в ...ой губернии, могли находиться республиканцы — это сбивало все мои понятия, совершенно путало их!

— Да, мой миленький, да; Парамон Семеныч республиканец, — повторил Пунин; — вот вы и знайте вперед, как о таком человеке отзываться! А теперь пойдемте в сад. Представьте, что я там нашел! Кукушкино яйцо в гнезде у горихвостки! Чудеса!

Я отправился в сад вместе с Пуниным; но мысленно всё твердил: республиканец! рес... пу... бликанец!

«То-то, — решил я, наконец, — у него такая синья борода!»

Мои отношения к этим двум личностям — Пунину и Бабурину — определились окончательно с самого того дня. Бабурин возбуждал во мне чувство враждебное, к которому, однако, в скором времени примешалось нечто похожее на уважение. И боялся же я его! Я не перестал бояться его даже тогда, когда в его обращении со мною исчезла

прежняя резкая строгость. Нечего говорить, что я Пунина не боялся; я даже не уважал его, я считал его — говоря без обиняков — за шута; но полюбил я его всею душою! Проводить целые часы в его обществе, быть с ним наедине, слушать его рассказы — стало для меня истинным наслаждением. Бабушке очень не нравилась эта «intimité»<sup>1</sup> с человеком из «простецов» — «du commun»; но я, как только мне удавалось урваться, тотчас бежал к моему забавному, дорогому, странному другу. Свидания наши стали особенно часты после удаления мадмуазель Фрикэ, которую бабушка отправила обратно в Москву в наказание за то, что она вздумала пожаловаться заезжему армейскому штабс-капитану на скуку, господствовавшую в нашем доме. И Пунин, с своей стороны, не тяготился продолжительными беседами с двенадцатилетним мальчиком; он словно сам искал их. Сколько переслушал я его рассказов, сидя с ним в пахучей тени, на сухой и гладкой траве, под навесом серебристых тополей или в камышах над прудом, на крупном и сыроватом песку обвалившегося берега, из которого, странно сплетаясь, как большие черные жилы, как змеи, как выходцы подземного царства, торчали узловатые корни! Пунин в подробности рассказал мне свою жизнь, все свои счастливые и несчастные случаи, которым я всегда так искренно сочувствовал! Его отец был дьяконом; «чудесный был человек — однако под хмелем строг до беспамятства».

Сам Пунин учился в семинарии; но, не выдержав «поронций» и не ощущая в себе расположения к духовному званию, сделался мирянином, вследствие чего произошел все мытарства и стал, наконец, бродягой. «И не встретиться я с благодетелем моим Парамоном Семенычем, — прибавлял обыкновенно Пунин (он иначе не величал Бабурина), — погряз бы я в пучине бедствий, безобразия и пороков!» Пунин любил высокопарные выражения — и если не ко лжи, то к сочинительству и преувеличиванию поползновение имел сильное; всему-то он дивился, от всего приходил в восторг... И я, в подражание ему, тоже пускался преувеличивать и восторгаться. «Да ты какой-то бесноватый стал — перекрестись, что ты это», — говаривала мне старая няня. Рассказы Пунина занимали меня чрезвычайно; но больше даже его

<sup>1</sup> «душевная близость» (франц.).



рассказов любил я чтения, которые он производил со мною. Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, он внезапно, словно сказочный пустынный или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать! И вот удалось нам уйти незамеченными; вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек; вот мы сидим уже рядом, вот уже и книга медленно раскрывается, издавая резкий, для меня тогда неизъяснимо приятный запах плесени и старья! С каким трепетом, с каким волнением неотступного ожидания гляжу я в лицо, в губы Пушкина — в эти губы, из которых вот-вот польется сладостная речь! Раздаются наконец первые звуки чтения! Всё вокруг исчезает... нет, не исчезает, а становится далеким, заволакивается дымкой, оставляя за собою одно лишь впечатление чего-то дружелюбного и покровительственного! Эти деревья, эти зеленые листья, эти высокие травы заслоняют, укрывают нас от всего остального мира; никто не знает, где мы, что мы — а с нами поэзия, мы проникаем, мы упиваемся ею, у нас происходит важное, великое, тайное дело... Пушкин преимущественно придерживался стихов — звонких, многошумных стихов; душу свою он готов был положить за них! Он не читал, он выкрикивал их торжественно, заливчато, закатисто, в нос, как опьянелый, как исступленный, как Пифия! И еще вот какая за ним водилась привычка: сперва прожужжит стих тихо, вполголоса, как бы бормоча... Это он называл читать начерно; потом уже грянет тот же самый стих набело и вдруг вскочит, поднимет руки — не то молитвенно, не то повелительно... Таким образом мы прошли с ним не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира (чем старше были стихи, тем больше они приходились Пушкину по вкусу), но даже «Россиаду» Хераскова! И, правду говоря, она-то, эта самая «Россиада», меня в особенности восхитила. Там, между прочим, действует одна мужественная татарка, великанша-героиня; теперь я самое имя ее позабыл, а тогда у меня и руки и ноги холодели, как только оно упоминалось! «Да, — говорил, бывало, Пушкин, значительно кивая головою, — Херасков — тот спуску



не дает. Иной раз такой выдвинет стихок просто зашибет... Только держись!.. Ты его постигнуть желаешь, а уж он — вон где — и трубит, трубит, аки кимвалон! Зато уж и имя ему дано — одно слово: Херррасков!!» Ломоносова Пунин упрекал в слишком простом и вольном слоге, а к Державину относился почти враждебно, говоря, что он более царедворец, нежели поита. В нашем доме не только не обращали никакого внимания на литературу, на поэзию, но даже считали стихи, особенно русские стихи, за нечто совсем непристойное и пошлое; бабушка их даже не называла стихами, а «кантами»; всякий сочинитель кантов был, по ее мнению, либо пьяница горький, либо круглый дурак. Воспитанный в подобных понятиях, я неминуемо должен был либо с гадливостью отвернуться от Пунина — он же к тому был неопрятен и неряшлив, что тоже оскорбляло мои барские привычки, — либо, увлеченный и побежденный им, последовать его примеру, заразиться его стихобесием... Оно так и случилось. Я тоже начал читать стихи, или, как выражалась бабушка, воспевать канты... даже попытался сам нечто сочинить, а именно описание шарманки, в котором находились следующие два стишка:

Вот вертится толстый вал  
И зубцами защелкъл...

Пунин одобрил в этом описании некоторую звукоподражательность, но самый сюжет осудил, как низкий и недостойный лирного бряцанья.

Увы! все эти попытки, и волнения, и восторги, наши уединенные чтения, наша жизнь вдвоем, наша поэзия — всё покончилось разом. Как громовой удар, на нас внезапно обрушилась беда.

Бабушка во всем любила чистоту и порядок, ни дать ни взять тогдашние исполнительные генералы; в чистоте и порядке должен был содержаться и сад наш. А потому от времени до времени в него «нагоняли» бестягольных мужиков-бобылей, заштатных или опальных дворовых — и заставляли их чистить дорожки, полоть гряды, просевать и разрыхлять землю под клумбы и т. п. Вот, однажды, в самый развал именно такого пригона, бабушка отправилась в сад и меня с собой взяла. Всюду, между деревьев, по луговинам, мелькали белые, красные, сизые рубахи; всюду слышался скрежет и язг скребущих лопат, глухой стук зем-

ляных комьев о косо поставленные сита. Проходя мимо рабочих, бабушка своим орлиным оком тотчас заметила, что один из них и усердствовал меньше прочих, и шапку снял как будто нехотя. Это был очень еще молодой парень с испитым лицом и впальми тусклыми глазами. Нанковый кафтан, весь прорванный и заплатанный, едва держался на узких его плечах.

— Кто это? — спросила бабушка у Филиппыча, на цыпочках выступавшего за нею следом.

— Вы... про кого... изволите... — залепетал было Филиппыч.

— О, дурак! Я про этого говорю, что волком на меня посмотрел. Вон стоит — не работает.

— Этот-с! Да-с... Э... э... это Ермил, Павла Афанасьева покойного сынок.

Этот Павел Афанасьев был лет десять тому назад мажордомом у бабушки и пользовался особенным ее расположением; но, внезапно впав в немилость, так же внезапно превратился в скотника, да и в скотниках не удержался, покатился дальше, кубарем, очутился, наконец, в курной избе заглазной деревни на луде муки мясчины и умер от паралича, оставив семью в крайней бедности.

— Ага! — промолвила бабушка, — яблоко, видно, недалеко от яблони падает. Ну, придется распорядиться и с этим. Мне таких, что исподлобья смотрят, — не надобно.

Бабушка вернулась домой — и распорядилась. Часа через три Ермила, совершенно «снаряженного», привели под окно ее кабинета. Несчастный мальчик отправлялся на поселение; за оградой, в нескольких шагах от него, виднелась крестьянская тележка, нагруженная его бедным скарбом. Такие были тогда времена! Ермил стоял без шапки, понурил голову, босой, закинув за спину связанные веревочкой сапоги; лицо его, обращенное к барскому дому, не выражало ни отчаяния, ни скорби, ни даже изумления; тупая усмешка застыла на бесцветных губах; глаза, сухие и съезженные, глядели упорно в землю. Бабушке доложили о нем. Она встала с дивана, подошла, чуть шумя шелковым платьем, к окну кабинета и, приложив к переносице золотой двойной лорнет, посмотрела на нового ссыльного. В кабинете, кроме ее, находились в ту минуту четыре человека: дворецкий, Бабурин, дневальный казачок и я.

Бабушка качнула головою сверху вниз...



Сударыня, — раздался вдруг хриплый, почти сдавленный голос. Я оглянулся. Лицо у Бабурина покраснело... покраснело до темноты; под насупленными бровями появились маленькие, светлые, острые точки... Не было сомнения: это он, это Баурин произнес слово: «Сударыня!»

Бабушка тоже оглянулась и перевела свой лорнет с Ермила на Бабурина.

— Кто тут... говорит? — произнесла она медленно... в нос. Баурин слегка выступил вперед.

— Сударыня, — начал он, — это я... решился. Я полагаю... Я осмеливаюсь доложить вам, что вы напрасно изволите поступать так... как вы сейчас поступить изволите.

— То есть? — повторила бабушка тем же голосом и не отводя лорнета.

— Я имею честь... — продолжал Баурин отчетливо, хотя с видимым трудом выговаривая каждое слово, — я изясняюсь насчет этого парня, что ссылается на поселение... безо всякой с его стороны вины. Такие распоряжения, смею доложить, ведут лишь к неудовольствиям... и к другим дурным, — чего боже сохрани! — последствиям и суть не что иное, как превышение данной господам помещикам власти.

— Ты... где учился? — спросила бабушка после некоторого молчания и опустила лорнет.

Баурин изумился.

— Чего изволите-с? пробормотал он.

Я спрашиваю тебя: где ты учился? Ты такие мудреные слова употребляешь.

Я... воспитание мое... — начал было Баурин.

Бабушка презрительно пожала плечом.

Стало быть, — перебила она, — тебе мои распоряжения не нравятся. Это мне совершенно всё равно — в своих подданных я властна и никому за них не отвечаю, — только я не привыкла, чтобы в моем присутствии рассуждали и не в свое дело мешались. Мне ученые филантропы из разночинцев не надобны; мне слуги надобны безответные. Так я до тебя жила — и после тебя я так жить буду. Ты мне не годишься: ты уволен. — Николай Антонов, — обратилась бабушка к дворецкому, — рассчитай этого человека; чтобы сегодня же к обеду его здесь не было. Слышишь? Не введи меня в гнев. Да и другого того... дурака-приживальщика с ним отправить. — Чего ж Ермилка ждет? — прибавила она, снова глянув

в окно. — Я его осмотрела. Ну, чего еще? — Бабушка махнула платком в направлении окна, как бы прогоняя докучливую муху. Потом она села на кресло и, обернувшись к нам, промолвила угрюмо: — Ступайте все люди вон!

Все мы удалились — все, кроме казачка-дневального, к которому слова бабушки не относились, потому что он не был «человеком».

Приказ бабушки был исполнен в точности. К обеду и Баурин и друг мой Пунин выехали из усадьбы. Не берусь описать мое горе, мое искреннее, прямо детское отчаяние. Оно было так сильно, что заглушало даже то чувство благоговейного удивления, которое внушила мне смелая выходка республиканца Бабурина. После разговора с бабушкой он тотчас отправился к себе в комнату и начал укладываться. Меня он не удостоивал ни словом, ни взглядом, хотя я всё время вертелся около него, то есть в сущности — около Пунина. Этот совсем потерялся и тоже ничего не говорил, зато беспрестанно взглядывал на меня, и в глазах его стояли слезы... всё одни и те же слезы: они не проливались и не высыхали. Он не смел осуждать своего «благодетеля». Парамон Семеныч не мог ни в чем ошибиться — но очень ему было тошно и грустно. Мы с Пуниным попытались было прочесть на прощание нечто из «Россиады»; мы даже заперлись для этого в чулан — нечего было думать идти в сад, — но на первом же стихе зашнулись оба, и я разревелся, как теленок, несмотря на мои двенадцать лет и претензии быть большим. Уже сидя в тарантасе, Баурин обратился наконец ко мне и, несколько смягчив обычную строгость своего лица, промолвил: «Урок вам, молодой господин; помните нынешнее происшествие и, когда вырастете, постарайтесь прекратить таковые несправедливости. Сердце у вас доброе, характер пока еще не испорченный... Смотрите, берегитесь: этак ведь нельзя!» Сквозь слезы, обильно струившиеся по моему носу, по губам, по подбородку, я пролепетал, что буду... буду помнить, что обещаюсь... сделаю... непременно... непременно...

Но тут на Пунина, с которым мы перед тем раз двадцать обнялись (мой щеки горели от прикосновения его небритой бороды, и весь я был пропитан его запахом), — тут на Пунина нашло внезапное исступление! Он вскочил на сиденье



тарантаса, поднял обе руки вверх и начал громовым голосом (откуда он у него взялся!) декламировать известное переложение Давидова псалма Державиным, пунитой на этот раз — а не царедворцем:

Встань, всесильный бог! Да судит  
Земных богов во сонме их!..  
Доколь вам, рек, доколь вам будет  
Щадить неправедных и злых?  
Ваш долг есть сохранять законы...

— Сядь! — сказал ему Бабурин.  
Пунин сел, но продолжал:

Ваш долг — спасти от бед невинных,  
Несчастливым подать покров,  
От сильных защищать бессильных...

Пунин при слове «сильных» указал пальцем на барский дом, а потом ткнул им в спину сидевшего на козлах кучера:

Исторгнуть бедных из оков!  
Не внемлют! Видят и не знают...

Прибежавший из барского дома Николай Антонов закричал во все горло кучеру: «Пошел! ворона! пошел, не зевай!» — и тарантас покотился. Только издали еще слышалось:

Воскресни, боже, боже правый!..  
Приди, суди, карай лукавых —  
И будь один царем земли!

— Экой паяц! — заметил Николай Антонов.

— Недостаточно порол в юности, — доложил появившийся на крыльчке дякон. Он приходил осведомиться, в котором часу угодно барыне назначить всеобщую.

В тот же день, узнав, что Ермил находится еще на деревне и только на другое утро рано препровождается в город для исполнения известных законных формальностей, которые, имея целью ограничить произвол помещиков, служили только источником добавочных доходов для предрержащих властей, — в тот же день я отыскал его и, за неимением собственных денег, вручил ему узелок, в который увязал два носовых платка, пару стоптанных башмаков, гребенку, старую ночную рубашку и совсем новенький шелковый галстук. Ермил, которого мне пришлось разбудить — он лежал на задворке, возле телеги, на охапке соломы, — Ермил довольно равнодушно, не без некоторого даже колебания, принял мой подарок, не поблагодарил

меня, тут же уткнул голову в солому и снова заснул. Я ушел от него несколько разочарованный. Я воображал, что он изумится и возрадуется моему посещению, увидит в нем залог моих будущих великодушных намерений, — и вместо того...

«Эти люди — что ни говори — бесчувственные», — думалось мне на обратном пути.

Бабушка, которая почему-то оставила меня в покое весь этот памятный для меня день, подозрительно оглянула меня, когда я стал после ужина с ней прощаться.

У вас глаза красны, — заметила она мне по-французски, — и от вас избою пахнет. Не буду входить в разбираемость ваших чувств и ваших занятий — я не желала бы быть вынужденной наказывать вас, — но надеюсь, что вы оставите все ваши глупости и будете снова вести себя, как прилично благородному мальчику. Впрочем, мы теперь скоро вернемся в Москву, и я возьму для вас гувернера — как как я вижу, чтобы справиться с вами, нужна мужская рука. Ступайте.

Мы действительно скоро вернулись в Москву.

## II

1837 г.

Прошло семь лет. Мы по-прежнему жили в Москве — но я был уже второкурсным студентом, и власть бабушки, заметно одряхлевшей в последние годы, не тяготела надо мною. Изю всех моих товарищей я особенно близко сошелся с неким Тарховым, веселым и добродушным малым. Наши привычки, наши вкусы совпадали. Тархов был большой охотник до поэзии и сам пописывал стишки, во мне тоже не пропали семена, посеянные Пуниным. У нас, как это водится между сблизившимися молодыми людьми, не было тайн друг перед другом. Но вот в течение нескольких дней я стал замечать в Тархове какую-то оживленность и тревогу... Он пропадал по часам — и я не знал, где он пропадает, чего прежде никогда не случилось! Я уже собирался потребовать от него, во имя дружбы, полной исповеди... Он сам предредил меня.

Однажды я сидел у него в комнате...

— Петя, — заговорил он вдруг, весело краснея и глядя мне прямо в лицо, — я должен познакомить тебя с моею Музой.



— С твоей музой! Как ты странно выражаешься! Точно классик! (Романтизм находился тогда, в 1837 году, в полном разгаре.) Разве я с нею давно не знаком — с твоей музой! Новое стихотворение ты написал, что ли?

— Ты меня не понимаешь,— возразил Тархов, всё продолжая смеяться и краснеть.— Я познакомлю тебя с живою Музой.

— А! вот как! Но почему же она — твоя?

Да потому же... Вот, постой, кажется, это она идет сюда.

Послышался легонький стук проворных каблучков — дверь распахнулась — и на пороге показалась девушка лет восемнадцати, в пестреньком ситцевом платьице, с черной суконной мантилей на плечах, с черной соломенной шляпой на белокурых, немного взбитых волосах. Увидев меня, она испугалась и застыдилась, и подалась назад... но Тархов тотчас вскочил ей навстречу.

— Пожалуйста, пожалуйста, Муза Павловна, войдите: это мой закадычный приятель, прекраснейший человек и смиренный-пресмирный. Его вам нечего бояться. Петя,— обратился он ко мне,— рекомендую тебе мою Музу — Музу Павловну Виноградову, хорошую мою знакомую. Я поклонился.

— Как же так... Музу? — начал было я...

Тархов засмеялся.

— А ты не знаешь, что в святцах существует такое имя? И я, брат, не знал, пока вот не встретился с этой милой барышней. Муза! этакое имя прелестное! И так к ней идет!

Я вторично поклонился хорошей знакомой моего приятеля. Она отделилась от двери, ступила раза два и остановилась. Очень она была миловидна, но с мнением Тархова я согласиться не мог и даже подумал про себя: «Ну, какая она муза!»

Черты ее кругловатого розового лица были тонки и мелки; свежей, бойкой молодостью веяло от всей ее миниатюрной, стройной фигуры; но музу, олицетворение музыки я в то время — да и не я один — все мы, юнцы, представляли себе совсем иначе! Прежде всего муза непременно должна была быть черноволоса и бледна! Презрительно-гордое выражение, едкая усмешка, вдохновенный взгляд и то «нечто», таинственное, демоническое, фатальное — вот без чего мы не могли вообразить музу, музу Байрона, тогдашнего властителя людских дум. Ничего подобного не замечалось на лице вошедшей

девушки. Будь я тогда постарше да поопытнее, я бы, вероятно, обратил больше внимания на ее глаза, маленькие, углубленные, с припухлыми веками, но черные, как агат, живые и светлые — что редко в белокурых. Не поэтические наклонности открыл бы я в их торопливом, как бы скользившем взгляде, а признаки страстной, до самозабвения страстной души... Но я был тогда еще очень юн.

Я протянул Музе Павловне руку — она не подала мне своей, — она не заметила моего движения; села на пододвинутый Тарховым стул, но шляпы и мантильи не сняла.

Ей видимо было неловко: мое присутствие ее стесняло. Она дышала нервно и протяжно, словно воздуху в себя набирала.

— Я к вам на минуточку, Владимир Николаич,— начала она,— голос у ней был очень тихий и грудной; в ее алых, почти детских устах он казался немного странным,— но наша мадам никак не хотела отпустить меня больше, чем на полчаса. Третьего дня вам нездоровилось... так вот я подумала...

Она загнулась, наклонила голову. Осененные густыми, низкими бровями, неуловимо бегали — туда-сюда — ее темные глазки. В жаркое лето, между былинками высохших трав, попадаются такие же темные, проворные и блестящие жучки.

— Какая же вы милая, Муза, Музочка! — воскликнул Тархов.— Но сидите, посидите немножко... Мы вот самовар поставим.

— Ах нет, Владимир Николаевич, как возможно! Я сию секунду должна уйти.

— Отдохните хоть крошечку. Вы запыхались... Вы устали.

— Я не устала. Я... не оттого... Только вот... дайте мне другую книжку: эту я прочла.— Она достала из кармана истрепанный серый томик московского издания.

— Извольте, извольте. А что? понравилась она вам? — «Рославлев», — прибавил Тархов, обратившись ко мне.

— Да. Только «Юрий Милославский», мне кажется, гораздо лучше. Наша мадам очень строга насчет книг. Говорит, они работать мешают. Потому, по ее понятиям...

— Но ведь и «Юрий Милославский» не чета «Цыганам» Пушкина? А? Муза Павловна? — перебил с улыбкой Тархов.

— Еще бы! «Цыганы»... — протянула она с расстановкой.— Ах да, вот еще что,

Владимир Николаич: завтра не придите... куда знаете.

— Почему же?

Нельзя.

— Да почему?

Девушка пожала плечами и разом, словно что ее толкнуло, встала со стула.

— Куда же вы, Муза, Музочка! — жалобно возопил Тархов. — Посидите еще!

— Нет, нет, нельзя. — Она проворно подошла к двери, взялась за ручку...

— Ну хоть книжку возьмите!

В другой раз.

Тархов бросился к девушке, но та мгновенно юркнула вон из комнаты. Он чуть не стукнулся носом о дверь.

— Экая! настоящая ящерица! — проговорил он не без досады, а потом задумался.

Я остался у Тархова. Надо ж было узнать, что всё это значило. Тархов не стал скрытничать. Он рассказал мне, что эта девушка — мешаночка, швея; что недели три тому назад он в первый раз увидел ее в модной лавке, куда он зашел заказать шляпку по поручению сестры, живущей в провинции; что он с первого взгляда в нее влюбился и что ему на другой же день удалось заговорить с ней на улице; что она сама к нему, кажется, равнодушна.

— Только ты, пожалуйста, не думай, — прибавил он с жаром, — не воображай чего-нибудь дурного о ней. По крайней мере до сих пор еще ничего не произошло между нами такого...

— Дурного, — подхватил я, — не сомневаюсь; не сомневаюсь также и в том, что ты об этом искренно сожалешь, дружище! Потерпи — всё уладится.

Надеюсь! — промолвил Тархов со смехом, хоть и сквозь зубы. — Но, право, брат, эта девушка... Я тебе скажу — это тип, знаешь, из новых. Ты не успеешь разглядеть ее хорошенько. Она дичок; у! какой дичок! И с норовом! Да еще с каким! Впрочем, самая эта дикость мне в ней нравится. Признак самостоятельности! Я, брат, просто по уши в нее врезался!

Тархов пустился толковать о своем «предмете» и прочел мне даже начало стихотворения, озаглавленного: «Моя Муза». Его сердечные излияния мне не пришлись по вкусу. Я втайне завидовал ему. Я скоро ушел от него.

Несколько дней спустя мне случилось проходить по одному из рядов Гостиного двора. День был субботний; покупщиков

набралось пропасть; отовсюду, посреди давки и толкотни, раздавались зазывные крики сидельцев. Купив, что мне было нужно, я думал только о том, как бы поскорее отделаться от их назойливого приставанья — как вдруг остановился... поневоле: в одной фруктовой лавке я увидел знакомую моего приятеля — Музу, Музу Павловну! Она стояла ко мне боком — и, казалось, чего-то дожидалась. Немного поколебавшись, я решился подойти и заговорить с нею. Но не успел я переступить порог лавки и снять картуз — как она с ужасом отшатнулась и, проворно обернувшись к старичку в фризовой шинели, которому лавочник отвечивал фунт изюму, схватила его за руку, как бы прибегая под его защиту. Тот, в свою очередь, обернулся к ней лицом — и представьте мое изумление! Кого я узнаю в нем? Пунина!

Да, это был он; это были его воспаленные глазки, его пухлые губы, его повислый мягкий нос. Он даже мало изменился в эти семь лет; разве обрызг немного.

— Никандр Вавилыч! — воскликнул я. — Вы меня не узнаете?

Пунин встрепенулся, раскрыл рот, уставился на меня...

— Не имею чести, — начал было он — и вдруг запицал: — Троицкий барчук! (Имение моей бабушки прозывалось Троицким.) Неужели троицкий барчук? — Фунт изюму вывалился из его рук.

Точно так, — ответил я и, подняв с полу попку Пунина, облобызался с ним.

Он задыхался от радости, от волнения; он чуть не прослезился, снял шапку, — причем я мог убедиться, что последние следы волосиков исчезли с его «яйца», — достал со дна ее платок, выморкался, запахнул шапку за пазуху вместе с изюмом, надел ее снова, снова уронил изюм... Не знаю, как держала себя Муза во все это время: я старался на нее не глядеть. Я не полагаю, чтобы волнение Пунина происходило от излишней привязанности к моей особе: просто его натура не выдерживала никакого неожиданного толчка. Нервозность бедняков!

— Пойдемте к нам, к нам, голубчик, — залепетал он наконец, — ведь вы не побрезгаете посетить наше укромное гнездышко? Вы, я вижу, студент...

— Помилуйте, я, напротив, буду очень рад.

— Вы теперь свободны?

Совершенно свободен.

И прекрасно! Как Парамон Семе-

ныч будет доволен! Сегодня и он раньше обыкновенного домой возвращается, и ее вот мадам отпускает по субботам. Да, постойте, извините, я совсем с панталыку сбился. Вы ведь с племянницей нашей незнакомы?

Я поспешил ввернуть, что не имел еще удовольствия...

— Само собой разумеется! Где вы могли с нею встретиться! Музочка... Заметьте, милостивый государь: эту девицу зовут Музой — и это не прозвище, а настоящее ее имя... Каково предопределение? Музочка, представляю тебя господину... господину...

— Б...у,— подсказал я.

— Б...у,— повторил он.— Музочка! Внимай! Престолчицейшего, прелюбезнейшего юношу видишь ты перед собою. Меня с ними судьба свела, когда они еще совсем в младых летах были! Прошу любить да жаловать!

Я отвесил низкий поклон. Муза, красная, как маков цвет, вскинула исподлобья глазами и тотчас потупилась.

«А! — подумал я,— ты из тех, что в трудных случаях не бледнеют, а краснеют: это к соображению принять следует».

— Не вздыхайте, она у нас не модница,— заметил Пунин и вышел из лавки на улицу; мы с Музой последовали за ним.

Дом, в котором квартировал Пунин, находился в довольно большом расстоянии от Гостиного двора, а именно на Садовой улице. Дорогой мой бывший наставник по части поэзии успел сообщить мне немало подробностей о своем житье-бытье. Со времени нашей разлуки и он и Бабурин порядком поколесили по святой Руси и только недавно, полтора года тому назад, нашли постоянный приют в Москве. Бабурина удалось поступить главным письмоводителем в контору богатого купца-фабриканта.

— Местечко не доходное,— заметил со вздохом Пунин, — работы много, пользы мало... да что будешь делать? И то — слава богу! Я тоже стараюсь приобрести кое-что перепиской да уроками; только старания мои до сих пор остаются безуспешны. Почерк у меня, вы, может, помните, старозаветный, для нынешнего вкуса неприветный, а что насчет уроков — много мне препятствует недостаток приличной одежды; к тому же я страшусь, что и в деле преподавания — преподавания российской словесности — я также на нынешний вкус непригодный; оттого-

то я сижу голодный. (Пунин засмеялся своим сиплым, глухим смехом. Он сохранил прежний, несколько возвышенный склад речи и прежнюю замашку рифмовать.) Все к новизнам, к новизнам обратились! Чай, и вы старых богов уже не почитаете, к новым припадаете?

— А вы, Никандр Вавилыч, неужели все еще уважаете Хераскова?

Пунин остановился и разом взмахнул обеими руками.

— В высшей степени, сударь мой! В выс... шей сте... пе... ни!

И Пушкина не читаете? Пушкин вам не нравится?

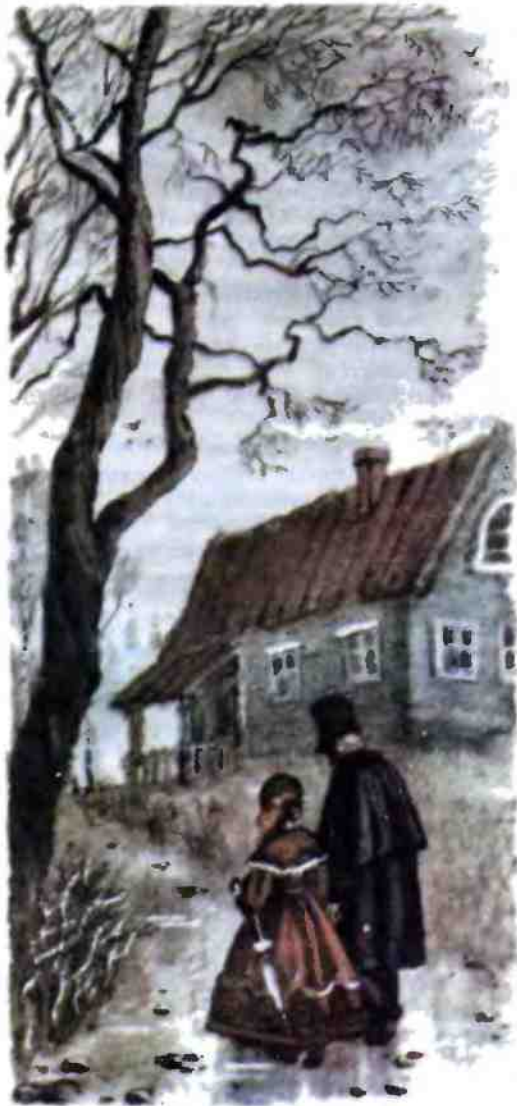
Пунин опять вознес руки выше головы.

— Пушкин? Пушкин есть змея, скрытно в зеленых ветвях сидящая, которой дан глас соловьиный!

Пока мы таким образом беседовали с Пуниным, осторожно выступая по неровно сложенным кирпичным тротуарам «белокаменной» Москвы, той самой Москвы, в которой нет ни одного камня и которая вовсе не бела,— Муза тихонько шла с нами рядом, по ту сторону от меня. Говоря о ней, я называл ее: ваша племянница. Пунин помолчал немного, почесал затылок и сообщил мне вполголоса, что он называет ее этим именем... только так; что она ему нисколько не доводится сродни: что она сирота, найденная и призревшая Бабуриным в городе Воронеже; но что он, Пунин, мог бы величать ее дочерью, так как любит ее не хуже дочери настоящей. Я не сомневался в том, что, хотя Пунин нарочно понижал голос, Муза очень хорошо слышала всё, что он говорил: и сердилась-то она, и робела, и стыдилась; тени и краски перебегали у ней по лицу, и всё на нем слегка двигалось: веки и брови, и губы, и узенькие ноздри. Очень всё это было мило, забавно и странно.

Но вот мы достигли наконец «укромного гнездышка». И точно: очень оно было укромно, это гнездышко. Оно состояло из небольшого, чуть в землю не вросшего, одноэтажного домика с покрывшейся тесовой крышей и четырьмя тусклыми окошечками на переднем фасае. Убранство комнат было самое бедное, не совсем даже опрятное. Между окнами и по стенам висело около дюжины крошечных деревянных клеток с жаворонками, канарейками, щеглами, чижами. «Мои подданные!» — торжественно проговорил Пунин, указывая на них пальцем.





Не успели мы войти и осмотреться, не успел Пунин откомандировать Музу за самоваром, как появился и сам Бабурин. Он показался мне постаревшим гораздо больше Пунина, хотя походка его осталась твердою и общее выражение лица сохранилось; но он похудел, сгорбился, щеки осунулись, и его черную густую щетину — «седой волос развил». Меня он не узнал и никакого особенного удовольствия не выказал, когда Пунин назвал меня; он даже глазами не улыбнулся, едва головой кивнул; спросил — весьма небрежно и сухо — жива ли моя бабка, да и только. «Меня, мол, дворянским по-

сещением не удивишь, и нисколько мне оно не лестно». Республиканец остался республиканцем. Муза вернулась; дряхлая старушонка внесла за нею плохо вычищенный самовар. Пунин засуетился, стал меня потчевать; Бабурин сел за стол, подпер голову обеими руками и провел кругом усталый взгляд. За чаем он, однако, разговорился. Положением своим он был недоволен. «Кулак, не человек, — так отзывался он о своем хозяине, — подначальные люди для него — сор, ничего не значащий; а сам давно ли сермягу таскал? Жестокость одна да алчность. Хуже коронной — служба! Да и вся здешняя торговля на одном надувательстве стоит и им только держится!» Слушая такие невеселые речи, Пунин вздыхал сокрушенно, поддакивал, покачивал головою то сверху вниз, то с боку на бок; Муза упорно молчала... Ее, очевидно, мучила мысль: что я такое, скромный ли человек или болтун? И если я скромничаю, то не с умыслом ли? Ее черные, быстрые, беспокойные глаза так и мелькали под полуопущенными веками. Только однажды взглянула она на меня, да так пылливо, пронзительно, почти злобно... Я даже вздрогнул. Бабурин с нею почти не заговаривал; но всякий раз, когда он обращался к ней, в его голосе слышалась угрюмая, не отеческая ласка.

Пунин, напротив, то и дело заигрывал с Музой; однако она ему неохотно отвечала. Он называл ее снегуркой, снежинкой.

— Почему вы Музе Павловне такие имена даете? — спросил я.

Пунин засмеялся.

— А потому, что очень она у нас холодная.

— Благоразумная, — подхватил Бабурин, — как следует быть молодой девице.

— Мы можем ее и хозяйшккой величать, — воскликнул Пунин. — Ась? Парамон Семеныч? — Бабурин нахмурился; Муза отвернулась... Я тогда не понял этого намека.

Так прошло часа два... не очень оживленно, хотя Пунин всячески старался «занять честную компанию». Он, между прочим, прикорнул перед клеткой одной из своих канареек, раскрыл дверцы и скомандовал: «На кумпол! Валяй концерт!» Канарейка тотчас выпорхнула, села на кумпол, то есть на голое темя Пунина и, поворачиваясь с боку на бок и потрясая крылышками, защебетала изо всех сил. Во всё продолжение концерта Пунин не шевелился и только пальцем слегка ди-

рижировал да глаза ежил. Я не мог не расхохотаться... но ни Бабурин, ни Муза не смеялись.

Перед самым уходом моим Бабурин удивил меня неожиданным вопросом. Он пожелал узнать от меня, как от человека, который занимается в университете, что за личность был Зенон и какого я о нем понятия?

— Какой Зенон? — спросил я не без изумления.

— Зенон, древний мудрец. Неужели он остался вам неизвестным?

Я смутно помнил имя Зенона как основателя стоической школы; а впрочем, решительно ничего больше о нем не знал.

— Да, он был философ, — проговорил я наконец.

— Зенон, — продолжал с расстановкой Бабурин, — тот самый есть мудрец, который объяснил, что страдание не есть зло, ибо терпение всё превозмогает, а добро есть на сем свете одно: справедливость; да и самая добродетель есть не что иное, как справедливость.

Пунин с благоговением принял ухом.

— Сообщил мне это изречение один здешний обыватель, у коего много обретаются старинных книг, — продолжал Бабурин, — очень оно мне понравилось. Но вы, я вижу, такого рода предметами не занимаетесь.

Бабурин сказал правду. Такими предметами я не занимался — точно. Со времени моего поступления в университет я стал республиканцем не хуже самого Бабурина. О Мирабо и Робеспьере я поговорил бы с наслаждением. Да что Робеспьер!.. У меня над письменным столом висели литографированные портреты Фукиз-Тенвилля и Шализ! Но Зенон!! Откуда принесло Зенона?

Прощаясь со мною, Пунин очень настаивал на том, чтобы я посетил их на следующий день, в воскресенье; Бабурин не приглашал меня вовсе и даже заметил сквозь зубы, что беседа с людьми простыми, разночинцами, не может мне доставить большого удовольствия и что, вероятно, моей бабке будет неприятно... На этом слове я, однако, перебил его речь и дал ему понять, что бабушка мне больше не указка.

— А во владение именными не вступили? — спросил Бабурин.

— Нет, не вступил, — отвечал я.

— Ну, и стало быть... — Бабурин не докончил начатой фразы; но я ее докончил за него: «Стало быть, я мальчик».

— Прощайте, — сказал я громко и удалился.

Я уже выходил со двора на улицу... Муза вдруг выбежала из дому и, сунув мне в руку скомканную бумажку, тотчас скрылась. У первого фонарного столба я развернул эту бумажку. Она оказалась запиской. С трудом разобрал я бледные, карандашом начертанные строки. «Ради бога, — писала мне Муза, — приходите завтра после обеда в Александровский сад возле башни Кутафьи я буду ждать вас не откажите мне не сделайте меня несчастной мне непременно нужно вас видеть». Орфографических ошибок в этой записке не было, но не было также знаков препинания. Я вернулся домой в недоумении.

Когда за четверть часа до назначенного времени стал я на следующий день подходить к башне Кутафье (дело было в начале апреля, почки наливались, трава зеленела, и воробьи шумно чирикали и дрались в обнаженных кустах сирени), я, к немалому моему удивлению, увидел в сторонке, недалеко от ограды, Музу. Она предупредила меня. Я направился было к ней; но она сама пошла мне навстречу.

— Пойдемте к Кремлевской стене, — шепнула она уторопленным голосом, бегая по земле опущенными глазами, — а то здесь люди.

Мы поднялись по дорожке в гору.

— Муза Павловна, — начал было я... Но она тотчас меня перебила.

— Пожалуйста, — заговорила она тем же порывистым и тихим голосом, — не судите меня, не думайте чего нехорошего. Я вам письмо написала, свиданье назначила, — потому... я боялась... Мне вчера показалось, — вы словно всё посмеивались. Послушайте, — прибавила она с восторженным усилием, и остановилась, и повернулась ко мне, — послушайте: если вы скажете, с кем... если вы назовете, у кого мы встретились, я брошусь в воду, я утоплюсь, я руки на себя наложу!

Она тут в первый раз взглянула на меня тем, уже знакомым мне, пытливым и острым взглядом.

«А ведь она, пожалуй, и в самом деле... чего доброго?» — подумалось мне.

— Помилуйте, Муза Павловна, — поспешно промолвил я, — как вы можете иметь обо мне такое дурное мнение? Неужели я способен выдать приятеля и повредить вам? Да и, наконец, в ваших отношениях, сколько я знаю, нет ничего предосудительного... Ради бога, успокойтесь.





Муза выслушала меня, не трогаясь с места и не глядя на меня более.

— Я вам вот еще что должна сказать,— начала она, снова подвигаясь вперед по дорожке,— а то вы можете подумать: да она сумасшедшая! Я вам должна сказать: на мне этот старик жениться хочет!

— Какой старик? Лысый? Пунин?

— Нет — не тот! Другой... Парамон Семеныч.

— Бабурин?

— Он самый.

— Неужто? Он вам предложение сделал?

— Сделал.

— Но вы, конечно, не согласились?

— Нет, согласилась... потому что я тогда ничего не понимала. Теперь — другое дело.

Я руками всплеснул.

— Бабурин — и вы! Да ведь ему под пятьдесят лет!

— Он говорит: сорок три. Да это всё равно. Будь ему двадцать пять лет — я за него все-таки не выйду. Что за радость! Целая неделя пройдет — он и не улыбнется ни разу! Парамон Семеныч мой благодетель, очень я ему обязана, он меня прирел, воспитал, я бы пропала без него, я должна почитать его, как отца... Но женой его быть! Лучше смерть! Лучше прямо в гроб!

— Что это вы всё о смерти упоминаете, Муза Павловна?..

Муза опять остановилась.

— Да уж будто жизнь такова красна? Я и знакомого-то вашего, Владимира-то

Николаича, можно сказать, с тоски да с печали полюбила,— а тут Парамон Семеныч с своими предложениями... Пунин, тот хотя стихами надоедает, да не пугает по крайности; не заставляет Карамзина читать по вечерам, когда у меня от усталости голова с плеч валится! И на что мне эти старики? Еще холодной меня величают. С ними — да горячей быть? Станут принуждать — уйду. Сам же Парамон Семеныч всё говорит: свобода! свобода! Ну вот и я захотела свободы. А то — что ж это такое? Всем воля, а меня в тюрьме держать? Я ему сама скажу. А коли вы меня выдадите или хоть намекнете — помните: только меня и выдали!

Муза стала поперек дороги.

— Только меня и выдали! — повторила она резко. Она и на этот раз глаз не подняла; она словно знала, что непременно выдаст себя, покажет, что у ней на душе, если кто ей прямо в глаза посмотрит... И именно оттого она не иначе как в сердцах или с досады поднимала взор — и тогда уже прямо уставлялась на человека, с которым говорила... Но ее небольшое, розовое, миловидное лицо дышало бесповоротной решимостью.

«Ну,— мелькнуло у меня в голове,— Тархов прав. Эта девушка — новый тип».

— Меня вам нечего бояться,— произнес я наконец.

— В самом деле? Даже, если... Вот вы что-то такое сказали о наших отношениях... Так даже в случае...—Она умолкла.

— И в этом случае вам бояться нечего, Муза Павловна. Я вам не судья. А тайна ваша погребена — вот тут.— Я указал себе на грудь.— Поверьте, я умею ценить...

— Письмо мое с вами? — внезапно спросила Муза.

— Со мной.

— Где?

— В кармане.

— Отдайте мне... скорей, скорей!

Я достал вчерашнюю бумажку. Муза схватила ее своей жесткой ручкой, постояла немного передо мною, как бы собираясь поблагодарить меня; но вдруг вздрогнула, оглянулась и, даже не поклонившись, проворно спустилась под гору.

Я посмотрел в сторону, куда она направлялась. Невдалеке от башни, завернутая в альмавиву (альмавивы были тогда в великой моде), виднелась фигура, в которой я тотчас признал Тархова.

«А, брат,— подумал я,— тебя, стало быть, известили, если ты ее караулишь...»

И, посвистывая себе под нос, я отправился домой.



На другое утро, я только что успел напиться чаю, явился ко мне Пунин. Вошел он в комнату с довольно смущенным видом, начал поклоны отшешивать, оглядываться, извиняться в своей якобы нескромности. Я поспешил его успокоить. Грешный человек, я вообразил, что Пунин пришел с намерением занять деньжонку. Но он ограничился тем, что попросил стаканчик чайку с ромком, благо, самовар был не убран.

— Не без сердечного трепетания и замиранья шел я к вам на свидание, — заговорил он, откусывая кусочек сахара. — Вас-то я не боюсь: но страшусь вашей почтенной бабушки! Смиряет меня также моя одежда, как уже я вам докладывал. — Пунин провел пальцем по бортицу своего ветхого сюртука. — Дома-то оно ничего и на улице тоже не беда; а как попадешь в золоченые палаты, бедность твоя тебе предстанет — и конфузно тебе станет!

Я занимал две небольшие комнаты в антресоли, и, конечно, никому не пришло бы в голову назвать их палатами, да еще золочеными; но Пунин, вероятно, говорил обо всем бабушкином доме, который, впрочем, тоже не отличался роскошью. Он попенял мне, зачем я не посетил их накануне: Парамон, мол, Семеныч вас ожидал, хоть и уверял, что вы ни за что не придете. И Музочка тоже ждала вас. — Как? и Муза Павловна? — спросил я.

— И она. А ведь миленькая у нас проявилась девица! Скажите?

— Премиленькая, — подтвердил я.

Пунин с чрезвычайной быстротой потерял свою обнаженную голову.

— Красавица, сударь мой, перл или даже бриллиант, истинно вам говорю. — Он наклонился к самому моему уху. — Также дворянская кровь, — шепнул он мне, — только — вы понимаете — с левой стороны; запретного плода вкушено было. Ну-с, родители померли, родственники отступились и бросили на произвол судьбы! Значит: отчаяние, голодная смерть! Но тут вступает Парамон Семеныч, известный, стародавний избавитель! Взял, дел, согрел — вывел птенчика; и расцвела наша радость! Я вам говорю: редчайших достоинств человек!

Пунин откинулся на спинку кресла, вскинул руками и, снова наклонившись вперед, снова начал шептать, но еще таинственнее:

— Ведь и сам Парамон Семеныч... вы не знаете? — он тоже происхождения вы-

сокого — и тоже с левой стороны. Говорят, его отец был владетельный грузинский князь из племени царя Давыда... Как вы это понимаете? В немногих словах — а сколько сказано? Кровь царя Давыда! Каково? А по другим известиям, родоначальником Парамона Семеныча был некий индийский шах Бабур Белая Кость! Хорошо ведь и это? А?

— Что ж, — спросил я, — и его, Бабурина, тоже бросили на произвол судьбы?

Пунин опять потер свое темя.

— Непременно! И даже с большою жестокостью, чем нашу кралечку! С раннего детства — одна борьба! Я даже, признаться, по этому случаю, вдохновясь Рубаном, четверостишие к портрету Парамона Семеныча сложил. Пойдите... как бишь? Да!

С пеленок не щадя гонений лютых, рок Ко краю бездны зол Бабурина привлек! Но огонь во мгле, злат луч на гноице блистает, — И се! победный лавр чело его венчает!

Пунин произнес эти стихи размеренным певучим голосом и на ó, как и следует читать стихи.

— Так вот отчего он республиканец! — воскликнул я.

— Нет, не оттого, — простодушно отвечал Пунин. — Он отцу давно простил; но несправедливость перенести никоим образом не может; чужая печаль его тревожит!

Я собирался навести речь на то, что я узнал накануне от Музы, а именно на сватовство Бабурина, — да не знал, как приступить. Пунин сам вывел меня из затруднения.

— Вы ничего не заметили? — спросил он меня вдруг, лукаво прищурив глазки. — Как у нас были? Ничего особенного?

— Да разве было что замечать? — спросил я в свою очередь.

Пунин оглянулся через плечо, как бы желая удостовериться, что нас никто не подслушивает.

— Наша красоточка Музочка скоро станет замужней дамой!

— Как?

— Госпожой Бабуриной, — напряженно произнес Пунин и, несколько раз ударив себя ладонями по коленям, закивал головою, как фарфоровый китаец.

— Не может быть! — воскликнул я с притворным изумленьем.

Голова Пунина немедленно остановилась, и руки его замерли.

— А почему же не может быть, позвольте полюбопытствовать?

— Потому что Парамон Семеныч в от-

цы бы годился вашей барышне; потому что такое различие в летах исключает всякую вероятность любви — со стороны невесты.

— Исключает! — с азартом подхватил Пунин. — А благодарность? А чистота сердечная? А нежность чувств? Исключает!! Вы бы хоть то сообразить изволили: положим, Муза прекраснейшая девица; но заслужит расположение Парамона Семеныча, быть его утехой, подпорой — супругой наконец! разве это не есть высочайшее счастье даже для такой девицы? И она это понимает! Вы посмотрите, бросьте внимательный взгляд! Музочка перед Пармоном Семенычем вся благоговение, вся трепет и восторг!

— В том-то и беда, Никандр Вавилыч, что она, как вы говорите, вся трепет. Кого любишь, перед тем не трепещешь.

— И с этим я не согласен! Вот я, например: уж больше моего, кажется, невозможно любить Парамона Семеныча, а я... я трепещу перед ним.

— Да вы — другое дело.

— Почему другое дело? почему? почему? — перебил Пунин. Я просто не узнавал его: он горячился, серьезничал, чуть не сердился — и не рифмовал. — Нет, — твердил он, — я замечаю: у вас око не пронизательное! Нет! Вы не сердцедец! — Я перестал ему противоречить... и, чтобы придать иное направление разговору, предложил заняться, по старой памяти, чтением.

Пунин помолчал.

— Из прежних? Из настоящих? — спросил он наконец.

— Нет; из новых.

— Из новых? — повторил недоверчиво Пунин.

— Из Пушкина, — отвечал я. Мне вдруг пришли в голову «Цыгане», о которых упомянул недавно Тархов. Там же, кстати, песенка поется о старом муже. Пунин поворчал немного, но я усадил его на диван, чтоб ему было удобнее слушать, и принялся читать пушкинскую поэму. Вот дошло дело до «старого мужа, грозного мужа»; Пунин выслушал песенку до конца — и вдруг порывисто поднялся.

— Не могу, — промолвил он с глубоким, меня самого поразившим, волнением, — извините меня; не могу я слушать более сего сочинителя. Он безнравственный пашквильнт; он лжец... он меня смущает. Не могу! Позвольте прекратить мое сегодняшнее посещение.

Я начал уговаривать Пунина остаться; но он настаивал на своем с каким-то

тупым и испуганным упорством; повторил несколько раз, что он чувствует смущение и желает освежиться на воздухе, — и при этом его губы слегка дрожали и глаза его избегали моих глаз, точно я обидел его. Так он и ушел.

А спустя немного и я вышел из дому и отправился к Тархову.

Ни у кого не спросясь, по студенческой привычной бесцеремонности, я прямо пробрался к нему на квартиру. В первой комнате никого не было. Я кликнул Тархова по имени и, не получив ответа, хотел было удалиться; но дверь соседней комнаты растворилась — и появился мой приятель. Он как-то странно взглянул на меня и молча пожал мне руку. Я пришел к нему с тем, чтобы пересказать всё, что я узнал от Пунина; и хотя я тотчас почувствовал, что посетил Тархова не в пору, однако, поговорив немного о предметах посторонних, кончил-таки тем, что сообщил ему намерение Бабуриня насчет Музы. Это известие, по-видимому, не очень его удивило; он тихонько подсел к столу и, внимательно вперив в меня глаза и безмолвствуя по-прежнему, придал чертам своим выражение... такое выражение, точно он желал сказать: «Ну, что ты еще сообщишь? Ну, излагай свои мысли!» Я попристальнее посмотрел ему в лицо... Оно мне показалось оживленным, несколько насмешливым, несколько даже наглым. Но это не помешало мне «изложить свои мысли». Напротив. «Ты форс свой выказываешь, — подумалось мне, — так и я ж тебя щадить не стану!» И тут же немедленно приступил к рассуждению о вреде внезапных увлечений, об обязанности каждого человека уважать свободу и личность другого человека, — словом, приступил к преподаванию полезных и дельных советов. Разглагольствуя таким манером, я, для большей легкости, рассказывал взад и вперед по комнате. Тархов не перебивал меня и не шевелился на своем стуле: только пальцами играл по подбородку.

— Я знаю, — говорил я... (Что собственно побуждало меня говорить, мне самому оставалось неясным, вероятнее всего — зависть; не служение же нравственности в самом деле!) Я знаю, — говорил я, — что это дело не легкое, не шуточное; я уверен, что ты любишь Музу и что Муза тебя любит, что это с твоей стороны не мгновенная прихоть... Но вот, положим!... (Тут я скрестил руки на груди.) Положим: ты удовлетворил

свою страсть, а дальше что? Ведь ты не женишься на ней? И между тем ты разрушаешь счастье хорошего, честного человека, ее благодетеля и — кто знает? (тут мое лицо выразило в одно и то же время и пронизательность и грусть) — быть может, и ее собственное счастье...

И т. д., и т. д., и т. д.!!!

Около четверти часа лилась моя речь. Тархов всё молчал. Меня начинало смущать это молчание. Я изредка взглядывал на него, не столько для того, чтобы удостовериться во впечатлении, которое производили мои слова, сколько для того, чтобы понять, отчего это он не возражает и не соглашается, а сидит, словно глухонемой? Мне наконец, однако, показалось, что в лице его происходит... да, действительно происходит перемена. Оно стало выражать беспокойство, тревогу, тоскливую тревогу... Но, странное дело! то оживленное, светлое, смеющееся нечто, то, что поразило меня с самого первого взгляда на Тархова, все-таки не покидало этого встревоженного, этого тоскливого лица! Я еще не знал, поздравлять ли мне самого себя с успехом своей проповеди, как вдруг Тархов поднялся и, стиснув мне обе руки, промолвил скороговоркой:

— Благодарю, благодарю. Ты, конечно, прав... хотя, с другой стороны, можно было бы заметить... Ведь что такое собственно твой хваленый Бабурин? Честный тупец — и больше ничего! Ты его республиканцем величаешь — а он просто бука! У! Вот он что! Весь его республиканизм состоит в том, что он нигде не уживается.

— А! ты так полагаешь! Бука! не уживается!! — Но знаешь ли ты, — продолжал я с внезапной запальчивостью, — знаешь ли ты, любезный Владимир Николаич, что в наше время не уживаться нигде — это признак хорошей, благородной натуры? Одни пустые люди — дурные люди — везде уживаются и примиряются со всем! Ты говоришь: Бабурин — честный тупец!!! Что ж, по-твоему, лучше быть бесчестным остряком?

— Ты извращаешь мои слова! — воскликнул Тархов. — Я хотел только объяснить тебе, как я понимаю этого господина. Ты думаешь — он такой редкий экземпляр? Ничуть! Подобных ему людей я тоже встречал на своем веку. Сидит человек с этаким важным видом, молчит, упорствует, топорщится... Ого-го! Знать, у него внутри, там — много! А внутри-то ничего у него нет, ни единой мысли нет в его

голове — одно только чувство собственного достоинства.

— Уж и это одно — почтенная вещь, — перебил я. — Но позволю спросить, где ты успел так изучить его? Ведь ты его не знаешь? Или ты его расписываешь... со слов Музы?

Тархов пожал плечом.

— Мы с Музой... не о нем разговариваем. Послушай, — прибавил он с нетерпеливым движением всего тела, — послушай: коли Бабурин такая благородная и честная натура, как же это он не видит, что Муза — ему не пара? Одно из двух: либо он понимает, что совершает над ней нечто вроде насилия, во имя благодарности, там, что ли... и тогда куда девается его честность? Либо он этого не понимает... и тогда — как же не называть его тупцом?

Я хотел было возражать — но Тархов снова схватил мои руки и снова заговорил торопливым голосом:

— Впрочем... конечно... я сознаюсь, ты прав, тысячу раз прав... Ты мне настоящий друг... но теперь оставь меня, пожалуйста.

Я изумился.

— Тебя оставить?

— Да. Вот видишь ли, я должен поразмыслить хорошенько о всем, что ты сейчас сказал... Я не сомневаюсь в том, что ты прав... но теперь оставь меня!

— Ты в таком волнении... — начал я.

— В волнении? я? — Тархов засмеялся, но тутчас спохватился. — Да; конечно. Как же иначе? Ты сам говоришь: это не шутка. Да; об этом надо подумать... наедине. — Он продолжал стискивать мне руки. — Прощай, брат, прощай!

— Прощай, — повторил я. — Прощай, брат! — Уходя, я бросил последний взгляд на Тархова. Он казался доволен. Чем? Тем ли, что я, как верный друг и товарищ, указал ему опасность пути, на который он занес ногу, — или тем, что я уходил? Разнообразнейшие мысли вертелись у меня в голове целый день до самого вечера — до самой той минуты, когда я вступил в дом, занимаемый Пуниным и Бабуриным, ибо я пошел к ним в тот же день. Я должен сознаться, что некоторые выраженья Тархова запали мне в душу... звенели у меня в ушах... И в самом деле, неужто Бабурин... неужто он не видит, что она ему не пара?

Но как же так можно: Бабурин, самоотверженный Бабурин — честный тупец!!



Пунин сказывал мне во время своего посещения, что меня у них ожидали накануне. Быть может; но в тот день решительно никто не ожидал меня... Я застал всех дома, и все удивились моему появлению. Бабурин и Пунин — оба были нездоровы; у Пунина голова болела, и он лежал калачиком на лежанке, повязав голову пестрым платком и приложив по разрезанному огурцу к каждому виску. Бабурин страдал разлитием желчи: весь желтый, почти бурый, с темными кругами вокруг глаз, с наморщенным лбом и небритой бородой — он мало походил на жениха! Я хотел уйти... Однако меня не отпустили и даже напоили чаем. Невеселый провел я вечерок. У Музы, правда, ничего не болело, она даже дичилась меньше обыкновенного, но явно досадовала, злилась... Наконец она не вытерпела — и, подавая мне чашку чаю, то-ропливо прошептала:

— Вы что там ни говорите, как вы ни старайтесь, а ничего вы не поделаете... Так-то!

Я с изумлением посмотрел на нее и, уловив удобную минутку, спросил ее, тоже вполголоса:

— Какой смысл ваших слов?

— А такой смысл, — отвечала она, и черные ее глаза, злобно блеснув из-под надвинутых бровей, уперлись мне в лицо и тотчас отклонились в сторону, — такой смысл, что я всё слышала, что вы сегодня там говорили, и спасибо вам сказать не за что, а будет все-таки не по-вашему.

— Вы были там? — невольно вырвалось у меня... Но тут Бабурин насторожился и глянул в нашу сторону. Муза отошла от меня прочь.

Минут десять спустя ей опять удалось приблизиться ко мне. Ей словно было приятно говорить мне смелые и опасные вещи, и говорить их в присутствии своего покровителя, под его наблюдением, ровно настолько скрываясь, насколько оно было нужно для того, чтобы не возбудить его подозрительность. Известное дело: ходить в обрез, по самому краю пропасти — любимое женское занятие.

— Да, я была там, — шептала Муза, не меняясь в лице; только ноздри ее слегка трепетали и губы криво подергивало. — Да, и если Парамон Семеныч меня спросит, о чем я с вами теперь перешептываюсь, я сейчас ему скажу. Что мне!

— Будьте же осторожнее, — убеждал я ее, — право, кажется, они замечают...

— Я же вам говорю, что я готова всё сказать. Да и кто замечает? Один с лежанки шею вытягивает, точно больной

утенок, да и не слышит ничего; а другой о философии размышляет. Вы не бойтесь! — Голос Музы слегка возвышался, и щęki ее понемногу краснели какой-то злорадной, тусклой краской; и чудесно шло это к ней, и никогда она не была так хороша собою. Убирая со стола, расставляя по местам чашки, блюдечки, она быстро двигалась по комнате; было что-то вызывающее в ее развязной, легкой походке. «Судите, мол, меня, как знаете, а я сама по себе и вас не боюсь».

Не могу скрыть, что Муза мне казалась обаятельной именно в тот вечер. Да, думалось мне, эта злюка — это новый тип... Это — прелесть. Эти руки, пожалуй, ударить могут... Что ж! Не беда!

— Парамон Семеныч! — воскликнула она вдруг, — республика — это такое государство, где всякий делает, что ему вздумается?

— Республика не есть государство, — ответил Бабурин, подняв голову и насунив брови, — она есть такое... устройство, в котором всё основано на законе и справедливости.

— Стало быть, — продолжала Муза, — в республике никто не может принуждать другого?

— Никто не может.

— И собою всяк располагать волен?

— Волен.

— А! только это я и хотела знать.

— Это тебе — на что же?

— А так; нужно. Мне нужно было, чтобы вы это сказали.

— Любознательная у нас барышня, — заметил с лежанки Пунин.

Когда я вышел в переднюю, Муза проводила меня, конечно, не из вежливости, а всё из того же злорадства. Я спросил ее на прощанье:

— Неужто вы так сильно его любите?

— Люблю, не люблю ли, про то я знаю, — отвечала она, — а только чему быть, того не миновать.

— Смотрите, не играйте с огнем... сгорите.

— Лучше сгореть, чем замерзнуть. А вы... с вашими советами! И почему вы знаете, что он не женится на мне? Почему вы знаете, что я непременно хочу выйти замуж? Ну, я пропаду... Вам-то что за дело?

Она захлопнула за мною дверь.

Помнится, на возвратном пути домой мне было довольно приятно думать, что моему другу, Владимиру Тархову, может прийтись — ой, ой, ой, как солоно от «нового типа»... Должен же он хоть чем-нибудь поплатиться за свое счастье!

В том, что он будет счастлив, я, к сожалению, не мог сомневаться.

Прошло три дня. Я сидел у себя в комнате перед письменным столом и не столько работал, сколько собирался завтракать... услышал шорох, поднял голову и остолбенел. Передо мною — неподвижное, страшное, белое как мел, стояло привидение... стоял Пунин. Медленно мигая, глядели на меня его съезженные глазки, бессмысленный, заячий испуг выражали они, и руки висели, как плети.

— Никандр Вавилыч! Что с вами? Как вы сюда попали? Никто не видал вас? Что случилось? Да говорите же!

— Сбежала,— произнес Пунин едва слышным, сильным шёпотом.

— Что вы говорите?

— Сбежала,— повторил он.

— Кто?

— Муза. Ушла ночью и записку оставила.

— Записку?

— Да. Благодарю, мол, но уже более не вернусь. Не ищите. Мы туда — сюда; спрашиваем кухарку: та ничего не знает. Я не могу громко говорить, извините. Голос сорвался.

— Муза Павловна вас оставила! — воскликнул я. — Скажите! Господин Бабурин должен быть в отчаянии. Что же он намерен теперь сделать?

— Ничего он не намерен сделать. Я хотел бежать к генерал-губернатору: запретил. Я хотел подать в полицию объявление: запретил и даже притеснялся. Говорит: ее воля. Говорит: притеснять не желаю. Даже на службу в свою контору отправился. Только, конечно, облика человеческого уже на нем не имеется. Больно много любил он ее... Ох, ох, много мы оба ее любили!

Тут Пунин впервые обнаружил, что он не истукан, а живой человек: поднял оба кулака кверху и опустил их себе на темя, лоснившееся, как слоновая кость.

Неблагодарная! — простонал он, — кто тебя кормил, поил, спас, обул, воспитал; кто заботился о тебе, кто всю жизнь, всю душу... А ты всё забыла? Меня бросить, конечно, не штука, но Парамона Семеныча, Парамона...

Я попросил его присесть, отдохнуть...

Пунин отрицательно покачал головой.

— Нет, не надо. Я и пришел-то к вам... не знаю, зачем. Я, как ошалелый; остаться дома одному — жутко; куда деться? Стану посреди комнаты, закрою глаза и

зову: Муза! Музочка! Этак с ума сойдешь. Да нет, что я вру? Я знаю, зачем я к вам пришел. Вы вот мне, намердись, ту треклятую песенку прочли... помните, где говорится о старом муже? Зачем вы это сделали? Али вы уж что знали тогда... или догадывались? — Пунин глянул на меня. — Батюшка, Петр Петрович, — воскликнул он вдруг и затрепетал весь, — вам, быть может, известно, где она находится? Батюшка, к кому она ушла?

Я смутился и поневоле опустил глаза...

— Разве она в своем письме сказала вам, — начал я...

— Она сказала, что уходит от нас, потому что полюбила другого! Батюшка, голубчик, вы наверное знаете, где она! Спасите ее, пойдите к ней; мы ее уговорим. Помилуйте, посудите, кого она убила? — Пунин вдруг покраснел, вся кровь прилила ему в голову, он тяжело грохнулся на колени. — Спасите, отец, пойдите к ней!

Человек мой появился на пороге и остановился в недоумении.

Немало труда стоило мне поднять Пунина снова на ноги, растолковать ему, что если я даже что-нибудь и подозреваю, то все-таки нельзя действовать так, сплеча, особенно вдвоем: что этим только всё дело испортишь, что я готов попытаться, но ни за что не отвечаю. Пунин не возражал мне, но и не слушал меня и лишь изредка повторял своим надорванным голоском:

— Спасите, спасите ее и Парамона Семеныча. — Он наконец заплакал. — Скажите по крайней мере одно, — спросил он, — что... он хорош собою, молод?

— Молод, — отвечал я.

— Молод, — повторил Пунин, размазывая по щекам слезы. — И она молода... Вот в чем вся беда!

Эта рифма пришлась случайно; бедному Пунину было не до поэзии. Я бы дорого дал, чтобы снова услышать от него витиеватые речи или хотя его почти беззвучный смех... Увы! те речи исчезли навсегда, — я не слышал более его смеха.

Я обещался навестить его, как только узнаю что-нибудь положительное... Тархова я, однако, не назвал. Пунин вдруг опустился весь.

— Хорошо-с, хорошо-с, спасибо-с, — заметил он с убогой ужимочкой и вставляя слово-ерик, чего он прежде никогда не делал, — только, знаете-с, Парамону Семенычу не говорите-с ничего-с... а то он рассердится! Одно слово: запретил! Прощайте-с, сударь!

Уходя и повернувшись ко мне спиной, Пунин показался мне таким мизерным, что я даже удивился: и хромал-то он на обе ноги, и приседал на каждом шагу...

«Плохо дело! Finis<sup>1</sup>, что называется», — подумал я.

Хотя я обещал Пунину собрать сведения о Музе, однако, отправляясь в тот же день к Тархову, я нисколько не надеялся что-нибудь узнать, ибо наверное полагал, что либо я не застану его дома, либо он меня не примет. Предположение мое оказалось ошибочным: я застал Тархова дома, он меня принял, и я даже узнал всё, что хотел узнать, но пользы от этого не вышло никакой. Тархов, как только я перешагнул порог его двери, подошел ко мне решительно, быстро, с сияющими, горящими глазами на похорошевшем и просветленном лице, твердо и бойко промолвил:

— Слушай, брат Петя! Я догадываюсь, зачем ты пришел и о чем ты собираешься говорить со мною; но предупреждаю тебя, что если ты хотя единым словом упомянешь о ней, или об ее поступке, или о том, что, по-твоему, мне повелевает благоразумие, — мы больше не друзья, мы даже не знакомые, и я буду просить тебя быть со мною, как чужой.

Я посмотрел на Тархова: он весь внутренно трепетал, как натянутая струна, он весь звенел, он едва сдерживал порывы поднимавшейся молодой крови; сильное, радостное счастье ворвалось ему в душу и завладело им — и он им завладел.

— Это твое неизменное решение? — произнес я печально.

— Да, брат Петя, неизменное.

— В таком случае мне остается сказать тебе: прощай!

Тархов слегка прищурился... Уж очень ему было хорошо.

— Прощай, брат Петя, — проговорил он немножко в нос, с откровенной улыбкой, весело сверкнув всеми своими белыми зубами.

Что мне было делать? Я оставил его с его «счастьем».

Когда я захопнул за собою дверь, другая дверь в комнате, я это слышал, хлопнула тоже.

Не легко мне было на сердце и на следующий день, когда я поплелся к сво-

им злополучным знакомцам. Я втайне надеялся — такова слабость человеческая! — что не застану их дома, и опять ошибся. Оба были дома. Перемена, происшедшая с ними в последние три дня, поразила бы всякого. Пунин весь побелел и отекал. Куда девалась его болтливость? Он говорил вяло, слабо, всё тем же сильным голосом, и вид имел изумленный и потерянный. Бабурин, напротив, скорчился и почернел; несловоохотливый и в прежнее время, он теперь едва произносил отрывистые звуки; выражение окаменелой строгости так и замерло на его чертах.

Я чувствовал, что молчать было невозможно, но что было сказать? Я ограничился тем, что шепнул Пунину: «Ничего я не узнал, и мой совет вам: бросьте всякую надежду». Пунин взглянул на меня своими опухшими красными глазенками — только и осталось у него красного на всем лице, — пробормотал что-то невнятное и отковылял в сторону. Бабурин, вероятно, догадался, о чем шла речь у нас с Пуниным, и, раскрыв свои стиснутые, словно склеенные губы, произнес неспешным голосом:

— Милостивый государь! со времени вашего последнего посещения у нас случилась неприятность: воспитанница наша, Муза Павловна Виноградова, не находя более удобным жить с нами, решила нас покинуть, о чем оставила нам письменное заявление. Не почитая себя в праве ей препятствовать, мы предоставили ей поступать по ее благоусмотрению. Желаем, чтобы ей было хорошо, — прибавил он не без усилия, — а вас покорнейше просим об этом предмете не упоминать, так как подобные речи бесполезны и даже огорчительны.

«Вот и этот, как и Тархов, запрещает мне говорить о Музе», — подумалось мне, и не мог я внутренно не подивиться! Недаром же он так высоко ценил Зенона. Я хотел было сообщить ему нечто об этом мудреце, но язык у меня не повернулся, и хорошо сделал.

Я скоро ушел восвояси. Расставаясь со мною, ни Пунин, ни Бабурин не сказали мне: «До свиданья!» — оба в один голос промолвили: «Прощайте-с!» Пунин даже возвратил мне книжку «Телеграфа», которую я принес ему: теперь, мол, мне этого больше уже не надо.

Неделю спустя со мной произошла странная встреча. Весна наступила ранняя, крутая; в полдень жара доходила до восемнадцати градусов. Всё зеленело и лезло из разрыхленной, сырой земли.

<sup>1</sup> Конец (лат.).



Я няня в манеже верхового коня и отправился за город, на Воробьевы горы. На дороге мне попала тележка, запряженная парой лихих, до самых ушей забрызганных вятков, с заплетенными хвостами, с красными лентами в челках и гривах. Сбруя на лошадях была охотничья, с медными бляхами и кистями, и правил ими молодой щеголь-ямщик в синей поддевке без рукавов и желтой канаусовой рубахе, в низкой поярковой шляпе с павлиным пером вокруг тульи. Рядом с ним сидела девушка мешчанского или купеческого звания, в пестрой парчовой кацавейке, с большим голубым платком на голове — и так и заливалась смехом. Ямщик ухмылялся тоже. Я поворотил своего коня в сторону, а впрочем, не обратил особого внимания на быстро мелькнущую веселую чету, — как вдруг парень гикнул на лошадей... Да это голос Тархова! Я оглянулся... Точно: он; несомненно он, наряженный ямщиком, а возле него — уж не Муза ли?

Но в это мгновение вятки подхватили, и только я их и видел. Я было пустил моего коня в галоп вслед за ними, но это был старый манежный драбант, с так называемым генеральским аллюром в раскачку: галопом он шел еще тише, чем рысью.

— Гуляйте, любезные! — проворчал я сквозь зубы.

Должно заметить, что Тархова я не видел в течение всей недели, хотя раза три заходил к нему. Его никогда не было дома. Бабурина и Пунина я тоже не видел... Я их не посещал.

Я простудился на моей прогулке: хотя и было очень жарко, но ветер дул пронзительный. Я опасно заболел — и когда я выздоровел, мы с бабушкой отправились в деревню — «на подножный корм» — по совету доктора. В Москву я уже больше не попал; к осени я перешел в Петербургский университет.

### III

1849 г.

Прошло уже не семь, а целых двенадцать лет, и мне стукнул тридцать второй год. Бабушка давно скончалась; я жил в Петербурге чиновником по министерству внутренних дел. Тархова я потерял из виду: поступил он в военную службу и находился почти постоянно в провинции. Мы с ним встретились два раза по-приятельски, радушно; но разговоры наши не касались прошедшего. В эпоху

второй нашей встречи он, сколько мне помнится, был уже женат. Однажды, в знойный летний день, я, проклиная и служебные обязанности, удерживавшие меня в Петербурге, и городскую духоту, вонь и пыль, пробирался по Гороховой улице. Погребальная процессия перебила мне дорогу. Вся она состояла из единственной колесницы, то есть, собственно говоря, из дряхлых дрог, на которых, грубо подбрасываемый толчками ухабистой мостовой, колыхался убогий деревянный гроб, до половины прикрытый потертым черным сукном. Старый человек, с белой головою, выступал один за дрогами.

Я взгляделся в него... Лицо знакомое... Он тоже повел на меня глазами... Боже мой! да это Бабурина!

Я снял шляпу, подошел к нему, назвал себя — и отправился с ним рядом.

— Кого вы хороните? — спросил я. Никандра Вавилыча Пунина, — отвечал он.

Я предчувствовал, я заранее знал, что он назовет это имя, и сердце все-таки дрогнуло во мне. Грустно стало мне, и рад я был, что случай доставил мне возможность отдать последний долг моему наставнику...

— Могу я идти с вами, Парамон Семеныч?

— Можете... Я один провожал его; теперь нас будет двое.

Больше часа продолжалось наше шествие. Спутник мой подвигался, не поднимая глаз, не разжимая губ. Он окончательно состарелся с тех пор, как я его видел в последний раз; изрытое морщинами, медного цвета лицо резко отделялось от белых волос. Следы трудовой, терпкой жизни, постоянной борьбы сказывались во всем существе Бабурина: обглодала его нужда да бедность. Когда всё покончилось, когда то, что было Пуниным, навеки скрылось в сырой... уж точно сырой земле Смоленского кладбища, Бабурин, постояв минуты две с потупленной непокрытой головою перед нововыросшим холмиком песчаной глины, обратил ко мне свое изможденное, как бы ожесточенное лицо, свои сухие, впалые глаза, угрюмо поблагодарил меня и хотел было удалиться; но я удержал его.

— Где вы живете, Парамон Семеныч? Позвольте вас навестить. Я не знал вовсе, что вы живете в Петербурге. Мы бы старое вспомнили, побеседовали бы о покойном нашем друге.

Бабурин не тотчас ответил мне.

Я третий год как в Петербурге об-

ретаюсь,— промолвил он наконец,— квартирую я на самом конце города. Впрочем, если вы точно желаете меня посетить, приходите.— Он дал мне свой адрес.— Приходите вечером; вечером мы всегда дома... мы оба.

— Вы... оба?

— Я женат. Моя жена сегодня не совсем здорова; оттого она не провожала покойника. А впрочем, достаточно и одному человеку исполнить эту пустую формальность, этот обряд. Кто же во всё это верит?

Я несколько удивился последним словам Бабурина, однако ничего не сказал, взял извозчика и предложил Бабурина довести его до дому; но он отказался.

В тот же день вечером я отправился к нему домой. Дорогой я всё думал о Пунине. Мне вспомнилось, как я в первый раз с ним встретился и какой он был тогда восторженный и забавный; потом в Москве, как он присмирел — особенно в последнее наше свидание; а вот и совсем кончен расчет с жизнью: не шутит, видно, она! Квартировал Баурин на Выборгской стороне, в домике, напоминавшем мне его московское гнездышко: петербургское чуть ли не было еще беднее. Когда я вошел к нему в комнату, он сидел в углу на стуле, уронив обе руки на колени; нагоревшая сальная свеча тускло освещала его повислую белую голову. Он услышал шум моих шагов, встрепенулся и приветствовал меня радушнее, чем я ожидал. Спустя несколько мгновений появилась его жена; я в ней тотчас узнал Музу — и тут только понял, зачем Баурин меня пригласил к себе: он хотел показать мне, что он все-таки добился своего.

Переменилась Муза много — в лице, в голосе и в движениях; но больше всего переменились ее глаза. Бывало, они бежали, как живчики, эти злые, эти красивые глаза; они блистали украдкой, но ярко; взор их колол, как булавка... Теперь они глядели прямо, спокойно, пристально; черные зеницы потускнели. «Я надломана, я смирна, я добра». — казалось, говорил ее тихий и тупой взор. То же самое говорила ее постоянная покорная улыбка. И платье на ней было смиренное: коричневое, с маленькими горошинками. Она первая подошла ко мне, спросила, узнаю ли я ее. Она, очевидно, не конфузилась, и не потому, чтобы она потеряла стыд или память, а просто потому, что суета от нее отошла. Муза много говорила о по-

койном Пунине, говорила ровным, тоже похолодевшим голосом. Я узнал, что он в последние годы совсем стал килый, почти в детство впал, так что даже скучал без игрушек; правда, его уверяли, что он шьет их из тряпок для продажи... он сам забавлялся ими. Страсть его к стихам, однако, не угасла, и память сохранилась на одни только стихи: за несколько дней до смерти он еще декламировал из «Россиады»; зато Пушкина боялся, как дети боятся буки. Привязанность его к Бабурину также не уменьшилась: он по-прежнему благоговел перед ним и, уже охваченный мраком и холодом кончины, еще лепетал коснеющим языком: «благодетель!» Я узнал также от Музы, что вскоре после московского происшествия Бабурину опять пришлось поколесить по России, перекочевывая с одной частной должности на другую; что и в Петербург он прибыл опять-таки на частную службу, которую, впрочем, принужден был оставить на днях по неприяности с хозяином: Баурин вздумал заступиться за рабочих... Постоянная улыбка Музы, сопровождавшая ее речи, наводила меня на размышления печальные; она довершала впечатление, возбужденное во мне наружностью ее мужа. Трудно доставался им обоим насущный хлеб — в этом не было сомнения. Сам он мало вмешивался в нашу беседу; он казался еще более озабоченным, чем огорченным... Что-то грызло его.

— Парамон Семеныч, пожалуйста,— проговорила кухарка, внезапно появившись на пороге двери.

— Что такое? Что нужно? — тревожно спросил он.

— Пожалуйста,— значительно и настойчиво повторила кухарка. Баурин застегнулся и вышел.

Когда мы остались одни с Музой, она посмотрела на меня несколько измененным взором и промолвила голосом тоже измененным и уже без улыбки:

— Не знаю, Петр Петрович, что вы теперь обо мне думаете, но полагаю, что вы помните, какая я была... Самоуверенная была я, веселая... и недобрая; хотела в свое удовольствие пожить. А я вам вот что скажу теперь: когда меня бросили, и я была, как потерянная, и только ждала, что либо бог меня приберет, либо у самой хватит духа с собой покончить,— я опять, как в Воронеже, встретилась с Парамоном Семенычем — и он опять спас меня... Слова обидного я от него не услы-

шала, ни одного упрека не услышала, ничего он от меня не потребовал — не стоила я того; но он меня любил... и я стала его женой. Что же мне было делать? Умереть — не удалось; жить тоже не пришлось, как хотелось... Куда же было деться! И то — милость. Вот и всё.

Она умолкла, отвернувшись на мгновение... прежняя покорная улыбка опять появилась на ее губах. «Легко ли мне жить, не спрашивай», — почудилось мне теперь в этой улыбке.

Разговор перешел к предметам обыкновенным. Муза рассказала мне, что после Пунина осталась кошка, которую он очень любил, но что она с самой его смерти ушла на чердак и там сидит и всё мяучит, точно зовет кого-то... Соседи очень пугаются и воображают, что это душа Пунина перешла в кошку.

— Парамон Семеныч чем-то встревожен, — проговорил я наконец.

— А вы это заметили? — Муза вздохнула. — Ему нельзя не тревожиться. Вам нечего сказывать, что Парамон Семеныч остался верен своим убеждениям... Нынешний порядок вещей мог только укрепить их. (Муза выражалась совсем иначе, чем, бывало, в Москве: язык ее принял литературный, начитанный оттенок.) Впрочем, я не знаю, могу ли я вам довериться и как вы примете...

— Почему же вы полагаете, что мне довериться нельзя?

— Да ведь вы состоите на службе, вы чиновник.

— Ну так что ж?

— Вы, следовательно, преданы правительству.

Я внутренне подивился... молодости Музы.

— О моих отношениях к правительству, которое и существования моего не подозревает, я распространяться не буду, — промолвил я, — но вы можете быть спокойны. Вашего доверия я во зло не употреблю. Убеждениями вашего супруга я сочувствую... больше, чем вы полагаете.

Муза покачала головою.

— Да; это всё так, — начала она без запинки, — но ведь вот что. Убеждения Парамона Семеныча, быть может, скоро придется выказаться на деле. Они не могут дольше оставаться под спудом. Есть товарищи, от которых теперь невозможно отстать...

Муза внезапно умолкла, словно язык себе прикусила. Ее последние слова меня изумили и немножко испугали. Вероятно, лицо мое выразило то, что я почувствовал, — и Муза это заметила.

Я уже сказал, что свидание наше происходило в 1849 году. Многим еще памятно, какое это было смутное и тяжелое время и какими событиями ознаменовалось оно в С.-Петербурге. Меня самого поразили некоторые странности в обращении Бабурина, во всей его повадке. Раз два он с такой резкой горечью отозвался о правительственных распоряжениях, о высокопоставленных лицах, что я почувствовал недоумение...

— А что? — спросил он меня вдруг, — освободили вы своих крестьян?

Я принужден был сознаться, что нет.

— А ведь, чай, бабка-то умерла?

И в этом я должен был сознаться.

— То-то вы, господа дворяне, — проворчал сквозь зубы Бабурин... — Чужими руками... жар загребать... это вы любите.

В его комнате, на самом видном месте, висела известная литография, изображавшая Белинского; на столе лежал томик старинной, бестужевской «Полярной звезды».

Бабурин долго не возвращался после того, как кухарка его вызвала. Муза несколько раз с беспокойством глянула на дверь, в которую он вышел. Наконец она не вытерпела, встала, извинилась и тоже вышла в ту же дверь. Через четверть часа она вернулась назад со своим мужем; лица обоих, так по крайней мере мне показалось, выражали смущение. Но вот внезапно лицо Бабурина приняло другое, ожесточенное, почти исступленное выражение...

— Какой же этому будет конец? — заговорил он вдруг прерывистым, захлебывавшимся, ему вовсе не свойственным голосом и поводя кругом, блуждая одичалыми глазами. — Живешь, живешь, надеешься, авось лучше будет, легче будет дышать, — а напротив того, всё идет хуже да хуже! Совсем уж к стене прижали! В молодости я всего натерпелся; меня... быть может... даже били... да, — прибавил он, круто повернувшись на каблуках и словно накинувшись на меня, — уже совершеннолетним будучи, получал истязания телесные... да; о других несправедливостях я уже не говорю... Но неужто ж нам к тем, прежним временам... предостигнуть вернуться? Что теперь делают с молодыми людьми! Да ведь это, наконец, всякое терпение лопнет... Лопнет! Да! Погодите!

Я никогда не видал Бабурина в подобном состоянии. Муза даже побледнела вся... Бабурин вдруг раскашлялся и опустился на скамейку. Не желая стеснять ни его, ни Музу своим присутствием,



я решился уйти и уже прощался с ними, как вдруг та же дверь в соседнюю комнату отворилась, и показалась голова... Но не голова кухарки, а всклокоченная, перепуганная голова молодого человека.

— Беда, Бабурин, беда! — пролепетал он торопливо, но тотчас же скрылся при виде незнакомой моей фигуры.

Бабурин бросился вон вслед за молодым человеком. Я крепко пожал руку Музе — и удалился с дурными предчувствиями на сердце.

— Приходите завтра, — шепнула она тревожно.

— Приду непременно, — ответил я.

Я на другой день еще лежал в постели, когда мой человек подал мне письмо от Музы.

«Милостивый государь, Петр Петрович! — писала она, — Парамона Семеныча сегодня ночью арестовали жандармы и увезли в крепость или не знаю куда: они не сказали. Все наши бумаги перерыли, многое запечатали, с собою взяли. Также книги и письма. Говорят, в городе пропасть народа арестовано. Вы можете себе представить, что я чувствую. Хорошо, что Никандр Вавилыч до этого не дожил! Вовремя он убрался. Посоветуйте, что мне сделать. За себя я не боюсь — с голоду я не умру, но мысль о Парамоне Семеныче не дает мне покоя. Приходите, пожалуйста, если только вы не боитесь посещать людей в нашем положении.

Готовая к услугам Муза Бабурина».

Через полчаса я был у Музы. Увидав меня, она протянула мне руку и хотя не сказала ни слова, но выражение благодарности мелькнуло на ее лице. На ней было вчерашнее платье: по всему было заметно, что она не ложилась и не спала всю ночь. Глаза у ней были красны — но от бессонницы, не от слез. Она не плакала. Ей было не до того. Она хотела действовать, хотела бороться с поразившим ее несчастьем: прежняя, энергичная, самовольная Муза воскресла в ней. Даже негодовать ей было некогда, хотя негодование ее душило. Как помочь Бабурину, к кому прибегнуть, чтобы облегчить его участь — ни о чем другом она не думала. Она хотела немедленно идти... просить... требовать... Но куда идти? Кого просить? Чего требовать? — вот что она желала услышать от меня, вот о чем желала посоветоваться со мною.

Я начал с того, что посоветовал ей... терпенье. На первых порах ничего другого не оставалось делать, как только

выжидать и по мере возможности наводить справки. Предпринять что-нибудь решительное теперь, когда дело едва началось, едва загорелось, — было просто невысказанно, безрассудно. Надеяться на успех было безрассудно, даже если бы обладал гораздо большей долей значенья и влияния... но что мог сделать я, маленький чиновник? У ней самой не было никакой протекции...

Не легко было растолковать ей все это... однако она, наконец, поняла мои доводы; поняла также, что не эгоистическое чувство руководило мною, когда я доказывал бесполезность всяких попыток.

— Да скажите, Муза Павловна, — начал я, когда она наконец присела на стул (до тех пор она все стояла на ногах, как бы готовясь тотчас пойти на помощь Бабурину), — каким образом Парамон Семеныч — в его годы — попался в такой истории? Тут, я уверен, одни молодые люди замешаны, вроде того, который вчера в черном приходил предупредить вас...

— Эти молодые люди — наши друзья! — воскликнула Муза, и глаза ее заблистали и забегали по-старинному. Что то сильное, неудержимое, казалось, та и поднялось со дна ее души... а мне вдруг вспомнилось название «нового типа», данное ей некогда Тарховым. — Года ничего не значат, когда дело идет о политических убеждениях! — Муза особенно наперла на эти два последние слова. Можной было подумать, что при всем ее горей было не неприятно выказать себя передо мною в этом новом, неожиданном свете — в свете женщины образованной и созревшей, достойной супруги республиканца! — Иные старики моложе иных молодых, — продолжала она, — способны на жертвы... Но не в том вопрос.

— Мне кажется, Муза Павловна, — заметил я, — вы несколько преувеличиваете. Зная характер Парамона Семеныча, я был заранее уверен, что он будет сочувствовать всяким... честным прорывам; но, с другой стороны, я всегда считал его за человека благоразумного.. Неужели он не понимает всю невозможность, всю нелепость заговоров у нас в России! В его положении, в его звании...

— Конечно, — с горечью в голосе перебила Муза, — он мещанин; а в России вступать в заговоры позволительно только дворянам, как, например, четырнадцатого декабря... ведь вот что вы хотели сказать.

«В таком случае зачем вы жалуете

тесь?» — чуть не сорвался у меня с языка... однако я удержался.

— Полагаете ли вы, что результат четырнадцатого декабря такого свойства, что должен поощрять других? — произнес я громко.

Муза нахмурилась. «С тобою нечего толковать об этом», — прочел я на ее популенном лице.

— Парамон Семеныч очень скомпрометирован? — решился спросить я наконец. Муза ничего не отвечала... Голодное, дикое мяуканье раздалось с чердака. Муза вздрогнула.

— Ах, хорошо, что Никандр Вавилыч всего этого не видел! — почти с отчаянием простонала она. — Не видел он, как ночью насильно схватили его благодетеля, нашего благодетеля, быть может, лучшего и честнейшего человека в целом свете, — не видел он, как обращались с почтенным стариком, как говорили ему: «ты»... как грозили ему — и чем ему грозили!.. потому только, что он мещанин! Этот офицер молодой тоже, должно быть, из числа таких бессовестных бездушников, каких и мне в моей жизни...

Голос Музы порвался. Она вся трепетала, как лист.

Долго сдержанное негодование провалилось наконец; потрясенные, вызванные наружу общей душевной тревогой, всколыхнулись старые воспоминания... Но собственно я убедился в это мгновение, что «новый тип» остался тем же, той же страстной, увлекающей натурой... Только увлекалась Муза уже не тем, чем, бывало, в молодые годы. То, что в первое мое посещение я принял за резиняцию, за усмиренность, и что действительно было тем — этот тихий, тупой взор, этот холодный голос, эта ровность и простота, — всё это имело смысл лишь в отношении к прошедшему, невозвратному...

Теперь настоящее заговорило.

Я постарался успокоить Музу, постарался перевести нашу беседу на более практическую почву. Надо было принять некоторые неотложные меры: узнать, где собственно находился Бабурин; а потом достать и ему и Музе средства к существованию. Всё это представляло затруднения немалые; приходилось отыскивать не прямо деньги, а работу, что, как известно, гораздо более сложная задача...

Я ушел от Музы с целым роем соображений в голове.

Я скоро узнал, что Бабурин сидит в крепости...

Дело началось... затянулось. Я каждую неделю по несколько раз видался с Му-

зой. Она тоже имела несколько свиданий с мужем. Но в самый момент разрешения всей этой печальной истории меня в Петербурге не было. Непредвиденные дела заставили меня съездить на юг России. Во время моей отлучки я узнал, что Бабурина по суду оправдали: оказалось, что вся вина его состояла только в том, что у него, как у человека, не способного возбудить подозрения, собирались иногда молодые люди, — и он присутствовал при их беседах; однако административным порядком сослали его на жительство в одну из западных губерний Сибири. Муза уехала с ним.

«...Парамон Семеныч этого не желал, — писала она мне, — потому, по его понятиям, никто не вправе жертвовать собою для другого человека — не для дела; но я ему ответила, что тут никакой жертвы нет. Когда я сказала ему в Москве, что буду его женою, то я подумала про себя: навеки и нерушимо! Так нерушимо должно оно стоять до конца дней...»

#### IV

1861 г.

Еще двенадцать лет прошло... Все в России знают и вечно помнить будут, что совершилось между 49-м и 61-м годом. И в моей личной жизни произошло много перемен, о которых, впрочем, распространяться нечего. Появились в ней новые интересы, новые заботы... Чета Бабуриных сперва отступила на второй план, потом совсем ступевалась. Я, однако, продолжал переписываться с Музой — очень, правда, изредка; иногда протекало более года без всяких известий о ней и об ее муже. Я узнал, что вскоре после 55-го года ему было дозволено возвратиться в Россию; но что он сам пожелал остаться в том небольшом сибирском городке, куда забросила его судьба и где он, по-видимому, свил себе гнездо, нашел приют, круг деятельности...

И вот в конце марта месяца 1861 года получаю я следующее письмо от Музы:

«Я так давно к вам не писала, почтеннейший П. П., что даже не знаю, живы ли вы; а если и живы, то не забыли ли о нашем существовании? Но всё равно; не могу я не писать вам сегодня. У нас доселе всё шло по-старинному; мы с Парамоном Семенычем занимались нашими школами, которые подвигаются помаленьку; сверх того Парамон Семеныч занимался чтением и перепиской да обычными своими прениями с старoverцами,



духовными лицами и ссыльными поляками; здоровье его было порядочно... Мое тоже. Но вот вчера к нам пришел манифест 19 февраля! Давно мы его ждали, давно ходили слухи о том, что делается у вас в Петербурге... но всё же не могу я вам описать, что это было! Вы знаете хорошо моего мужа; несчастье нисколько его не изменило, а напротив, он стал еще крепче и энергичнее. (Не могу скрыть,

что Муза написала: энергичнее.) Сила воли в нем железная, но тут он не выдержал! Руки тряслись у него, когда он читал; потом он обнял меня три раза и три раза со мной облобызался, хотел что-то сказать, — но нет! не мог! и кончил тем что прослезился, что очень было удивительно видеть, и вдруг закричал: «Ура ура! Боже, царя храни!» — Да, Петр Петрович, эти самые слова! Потом он прибавил: «Ныне отпускаеши»... и еще: «Этот первый шаг, за ним должны последовать другие»; и, как был, без шапки, побежал сообщить великую эту новость нашим приятелям. Мороз стоял сильный, и даже пурга зачиналась, я его удерживала, но он не послушался. А когда пришел до мой, весь был запорошен снегом, волосы лицо и борода — у него теперь борода по самую грудь — и даже слезы на щеках застыли! Но очень он был жив и весел и велел мне бутылку цимлянского раскупорить, и вместе с нашими приятелями которых он с собою привел, пил за здоровье царя и России и всех русских свободных людей; и, взяв бокал и опустив взор на землю, сказал: «Никандр, Никандр, слышишь ли? Нет на Руси болен рабов! Радуйся и в гробу, старый товарищ!» И многое еще такое говорил, что «сбылись, мол, мои ожидания!» Говорил также и о том, что теперь уже повернуть назад невозможно; что это — своего рода залог или обещание... Всего я не запомню, но давно я его таким счастливым не видала. И вот я решилась вам написать, чтобы и вы узнали, как мы радовались и ликовали в отдаленных сибирских пустынях, чтобы и вы порадовались вместе с нами...»

Это письмо я получил в конце марта, а в начале мая пришло другое, весьма коротенькое письмо от той же Музы. Она извещала меня, что ее муж, Парамон Семеныч Бабурин, получив простуду, самый день прибытия манифеста, скончался 12 апреля от воспаления в легких, шестидесяти семи лет от роду. Она прибавила, что намерена остаться там, где покоится его тело, и продолжать завещанную им работу, потому что такою была последняя воля Парамона Семеныча, — а у ней другого закона нет.

С тех пор я уже более не слышал Музы.







СТИХОТВОРЕНИЯ  
В ПРОЗЕ



## К ЧИТАТЕЛЮ

*Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений спогряд: тебе, вероятно, скучно станет — и книга вывалится у тебя из рук. Но читай их враздобрь: сегодня одно, завтра другое, — и которое-нибудь из них, может быть, заронит тебе что-нибудь в душу.*

<I>

## ДЕРЕВНЯ

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия — родной край.

Ровной синевой залито всё небо; одно лишь облачко на нем — не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь... воздух — молоко парное!

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют; собаки не лают и стоят, смиренно поваливая хвостами.

И дымком-то пахнет, и травой — и дегтем маленько — и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух.

Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исцеленные ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба — синеватая черта большой реки.

Вдоль оврага — по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени.

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть еще немного посохнет на припеке, а там и в сарай! То-то будет спать на нем славно!

Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках.

Русокудые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу, — зубоскалят.

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеется не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца... Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные огнистые капли.

Передо мной стоит старуха-хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котках.

Крупные дутые бусы в три ряда обвисли вокруг смуглой худой шеи; седая голова повязана желтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.

Но<sup>1</sup> приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается всё морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка... а и теперь еще видать: красавица была в свое время!

Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще теплого хлеба. «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!»

Петух вдруг закричал и хлопотливо захопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой теленок.

— Ай да овес! — слышится голос моего кучера.

О, довольство, покой, избыток русской вольной деревни! О, тишь и благодать! И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и всё, чего так добиваемся мы, городские люди?

Февраль, 1878

## РАЗГОВОР

Ни на Юнгфрау, ни на Финстерааргорне еще не бывало человеческой ноги.

Вершины Альп... Целая цепь крутых уступов... Самая сердцевина гор.

Над горами бледно-зеленое, светлое, немое небо. Сильный, жесткий мороз; твердый, искристый снег; из-под снега торчат суровые глыбы обледенелых, обветренных скал.

Две громады, два великана вздымаются по обеим сторонам небосклона: Юнгфрау и Финстерааргорн.

И говорит Юнгфрау соседу:

— Что скажешь нового? Тебе видней. Что там внизу?

Проходят несколько тысяч лет — одна минута. И грохочет в ответ Финстерааргорн:

— Сплошные облака застилают землю... Погоди!

Проходят еще тысячелетия — одна минута.

— Ну, а теперь? — спрашивает Юнгфрау.

— Теперь вижу; там внизу всё то же: пестро, мелко. Воды синеют; чернеют леса; сереют груды скальных камней. Около них всё еще копошатся козявки, знаешь, те двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня.

— Люди?

— Да; люди.

Проходят тысячи лет — одна минута.

— Ну, а теперь? — спрашивает Юнгфрау.

— Как будто меньше видать козявок, — гремит Финстерааргорн. — Яснее стало внизу; сузились воды; поредели леса.

Прошли еще тысячи лет — одна минута.

— Что ты видишь? — говорит Юнгфрау.

— Около нас, вблизи, словно прояснилось, — отвечает Финстерааргорн, — ну, а там, вдали, по долинам есть еще пятна и шевелится что-то.

— А теперь? — спрашивает Юнгфрау, спустя другие тысячи лет — одну минуту.

— Теперь хорошо, — отвечает Финстерааргорн, — опрятно стало везде, бело совсем, куда ни глянь... Везде наш снег, ровный снег и лед. Застыло всё. Хорошо теперь, спокойно.

— Хорошо, — промолвила Юнгфрау. — Однако довольно мы с тобой поболтали, старик. Пора вздремнуть.

— Пора.

Спят громадные горы; спит зеленое светлое небо над навсегда замолкшей землей.

Февраль, 1878

## СТАРУХА

Я шел по широкому полю, один.

И вдруг мне почудились легкие, осторожные шаги за моей спиной... Кто-то шел по моему следу.

Я оглянулся — и увидел маленькую, сторбленную старушку, всю закутанную в серые лохмотья. Лицо старушки одно выдилось из-под них: желтое, морщинистое, востроносое, беззубое лицо.

Я подошел к ней... Она остановилась.

— Кто ты? Чего тебе нужно? Ты нищая? Ждешь милостыни?

Старушка не отвечала. Я наклонился к ней и заметил, что оба глаза у ней были засланы полупрозрачной, беловатой перепонкой, или пленкой, какая бывает у иных птиц: они защищают ею свои глаза от слишком яркого света.

Но у старушки та плева не двигалась и не открывала зениц... из чего я заключил, что она слепая.

— Хочешь милостыни? — повторил я свой вопрос. — Зачем ты идешь за мною? — Но старушка по-прежнему не отвечала, а только съежилась чуть-чуть.

Я отвернулся от нее и пошел своей дорогой.

И вот опять слышу я за собою те же легкие, мерные, словно крадущиеся шаги.

«Опять эта женщина! — подумалось мне. — Что она ко мне пристала? — Но я тут же мысленно прибавил: — Вероятно, она сослепу сбилась с дороги, идет теперь по слуху за моими шагами, чтобы вместе со мною выйти в жилое место. Да, да; это так».

Но странное беспокойство понемногу овладело моими мыслями: мне начало казаться, что старушка не идет только за мною, но что она направляет меня, что она меня толкает то направо, то налево, и что я невольно повинуюсь ей.

Однако я продолжаю идти... Но вот впереди на самой моей дороге что-то чернеет и ширится... какая-то яма... «Мо-



гила! — сверкнуло у меня в голове.— Вот куда она толкает меня!»

Я круто поворачиваю назад... Старуха опять передо мною... но она видит! Она смотрит на меня большими, злыми, зловещими глазами... глазами хищной птицы... Я надвигаюсь к ее лицу, к ее глазам... Опять та же тусклая плева, тот же слепой и тупой облик...

«Ах! — думаю я... — эта старуха — моя судьба. Та судьба, от которой не уйти человеку!»

«Не уйди! не уйди! Что за сумасшествие?.. Надо попытаться». И я бросаюсь в сторону, по другому направлению.

Я иду проворно... Но легкие шаги по-прежнему шелестят за мною, близко, близко... И впереди опять темнеет яма.

Я опять поворачиваю в другую сторону... И опять тот же шелест сзади и то же грозное пятно впереди.

И куда я ни мечусь, как заяц на угонках... всё то же, то же!

«Стой! — думаю я.— Обману же я ее! Не пойду я никуда!» — и я мгновенно сажусь на землю.

Старуха стоит позади, в двух шагах от меня. Я ее не слышу, но я чувствую, что она тут.

И вдруг я вижу: то пятно, что чернело вдали, плывет, ползет само ко мне!

Боже! Я оглядываюсь назад... Старуха смотрит прямо на меня — и беззубый рот скривлен усмешкой...

— Не уйдешь!

Февраль, 1878

## СОБАКА

Нас двое в комнате: собака моя и я. На дворе воеет страшная, неистовая буря.

Собака сидит передо мною — и смотрит мне прямо в глаза.

И я тоже гляжу ей в глаза.

Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает — но я ее понимаю.

Я понимаю, что в это мгновение и в ней и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тождественны; в каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек.

Смерть налетит, махнет на него своим холодным широким крылом...

И конец!

Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек?

Нет! это не животное и не человек меняются взглядами...



Это две пары одинаковых глаз устремлены друг на друга.

И в каждой из этих пар, в животном и в человеке — одна и та же жизнь жметя пугливо к другой.

Февраль, 1878

## СОПЕРНИК

У меня был товарищ — соперник; не по занятиям, не по службе или любви; но наши воззрения ни в чем не сходились, и всякий раз, когда мы встречались, между нами возникали нескончаемые споры.

Мы спорили обо всем: об искусстве, о религии, о науке, о земной и загробной — особенно о загробной жизни.

Он был человек верующий и восторженный. Однажды он сказал мне:

— Ты надо всем смеешься; но если я умру прежде тебя, то я явлюсь к тебе с того света... Увидим, засмеешься ли ты тогда?

И он, точно, умер прежде меня, в молодых летах еще будучи; но прошли года — и я позабыл об его обещании, об его угрозе.

Раз, ночью, я лежал в постели — и не мог, да и не хотел заснуть.

В комнате было ни темно, ни светло; я принужден глядеть в седой полумрак.

И вдруг мне почудилось, что между двух окон стоит мой соперник — и тихо и печально качает сверху вниз головою.

Я не испугался — даже не удивился... но, приподнявшись слегка и опершись на локоть, стал еще пристальнее глядеть на неожиданно появившуюся фигуру.

Тот продолжал качать головою.

— Что? — промолвил я наконец. — Ты торжествуешь? или жалеешь? Что это: предостережение или упрек?.. Или ты мне хочешь дать понять, что ты был неправ? что мы оба неправы? Что ты испытываешь? Муки ли ада? Блаженство ли рая? Промолви хоть слово!

Но мой соперник не издал ни единого звука — и только по-прежнему печально и покорно качал головою — сверху вниз.

Я засмеялся... он исчез.

Февраль, 1878

## НИЩИЙ

Я проходил по улице... меня остановил нищий, дряхлый старик.

Воспаленные, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны... О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо!

Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку... Он стонал, он мычал о помощи.

Я стал шарить у себя во всех карманах... Ни кошелька, ни часов, ни даже платка... Я ничего не взял с собою.

А нищий ждал... и протянутая его рука слабо кольхалась и вздрагивала.

Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную, трепетную руку...

— Не взыщи, брат; нег у меня ничего, брат.

Нищий устави́л на меня свои воспаленные глаза; его синие губы усмехнулись — и он в свою очередь стиснул мои похолодевшие пальцы.

— Что же, брат, — прощамкал он, — и на том спасибо. Это тоже подаяние, брат.

Я понял, что и я получил подаяние от моего брата.

Февраль, 1878

## «УСЛЫШИШЬ СУД ГЛУПЦА...»

Пушкин

Ты всегда говорил правду, великий наш певец; ты сказал ее и на этот раз.

«Суд глупца и смех толпы»... Кто не изведal и того и другого?

Всё это можно — и должно переносить; а кто в силах — пусть презирает!

Но есть удары, которые больнее бьют по самому сердцу. Человек сделал всё что мог; работал усиленно, любовно, честно... И честные души гадливо отворачиваются от него; честные лица загораются негодованием при его имени.

— Удались! Ступай вон! — кричат ему честные молодые голоса. — Ни ты нам не нужен, ни твой труд; ты оскверняешь наше жилище — ты нас не знаешь и не понимаешь... Ты наш враг!

Что тогда делать этому человеку? Продолжать трудиться, не пытаться оправдываться — и даже не ждать более справедливой оценки.

Некогда землешащцы проклинали путешественника, принесшего им картофель, замену хлеба, ежедневную пищу бедняка. Они выбивали из протянутых к ним рук драгоценный дар, бросали его в грязь, топтали ногами.

Теперь они питаются им — и даже не ведают имени своего благодетеля.

Пускай! На что им его имя? Он, и безымянный, спасает их от голода.

Будем стараться только о том, чтобы приносимое нами было точно полезною пищей.

Горька неправая укоризна в устах людей, которых любишь... Но перенести можно и это...

«Бей меня! но выслушай!» — говорил афинский вождь спартанскому.

«Бей меня — но будь здоров и сыт!» — должны говорить ты.

Февраль, 1878

## ДОВОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

По улице столицы мчится вприпрыжку молодой еще человек. Его движенья веселы, бойки; глаза сияют, ухмыляются губы, приятно алеет умиленное лицо... Он весь — довольство и радость.

Что с ним случилось? Досталось ли ему наследство? Повысили ли его чином? Спешит ли он на любовное свиданье? Или просто он хорошо позавтракал — и чувство здоровья, чувство сытой силы възглаго во всех его членах? Уж не возложили ли на его шею твой красивый осьмиугольный крест, о польский король Станислав!

Нет. Он сочинил клевету на знакомого, распространил его тщательно, услышал ее, эту самую клевету, из уст другого знакомого — и сам ей поверил.

О, как доволен, как даже добр в эту минуту этот милый, многообещающий молодой человек!

Февраль, 1878

## ЖИТЕЙСКОЕ ПРАВИЛО

— Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить противнику, — говорил мне один старый пройдоха, —

то упрекайте его в том самом недостатке или пороке, который вы за собою чувствуете. Негодуйте!... и упрекайте!

Во-первых — это заставит других думать, что у вас этого порока нет.

Во-вторых — негодование ваше может быть даже искренним... Вы можете воспользоваться укорами собственной совести.

Если вы, например, ренегат, — упрекайте противника в том, что у него нет убеждений!

Если вы сами лакей в душе, — говорите ему с укоризной, что он лакей... лакей цивилизации, Европы, социализма!

— Можно даже сказать: лакей безлакейства! — заметил я.

И это можно, — подхватил прохожий.

Февраль, 1878

## КОНЕЦ СВЕТА

сон

Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме.

Комната большая, низкая, в три окна; стены вымазаны белой краской; мебели нет. Перед домом голая равнина; постепенно понижаясь, уходит она вдаль; серое, одноцветное небо висит над нею как полог.

Я не один; человек десять со мною в комнате. Люди все простые, просто одетые; они ходят вдоль и поперек, молча, словно крадутись. Они избегают друг друга — и, однако, беспрепятственно меняются тревожными взорами.

Ни один не знает: зачем он попал в этот дом и что за люди с ним? На всех лицах беспокійство и унылость... все поочередно подходят к окнам и внимательно оглядываются, как бы ожидая чего-то извне.

Потом опять принимаются бродить вдоль и поперек. Между нами вертится небольшого роста мальчик; от времени до времени он пищит тонким, однозвучным голоском: «Тянька, боюсь!» — Мне тошно на сердце от этого писку — и я тоже начинаю бояться... чего? не знаю сам. Только я чувствую: идет и близится большая, большая беда.

А мальчик нет, нет — да запищит. Ах, как бы уйти отсюда! Как душно! Как томно! Как тяжело!.. Но уйти невозможно.

Это небо — точно саван. И ветра нет... Умер воздух, что ли?

Вдруг мальчик подскочил к окну и закричал тем же жалобным голосом:

— Гляньте! гляньте! земля провалилась!

— Как? провалилась?!

Точно: прежде перед домом была равнина, а теперь он стоит на вершине страшной горы! Небосклон упал, ушел вниз, а от самого дома спускается почти отвесная, точно разрытая, черная круча.

Мы все столпились у окон... Ужас леденит наши сердца.

— Вот оно... вот оно! — шепчет мой сосед.

И вот вдоль всей далекой земной грани зашевелилось что-то, стали подниматься и падать какие-то небольшие кругловатые бугорки.

«Это — море! — подумалось всем нам в одно и то же мгновение. — Оно сейчас нас всех затопит... Только как же оно может расти и подниматься вверх? На эту кручу?»

И, однако, оно растет, растет громадно... Это уже не отдельные бугорки мечутся вдали... Одна сплошная чудовищная волна обхватывает весь круг небосклона.

Она летит, летит на нас! Морозным вихрем несется она, крутится тьмой крошечной. Все задрожало вокруг — а там, в этой налетающей громаде, и треск, и гром, и тысячегортанный, железный лай...

Га! Какой рев и вой! Это земля завывала от страха...

Конец ей! Конец всему!

Мальчик пискнул еще раз... Я хотел было схватиться за товарищей, но мы уже все раздавлены, погребены, потоплены, унесены той, как чернила черной, льдистой, грохочущей волной!

Темнота... темнота вечная!

Едва переводя дыхание, я проснулся.

Март, 1878

## МАША

Проживая — много лет тому назад — в Петербурге, я, всякий раз как мне случалось нанимать извозчика, вступал с ним в беседу.

Особенно любил я беседовать с ночными извозчиками, бедными подгородными крестьянами, прибывавшими в столицу с окрашенными вохрой санишками и плохой клячонкой — в надежде и самим прокормиться и собрать на оброк господам.

Вот однажды нанял я такого извозчика... Парень лет двадцати, рослый, стат-



ный, молодец молодцом; глаза голубые, щеки румяные; русые волосы вьются колечками из-под надвинутой на самые брови заплатанной шапоники. И как только налез этот рваный армячишко на эти богатырские плеча!

Однако красивое безбородое лицо извозчика казалось печальным и хмурым.

Разговорился я с ним. И в голосе его слышалась печаль.

— Что, брат? — спросил я его. — Отчего ты не весел? Али горе есть какое? Парень не тотчас отвечал мне.

— Есть, барин, есть, — промолвил он наконец. — Да и такое, что лучше быть не надо. Жена у меня померла.

— Ты ее любил... жену-то свою?

Парень не обернулся ко мне; только голову наклонил немного.

— Любил, барин. Восьмой месяц пошел... а не могу забыть. Гложет мое сердце... да и ну! И с чего ей было помирать-то? Молодая! здоровая!.. В один день холера порешила.

— И добрая она была у тебя?

Ах, барин! — тяжело вздохнул бедняк. — И как же дружно мы жили с ней! Без меня скончалась. Я как узнал здесь, что ее, значит, уже похоронили, — сейчас в деревню поспешил, домой. Приехал — а уж за полночь стало. Вошел я к себе в избу, остановился посередке и говорю так-то тихохонько: «Маша! а Маша!» Только сверчок трещит. Заплакал я тутотка, сел на избяной пол — да ладонью по земле как хлопну! «Ненасытная, говорю, утроба!.. Сожрала ты ее... сожри ж и меня! Ах, Маша!»

— Маша! — прибавил он внезапно упавшим голосом. И, не выпуская из рук веревочных вожжей, он выдавил рукавицей из глаз слезу, стряхнул ее, сбросил в сторону, повел плечами — и уж больше не произнес ни слова.

Слезая с саней, я дал ему лишний пятиалтынный. Он поклонился мне низехонько, взявшись обеими руками за шапку, — и поплелся шагком по снежной скатерти пустынной улицы, залитой седым туманом январского мороза.

Апрель, 1878

## ДУРАК

Жил-был на свете дурак.

Долгое время он жил припеваючи; но понемногу стали доходить до него слухи, что он всюду слывет за безмозглого пошлеца.

Смутился дурак и начал печалиться

о том, как бы прекратить те неприятные слухи?

Внезапная мысль озарила наконец его темный умишко... И он, нимало не медля, привел ее в исполнение.

Встретился ему на улице знакомый — и принялся хвалить известного живописца...

— Помилуйте! — воскликнул дурак. — Живописец этот давно сдан в архив... Вы этого не знаете? Я от вас этого не ожидал... Вы — отсталый человек.

Знакомый испугался — и тотчас согласился с дураком.

— Какую прекрасную книгу я прочел сегодня! — говорил ему другой знакомый.

— Помилуйте! — воскликнул дурак. — Как вам не стыдно? Никуда эта книга не годится; все на нее давно махнули рукою. Вы этого не знаете? Вы — отсталый человек.

И этот знакомый испугался — и согласился с дураком.

— Что за чудесный человек мой друг N. N.! — говорил дураку третий знакомый. — Вот истинно благородное существо!

— Помилуйте! — воскликнул дурак. — N. N. — заведомый подлец! Родню всю ограбил. Кто ж этого не знает? Вы — отсталый человек!

Третий знакомый тоже испугался — и согласился с дураком, отступился от друга.

И кого бы, что бы ни хвалили при дураке — у него на всё была одна отповедь.

Разве иногда прибавит с укоризной:

— А вы всё еще верите в авторитеты?

— Злюка! Желчевик! — начинали толковать о дураке его знакомые. — Но какая голова!

— И какой язык! — прибавляли другие. — О, да он талант!

Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него критическим отделом.

И дурак стал критиковать всё и всех, нисколько не меняя ни манеры своей, ни своих восклицаний.

Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, — сам авторитет — и юноши перед ним благоговоят и боятся его.

Да и как им быть, бедным юношам? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть... но тут, поди, не возблаговей — в отсталые люди попадаешь!

Житье дуракам между трусами.

Апрель, 1878

Кто в Багдаде не знает великого Джаффара, солнца вселенной?

Однажды, много лет тому назад, — он был еще юношей, — прогуливался Джаффар в окрестностях Багдада.

Вдруг до слуха его долетел хриплый крик: кто-то отчаянно зывал о помощи.

Джаффар отличался между своими сверстниками благоразумием и обдуманностью; но сердце у него было жалостливое — и он надеялся на свою силу.

Он побегал на крик и увидел дряхлого старика, притиснутого к городской стене двумя разбойниками, которые его грабили.

Джаффар выхватил свою саблю и напал на злодеев: одного убил, другого прогнал.

Освобожденный старец пал к ногам своего избавителя и, облобызав край его одежды, воскликнул:

— Храбрый юноша, твое великодушие не останется без награды. На вид я — убогий нищий; но только на вид. Я человек не простой. Приходи завтра ранним утром на главный базар; я буду ждать тебя у фонтана — и ты убедишься в справедливости моих слов.

Джаффар подумал: «На вид человек этот нищий, точно; однако — всяко бывает. Отчего не попытаться?» — и отвечал:

— Хорошо, отец мой; приду.

Старик взглянул ему в глаза — и удалился.

На другое утро, чуть забрезжил свет, Джаффар отправился на базар. Старик уже ожидал его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.

Молча взял он Джаффара за руку и привел его в небольшой сад, со всех сторон окруженный высокими стенами.

По самой середине этого сада, на зеленой лужайке, росло дерево необычайно вида.

Оно походило на кипарис; только листва на нем была лазоревого цвета.

Три плода — три яблока — висело на тонких, кверху загнутых ветках; одно средней величины, продолговатое, молочно-белое; другое большое, круглое, ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое.

Всё дерево слабо шумело, хоть и не было ветра. Оно звенело тонко и жалобно, словно стеклянное; казалось, оно чувствовало приближение Джаффара.

— Юноша! — промолвил старец. — Сорви любой из этих плодов и знай: сорвешь

и съешь белый — будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный — будешь богат, как еврей Ротшильд; сорвешь и съешь желтый — будешь нравиться старым женщинам. Решайся!.. и не мешкай. Через час и плоды завянут, и само дерево уйдет в немую глубь земли!

Джаффар понурил голову — и задумался.

— Как тут поступить? — произнес он вполголоса, как бы рассуждая сам с собою. — Сделаешься слишком умным — пожалуй, жить не захочется; сделаешься богаче всех людей — будут все тебе завидовать; лучше же я сорву и съем третье, сморщенное яблоко!

Он так и поступил; а старец засмеялся беззубым смехом и промолвил:

— О мудрейший юноша! Ты избрал благую часть! На что тебе белое яблоко? Ты и так умнее Соломона. Красное яблоко также тебе не нужно... И без него ты будешь богат. Только богатству твоему никто завидовать не станет.

— Поведай мне, старец, — промолвил, востроумившись, Джаффар, — где живет почтенная мать нашего богоспасаемого халифа?

Старик поклонился до земли — и указал юноше дорогу.

Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Джаффара?

Апрель, 1878

## ДВА ЧЕТВЕРОСТИШИЯ

Существовал некогда город, жители которого до того страстно любили поэзию, что если проходило несколько недель и не появлялось новых прекрасных стихов, — они считали такой поэтический неурожай общественным бедствием.

Они надевали тогда свои худшие одежды, посыпали пеплом головы — и, собираясь толпами на площадях, проливали слезы, горько роптали на музу, покинувшую их.

В один подобный злополучный день молодой поэт Юний появился на площади, переполненной скорбевшим народом.

Проворными шагами взобрался он на особенно устроенный амвон — и подал знак, что желает произнести стихотворение.

Ликторы тотчас замахали жезлами. — Молчание! внимание! — зычно возопили они — и толпа затихла, выжидая.

— Друзья! Товарищи! — начал Юний громким, но не совсем твердым голосом:

Друзья! Товарищи! Любители стихов!  
Поклонники всего, что стройно и красиво!  
Да не смущает вас мгновенье грусти темной!  
Придет желанный миг... и свет рассеет тьму!

Юний умолк... а в ответ ему, со всех концов площади, поднялся гам, свист, хохот.

Все обращенные к нему лица пылали негодованием, все глаза сверкали злобой, все руки поднимались, угрожали, сжимались в кулаки!

— Чем вздумал удивить! — ревели сердитые голоса. — Долой с амвона бездарного рифмоплета! Вон дурака! Гнилыми яблоками, тухлыми яйцами шута горохового! Подайте камней! Камней сюда!

Кубарем скатился с амвона Юний... но он еще не успел прибежать к себе домой, как до слуха его долетели раскаты восторженных рукоплесканий, хвалебных возгласов и кликов.

Исполненный недоуменья, стараясь, однако, не быть замеченным (ибо опасно раздражать залютевшего зверя), возвратился Юний на площадь.

И что же он увидел?

Высоко над толпою, над ее плечами, на золотом плоском щите, облеченный пурпурной хламидой, с лавровым венком на взвившихся кудрях, стоял его соперник, молодой поэт Юлий... А народ вопил кругом:

— Слава! Слава! Слава бессмертному Юлию! Он утешил нас в нашей печали, в нашей горе великом! Он подарил нас стихами слаще меду, звучнее кимвала, душистее розы, чище небесной лазури! Несите его с торжеством, обдавайте его вдохновенную голову мягкой волной фимиама, прохлаждайте его чело мерным колебанием пальмовых ветвей, расточайте у ног его все благовония аравийских мирр! Слава!

Юний приблизился к одному из словословящих.

— Поведай мне, о мой согражданин! какими стихами осчастливил вас Юлий? Увы! меня не было на площади, когда он произнес их! Повтори их, если ты их запомнил, сделай милость!

— Такие стихи — да не запомнить? — ретиво отвечивал вопрошенный. — За кого ж ты меня принимаешь? Слушай — и ликуй, ликуй вместе с нами!

«Любители стихов!» — так начал божественный Юлий...

Любители стихов! Товарищи! Друзья!  
Поклонники всего, что стройно, звучно, нежно!

Да не смущает вас мгновенье скорби тяжелой!  
Желанный миг придет — и день прогонит ночь!

— Каково?

— Помилуй! — возопил Юний, — да это мои стихи! Юлий, должно быть, находился в толпе, когда я произнес их, — он услышал и повторил их, едва изменив, — и уж, конечно, не к лучшему, — несколько выражений!

— Ага! Теперь я узнаю тебя... Ты Юний, — возразил, насунив брови, остановленный им гражданин. — Завистник или глупец!.. Сообрази только одно, несчастный! У Юлия как возвышенно сказано: «И день прогонит ночь!..» А у тебя — чепуха какая-то: «И свет рассеет тьму»?! Какой свет?! Какую тьму?!

— Да разве это не всё едино... — начал было Юний...

— Прибавь еще слово, — перебил его гражданин, — я крикну народу... и он тебя растерзает!

Юний благоразумно умолк, а слышавший его разговор с гражданином седовласый старец подошел к бедному поэту и, положив ему руку на плечо, промолвил:

— Юний! Ты сказал свое — да не вовремя; а тот не свое сказал — да вовремя. Следовательно, он прав — а тебе остаются утешения собственной твоей совести.

Но пока совесть — как могла и как умела... довольно плохо, правду сказать — утешала прижавшегося к сторонке Юлия, — вдали, среди грома и плеска ликований, в золотой пыли всепобедного солнца, блистая пурпуром, темнея лавром сквозь волнистые струи обильного фимиама, с величественной медленностью, подобно царю, шествующему на царство, плавно двигалась гордо выпрямленная фигура Юлия... и длинные ветви пальм поочередно склонялись перед ним, как бы выражая своим тихим вздыманьем, своим покорным наклоном — то непрестанно возобновлявшееся обожание, которое переполняло сердца очарованных им сограждан!

Апрель, 1878

## ВОРОБЕЙ

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда



(ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой — и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище... но всё его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса — и удалился, благоговей.

— Да; не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Апрель, 1878

## ЧЕРЕПА

Роскошная, пышно освещенная зала; множество кавалеров и дам.

Все лица оживлены, речи бойки... Идет трескучий разговор об одной известной певице. Ее величают божественной, бессмертной... О, как хорошо пустила она вчера свою последнюю трель!

И вдруг — словно по магию волшебного жезла — со всех голов и со всех лиц слетела тонкая шелуха кожи и мгновенно выступила наружу мертвенная белизна черепов, зарябили синеватым оловом обнаженные десны и скулы.

С ужасом глядел я, как двигались и шевелились эти десны и скулы, как поворачивались, лоснясь при свете ламп и свечей, эти шишковатые, костяные шары и как вертелись в них другие, меньшие шары — шары обесмысленных глаз.

Я не смел прикоснуться к собственному лицу, не смел взглянуть на себя в зеркало.

А черепа поворачивались по-прежнему... И с прежним треском, мелькая красными лоскуточками из-за оскаленных

зубов, проворные языки лепетали о том, как удивительно, как неподражаемо бессмертная... да, бессмертная певица пустила свою последнюю трель

Апрель, 1878

## ЧЕРНОРАБОЧИЙ И БЕЛОРУЧКА

РАЗГОВОР

*Чернорабочий*

Что ты к нам лезешь? Чего тебе надо? Ты не наш... Ступай прочь!

*Белоручка*

Я ваш, братцы!

*Чернорабочий*

Как бы не так! Наш! Что выдумал! Посмотри хоть на мои руки. Видишь, какие они грязные? И навозом от них несет и дегтем — а твои вон руки белые. И чем от них пахнет?

*Белоручка (подавая свои руки)*

Понюхай.

*Чернорабочий (понюхав руки)*

Что за притча? Словно железом от них отдает.

*Белоручка*

Железом и есть. Целых шесть лет я на них носил кандалы.

*Чернорабочий*

А за что же это?

*Белоручка*

А за то, что я о вашем же добре заботился, хотел освободить вас, серых, темных людей, восставал против притеснителей ваших, бунтовал... Ну, меня и засадили.

*Чернорабочий*

Засадили? Вольно ж тебе было бунтовать!

*Два года спустя*

*Тот же чернорабочий (грутому)*

Слышь, Петра!.. Помнишь, позапрошлым летом один такой белоручка с тобой беседовал?

*Другой чернорабочий*

Помню... а что?

*Первый чернорабочий*

Его сегодня, слышь, повесят; такой приказ вышел.

*Второй чернорабочий*

Всё бунтовал?

*Первый чернорабочий*

Всё бунтовал.

*Второй чернорабочий*

Да... Ну, вот что, брат Митряй; нельзя ли нам той самой веревочки раздобыть, на которой его вешать будут; говорят, ба-альное счастье от этого в дому бывает!

*Первый чернорабочий*

Это ты справедливо. Надо попытаться, брат Петра.

Апрель, 1878

РОЗА

Последние дни августа... Осень уже наступала.

Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень, без грома и без молний, только что промчался над нашей широкой равниной.

Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя.

Она сидела за столом в гостиной и с упорной задумчивостью глядела в сад сквозь полуоткрытую дверь.

Я знал, что свершалось тогда в ее душе; я знал, что после недолгой, хоть и мучительной, борьбы она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладить.

Вдруг она поднялась, проворно вышла в сад и скрылась.

Пробил час... пробил другой; она не возвращалась.

Тогда я встал и, выйдя из дому, отправился по аллее, по которой — я в том не сомневался — пошла и она.

Всё потемнело вокруг; ночь уже нагнулась. Но на сыром песку дорожки, ярко алая даже сквозь разлитую мглу, виднелся кругловатый предмет.

Я наклонился... То была молодая, чуть распутившаяся роза. Два часа тому назад я видел эту самую розу на ее груди.

Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол, перед ее креслом.

Вот и она вернулась наконец — и, легкими шагами пройдя всю комнату, села за стол.

Ее лицо и побледнело и ожило; быстро, с веселым смущением бегали по сторонам опущенные, как бы уменьшенные глаза.

Она увидела розу, схватила ее, взглянула на ее измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня — и глаза ее, внезапно остановившись, засияли слезами.

— О чем вы плачете? — спросил я.

— Да вот об этой розе. Посмотрите, что с ней случилось.

Тут я вздумал выказать глубокомыслие.

— Ваши слезы смоят эту грязь, — промолвил я с значительным выраженьем.

— Слезы не моют, слезы жгут, — отвечала она и, обернувшись к камину, бросила цветов в умиравшее пламя.

— Огонь сожжет еще лучше слез, — воскликнула она не без удали, — и прекрасные глаза, еще блестящие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо.

Я понял, что и она была сожжена.

Апрель, 1878

ПАМЯТИ Ю. П. ВРЕВСКОЙ

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — с лишком две недели умерала она от тифа.

Она была в беспамятстве — и ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались с своих зараженных логовиц, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез.

Нежное кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастья... не ведала — и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветныеклады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает.



Да и к чему? Жертва принесена... дело злано.

Но горестно думать, что никто не скажет спасибо даже ее труп — хоть она ча и стыдилась и чуждалась всякого зсибо.

Пусть же не оскорбится ее милая зь этим поздним цветком, который зсмеливаюсь возложить на ее могилу!

Сентябрь, 1878

### ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый г — и мы расстались, как враги.

Прошло много лет... И вот, заехав ород, где он жил, я узнал, что он без-

надежно болен — и желает видиться со мною.

Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились.

Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!

Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась — и на съёженные зрочки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.

Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку. Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою.

Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает ее с ног до головы. Никуда не смотрят ее глубокие бледные глаза; ничего не говорят ее бледные строгие губы...

Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас.

Да... Смерть нас примирила.

Апрель, 1878

### ПОРОГ

Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настезь; за дверью — угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с ледящей струей выносятся из глубины здания медлительный, глухой голос.

— О ты, что желаешь переступить этот порог, — знаешь ли ты, что тебя ожидает?

— Знаю, — отвечает девушка.

— Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть?

— Знаю.

— Отчуждение полное, одиночество?

— Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

— Не только от врагов — но и от родных, от друзей?

— Да... и от них.

— Хорошо. Ты готова на жертву?

— Да.

— На безымянную жертву? Ты погиб-





— Войди!  
Девушка перешагнула порог — и тяжелая завеса упала за нею.  
— Дура! — проскрежетал кто-то зади.  
— Святая! — принеслось откуда-то в ответ.

Май, 1878

## ПОСЕЩЕНИЕ

Я сидел у раскрытого окна... утром, ранним утром первого мая.

Заря еще не занималась; но уже бледнела, уже холодела темная теплая ночь.

Туман не вставал, не бродил ветерок, всё было одноцветно и безмолвно... но чуялась близость пробуждения — и в поредевшем воздухе пахло жесткой сыростью росы.

Вдруг в мою комнату, сквозь раскрытое окно, легко позванивая и шурша, влетела большая птица.

Я вздрогнул, взгляделся... То была не птица, то была крылатая маленькая женщина, одетая в тесное, длинное, киизу волнистое платье.

Вся она была серая, перламутрового цвета; одна лишь внутренняя сторона ее крылышек адела нежной алостью распускающейся розы; венчик из ландышей охватывал разбросанные кудри круглой головки — и, подобные усикам бабочки, два павлиньих пера забавно колебались над красивым, выпуклым лобиком.

Она пронеслась раза два под потолком; ее крошечное лицо смеялось; смеялись также огромные, черные, светлые глаза.

Веселая резвость прихотливого полета дробила их алмазные лучи.

Она держала в руке длинный стебель степного цветка: «царским жезлом» зовут его русские люди, — он и то похож на скипетр.

Стремительно пролетая надо мною, коснулась она моей головы тем цветком.

Я рванулса к ней... Но она уже выпорхнула из окна — и умчалась.

В саду, в глуши сиреневых кустов, горlinka встретила ее первым воркованьем — а там, где она скрылась, молочно-белое небо тихонько закраснелось.

Я узнал тебя, богиня фантазии! Ты посетила меня случайно — ты полетела к молодым поэтам.

О поэзия! Молодость! Женская, девственная красота! Вы только на миг можете блеснуть передо мною — ранним утром ранней весны!

Май, 1878

нешь — и никто... никто не будет даже знать, чью память почтить!

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

— Готова ли ты на преступление? Девушка потупила голову...

— И на преступление готова.

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

— Знаешь ли ты, — заговорил он наконец, — что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?

— Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

NECESSITAS, VIS, LIBERTAS<sup>1</sup>  
БАРЕЛЬЕФ

Высокая костлявая старуха с железным лицом и неподвижно-тупым взором идет большими шагами и сухою, как палка, рукою толкает перед собой другую женщину.

Женщина эта огромного роста, могучая, дебилая, с мышцами, как у Геркулеса, с крохотной головкой на бычачьей шее — и слепая — в свою очередь толкает небольшую, худенькую девочку.

У одной этой девочки зрячие глаза; она упирается, оборачивается назад, поднимает тонкие, красивые руки; ее оживленное лицо выражает нетерпенье и отвагу... Она не хочет слушаться, она не хочет идти, куда ее толкают... и все-таки должна повиноваться и идти.

Necessitas, Vis, Libertas.

Кому угодно — пусть переводит.

Май, 1878

МИЛОСТЫНЯ

Вблизи большого города, по широкой проезжей дороге шел старый, больной человек.

Он шатался на ходу, его исхудалые ноги, пугаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжело и слабо, словно чужие; одежда на нем висела лохмотьями; непокрытая голова падала на грудь... Он изнемогал.

Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками — и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, седую пыль.

Он вспоминал...

Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат — и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам... И вот теперь у него нет куска хлеба — и все его покинули, друзья еще раньше врагов... Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце и стыдно.

А слезы всё капали да капали, пестря седую пыль.

Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени; он поднял усталую голову — и увидал перед собою незнакомца.

Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые; взор пронзительный, но не злой.

— Ты всё свое богатство роздал, — слышался ровный голос... — Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал?

— Не жалею, — ответил со вздохом старик, — только вот умираю я теперь.

— И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, — продолжал незнакомец, — не над кем было бы тебе показать свою добродетель, не мог бы ты упражняться в ней?

Старик ничего не ответил — и задумался.

— Так и ты теперь не гордись, бедняк, — заговорил опять незнакомец, — ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры.

Старик встрепенулся, вскинул глазами... но незнакомец уже исчез; а вдали на дороге показался прохожий.

Старик подошел к нему — и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего.

Но за ним шел другой — и тот подал старику малую милостыню.

И старик купил себе на данные гроши хлеба — и сладок показался ему выпрошенный кусок — и не было стыда у него на сердце, а напротив: его осенила тихая радость.

Май, 1878

НАСЕКОМОЕ

Снилось мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с раскрытыми окнами.

Между нами женщины, дети, старики... Все мы говорим о каком-то очень известном предмете — говорим шумно и невнятно.

Вдруг в комнату с сухим треском влетело большое насекомое, вершка в два дюйма... влетело, покружилось и село на стену.

Оно походило на муху или на осу. Туловище грязно-бурого цвету; такого же цвету и плоские жесткие крылья; растопыренные мохнатые лапки да голова угловатая и крупная, как у коромыслов; и голова эта и лапки — ярко-красные, точно кровавые.

Странное это насекомое беспрестанно поворачивало голову вниз, вверх, вправо, влево, передвигало лапки... потом вдруг срывалось со стены, с треском летало по комнате — и опять садилось, опять жутко и противно шевелилось, не трогаясь с места.

Во всех нас оно возбуждало отвращение, страх, даже ужас... Никто из нас

<sup>1</sup> Необходимость, Сила, Свобода (лат.).

не видал ничего подобного, все кричали: «Гоните вон это чудовище!», все махали платками издали... ибо никто не решался подойти... и когда насекомое взлетало — все невольно сторонились.

Лишь один из наших собеседников, молодой еще, бледнолицый человек, оглядывал нас всех с недоумением. Он пожимал плечами, он улыбался, он решительно не мог понять, что с нами стало и с чего мы так волнуемся? Сам он не видел никакого насекомого — не слышал зловещего треска его крыл.

Вдруг насекомое словно устало на него, взвилось и, прикинув к его голове, ужалило его в лоб повыше глаз... Молодой человек слабо ахнул — и упал мертвым.

Страшная муха тотчас улетела... Мы только тогда догадались, что это была за гостья.

Май, 1878

## ЩИ

У бабы-вдовы умер ее единственный двадцатилетний сын, первый на селе работник.

Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон.

Она застала ее дома.

Стоя посреди избы, перед столом, она, не спеша, ровным движением правой руки (левая висела плетью) черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой.

Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли... но она держалась истово и прямо, как в церкви.

«Господи! — подумала барыня. — Она может есть в такую минуту... Какие, однако, у них у всех грубые чувства!»

И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятилетнюю дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе!

А баба продолжала хлебать щи.

Барыня не вытерпела наконец.

— Татьяна! — промолвила она. — Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи!

— Вася мой помер, — тихо проговорила баба, и набольшие слезы снова побежали по ее впавым щекам. — Значит, и мой пришел конец: с живой с меня сняли голову. А щам не пропадать же: ведь они посолённые.

Барыня только плечами пожала — и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево.

Май, 1878

## ЛАЗУРНОЕ ЦАРСТВО

О лазурное царство! О царство лазури, света, молодости и счастья! Я видел тебя... во сне.

Нас было несколько человек на красивой, разубранной лодке. Лебединой грудью вздымался белый парус под резвыми вымпелами.

Я не знал, кто были мои товарищи; но я всем своим существом чувствовал, что они были так же молоды, веселы и счастливы, как и я!

Да я и не замечал их. Я видел кругом одно безбрежное лазурное море, всё покрытое мелкой рябью золотых чешуек, а над головою такое же безбрежное, такое же лазурное небо — и по нему, торжествуя и словно смеясь, катилось ласковое солнце.

И между нами по временам поднимался смех звонкий и радостный, как смех богов!

А не то вдруг с чых-нибудь уст слетали слова, стихи, исполненные дивной красоты и вдохновенной силы... Казалось, самое небо звучало им в ответ — и кругом море сочувственно трепетало... А там опять наступала блаженная тишина.

Слегка ныряя по мягким волнам, плыва наша быстрая лодка. Не ветром двигалась она; ею правили наши собственные играющие сердца. Куда мы хотели, туда она и неслась, послушно, как живая.

Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с отливами драгоценных камней, яхонтов и изумрудов. Упоительные благовония неслись с округлых берегов; одни из этих островов осыпали нас дождем белых роз и ландышей; с других внезапно поднимались радужные длиннокрылые птицы.

Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной пене, скользившей вдоль гладких боков нашей лодки.

Вместе с цветами, с птицами прилетали сладкие, сладкие звуки... Женские голоса чудились в них... И всё вокруг: небо, море, колыхание паруса в вышине, журчание струи за кормою — всё говорило о любви, о блаженной любви!



И та, которую каждый из нас любил, — она была тут... невидимо и близко. Еще мгновение — и вот засияют ее глаза, расцветет ее улыбка... Ее рука возьмет твою руку — и увлечет тебя за собою в неувядаемый рай!

О лазурное царство! я видел тебя... во сне.

Июнь, 1878

## ДВА БОГАЧА

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко.

— Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут, — не на что будет соли добыть, похлебку посолить...

— А мы ее... и не соленую, — ответил мужик, ее муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика!  
Июль, 1878

## СТАРИК

Настали темные, тяжелые дни...

Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости... Всё, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, — никнет и разрушается. Под гору пошла дорога.

Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты этим не поможешь.

На засыхающем, покоробленном дереве лист мельче и реже — но зелень его та же.

Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминанья, — и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, всё еще свежей зеленью и лаской и силой весны!

Но будь осторожен... не гляди вперед, бедный старик!

Июль, 1878

## КОРРЕСПОНДЕНТ

Двое друзей сидят за столом и пьют чай.

Внезапный шум поднялся на улице.

Слышны жалобные стоны, ярые ругательства, взрывы злорадного смеха.

— Кого-то бьют, — заметил один из друзей, выглянув из окна.

— Преступника? Убийцу? — спросил другой. — Слушай, кто бы он ни был, нельзя допустить бессудную расправу. Пойдем заступимся за него.

— Да это бьют не убийцу.

— Не убийцу? Так вора? Всё равно, пойдем отнимем его у толпы.

— И не вора.

— Не вора? Так кассира, железнодорожника, военного поставщика, российского мецената, адвоката, благонамеренного редактора, общественного жертвователя?.. Все-таки пойдем поможем ему!

— Нет... это бьют корреспондента.

— Корреспондента? Ну, знаешь что: допьем сперва стакан чаю.

Июль, 1878

## ДВА БРАТА

То было видение...

Передо мною появилось два ангела... два гения.

Я говорю: ангелы... гении — потому что у обоих на обнаженных телах не было никакой одежды и за плечами у каждого вздымались сильные длинные крылья.

Оба — юноши. Один — несколько полный, гладкокожий, чернокудрый. Глаза карие, с поволокой, с густыми ресницами; взгляд вкрадчивый, веселый и жадный. Лицо прелестное, пленительное, чуть-чуть дерзкое, чуть-чуть злое. Алые пухлявые губы слегка вздрагивают. Юноша улыбается, как власть имеющий — самоуверенно и лениво; пышный цветочный венчик слегка покоится на блестящих волосах, почти касаясь бархатных бровей. Пестрая шкурка леопарда, перехваченная золотой стрелою, легко повисла с округлого плеча на выгнутое бедро. Перья крыльев отливают розовым цветом; концы их ярко-красны, точно омочены багряной, свежей кровью. От времени до времени они трепещут быстро, с приятным серебристым шумом, шумом весеннего дождя.

Другой был худ и желтоват телом. Ребра слабо виднелись при каждом вдыхании. Волосы белокурые, жидкие, прямые; огромные, круглые, бледно-серые глаза... взгляд беспокойный и странно-светлый. Все черты лица заостренные; маленький полураскрытый рот с рыбьими

зубами; сжатый, орлиный нос, выдающийся подбородок, покрытый беловатым пухом. Эти сухие губы ни разу, никогда не улыбнулись.

То было правильное, страшное, безжалостное лицо! (Впрочем, и у первого, у красавца, — лицо, хоть и милое и сладкое, жалости не выражало тоже.) Вокруг головы второго зацепилось несколько пустых поломанных колосьев, перевитых поблеклой былинкой. Грубая серая ткань обвиняла чресла; крылья за спиною, темно-синие, матового цвета, двигались тихо и грозно.

Оба юноши казались неразлучными товарищами.

Каждый из них опирался на плечо другого. Мягкая ручка первого лежала, как виноградный гроздь, на сухой ключице второго; узкая кисть второго с длинными тонкими пальцами протянулась, как змея, по жеиоподобной груди первого.

И слышался мне голос... Вот что произнес он: «Перед тобой Любовь и Голод — два родных брата, две коренных основы всего живущего.

Всё, что живет — движется, чтобы питаться; и питается, чтобы воспроизводить.

Любовь и Голод — цель их одна: нужно, чтобы жизнь не прекращалась, собственная и чужая — всё та же, всеобщая жизнь».

Август, 1878

## ЭГОИСТ

В нем было всё нужное для того, чтобы сделаться бичом своей семьи.

Он родился здоровым; родился богатым — и в течение всей своей долгой жизни, оставаясь богатым и здоровым, не совершил ни одного проступка, не впал ни в одну ошибку, не обмолвился и не промахнулся ни разу.

Он был безукоризненно честен!.. И, гордый сознанием своей честности, давил его всех: родных, друзей, знакомых.

Честность была его капиталом... и он брал с него ростовщичьи проценты.

Честность давала ему право быть безжалостным и не делать неуказного добра; и он был безжалостным — и не делал добра... потому что добро по указу — не добро.

Он никогда не заботился ни о ком, кроме собственной — столь примерной! — особы, и искренно возмущался, если и другие так же старательно не заботились о ней!

И в то же время он не считал себя эгоистом — и пуще всего порицал и преследовал эгоистов и эгоизм! Еще бы! Чужой эгоизм мешал его собственному.

Не ведая за собой ни малейшей слабости, он не понимал, не допускал ничьей слабости. Он вообще никого и ничего не понимал, ибо был весь, со всех сторон, снизу и сверху, сзади и спереди, окружен самим собою.

Он даже не понимал: что значит прощать? Самому себе прощать ему не приходилось... С какой стати стал бы он прощать другим?

Перед судом собственной совести, перед лицом собственного бога — он, это чудо, этот изверг добродетели, возводил очи горё и твердым и ясным голосом произносил: «Да, я достойный, я нравственный человек!»

Он повторит эти слова на смертном ложе — и ничего не дрогнет даже и тогда в его каменном сердце, в этом сердце без пятнышка и без трещины.

О безобразии самодовольной, непреклонной, дешево доставшейся добродетели, ты едва ли не противней откровенного безобразия порока!

Декабрь, 1878

## ПИР У ВЕРХОВНОГО СУЩЕСТВА

Однажды Верховное Существо вздумало задать великий пир в своих лазоревых чертогах.

Все добродетели были им позваны в гости. Одни добродетели... мужчин он не приглашал... одних только дам.

Собралось их очень много — великих и малых. Малые добродетели были приятнее и любезнее великих; но все казались довольными и вежливо разговаривали между собою, как приличествует близким родственникам и знакомым.

Но вот Верховное Существо заметило двух прекрасных дам, которые, казалось, вовсе не были знакомы друг с дружкой.

Хозяин взял за руку одну из этих дам и подвел ее к другой.

«Благодетельности!» — сказал он, указав на первую.

«Благодарности!» — прибавил он, указав на вторую.

Обе добродетели несказанно удивились: с тех пор как свет стоял — а стоял он давно, — они встречались в первый раз!

Декабрь, 1878

## СФИНКС

Изжелта-серый, сверху рыхлый, исподнизу твердый, скрыпучий песок... песок без конца, куда ни взглянешь!

И над этой песчаной пустыней, над этим морем мертвого праха высится громадная голова египетского сфинкса.

Что хотят сказать эти крупные, выпяченные губы, эти неподвижно-расширенные, вздернутые ноздри — и эти глаза, эти длинные, полусонные, полувнимательные глаза под двойной дугой высоких бровей?

А что-то хотят сказать они! Они даже говорят — но один лишь Эдип умеет разрешить загадку и понять их безмолвную речь.

Ба! Да я узнаю эти черты... в них уже нет ничего египетского. Белый низкий лоб, выдающиеся скулы, нос короткий и прямой, красивый белозубый рот, мягкий ус и борода курчавая — и эти широко расставленные небольшие глаза... а на голове шапка волос, расчеченная пробором... Да это ты, Карп, Сидор, Семен, ярославский, рязанский мужичок, соотчич мой, русская косточка! Давно ли попал ты в сфинксы?

Или и ты тоже что-то хочешь сказать? Да, и ты тоже — сфинкс.

И глаза твои — эти бесцветные, но глубокие глаза говорят тоже... И так же безмолвны и загадочны их речи.

Только где твой Эдип?

Увы! не довольно надеть мурмолку, чтобы сделаться твоим Эдипом, о все-российский сфинкс!

Декабрь, 1878

## НИМФЫ

Я стоял перед цепью красивых гор, раскинутых полукругом; молодой зеленый лес покрывал их сверху донизу.

Прозрачно синело над ними южное небо; солнце с вышины играло лучами; внизу, полузакрытые травкою, болтали проворные ручьи.

И вспомнилось мне старинное сказание о том, как, в первый век по рождении Христове, один греческий корабль плыл по Эгейскому морю.

Час был полуденный... Стояла тихая погода. И вдруг, в высоте, над головою кормчего, кто-то явственно произнес:

— Когда ты будешь плыть мимо острова, воззови громким голосом: «Умер Великий Пан!»

Кормчий удивился... испугался. Но когда корабль побежал мимо острова, он послушался, он воззвал:

— Умер Великий Пан!

И тотчас же, в ответ на его клик, по всему протяжению берега (а остров был необитаем) раздалась громкая рыданья, стоны, протяжные, жалостные возгласы:

— Умер! Умер Великий Пан!

Мне вспомнилось это сказание... и странная мысль посетила меня. «Что, если и я кликну клич?»

Но в виду окружавшего меня ликования я не мог подумать о смерти — и что было во мне силы закричал:

— Воскрес! Воскрес Великий Пан!

И тотчас же — о чудо! — в ответ на мое восклицание по всему широкому полукружью зеленых гор прокатился дружный хохот, поднялся радостный говор и плеск. «Он воскрес! Пан воскрес!» — шумели молодые голоса. Всё там впереди внезапно засмеялось, ярче солнца в вышине, игривее ручьев, болтавших под травкою. Послышался торопливый топот легких шагов, сквозь зеленую чащу замелькала мраморная белизна волнистых туник, живая алость обнаженных тел... То нимфы, нимфы, дриады, вакханки бежали с высот в равнину...

Они разом показались по всем опушкам. Локоны вьются по божественным головам, стройные руки поднимают венки и тимпаны — и смех, сверкающий, олимпийский смех бежит и катится вместе с ними...

Впереди несется богиня. Она выше и прекраснее всех, — колчан за плечами, в руках лук, на поднятых кудрях серебристый серп луны...

Диана, это — ты?

Но вдруг богиня остановилась... и тотчас, вслед за нею, остановились все нимфы. Звонкий смех замер. Я видел, как лицо внезапно онемевшей богини покрылось смертельной бледностью; я видел, как опустились и повисли ее руки, как окаменели ноги, как невыразимый ужас разверз ее уста, расширил глаза, устремленные вдаль... Что она увидела? Куда глядела она?

Я обернулся в ту сторону, куда она глядела...

На самом краю неба, за низкой чертою полей, горел огненной точкой золотой крест на белой колокольне христианской церкви... Этот крест увидела богиня.

Я услышал за собою неровный, длинный вздох, подобный трепетанию лопнувшей струны, — и когда я обернулся снова, уже от нимф не осталось и следа... Широкий лес зеленел по-прежнему.



му, — и только местами сквозь частую сеть ветвей виднелись, таяли клочки чего-то белого. Были ли то туники нимф, поднимался ли пар со дна долин — не знаю.

Но как мне было жаль исчезнувших богинь!

Декабрь, 1878

## ВРАГ И ДРУГ

Осужденный на вечное заточенье узник вырвался из тюрьмы и стремглав пустился бежать... За ним по пятам мчалась погоня.

Он бежал изо всех сил... Преследователи начинали отставать.

Но вот перед ним река с крутыми берегами, узкая — но глубокая река... А он не умеет плавать!

С одного берега на другой перекинута тонкая гнилая доска. Беглец уже занес на нее ногу... Но случилось так, что тут же возле реки стояли: лучший его друг и самый жестокий его враг.

Враг ничего не сказал и только скрестил руки; зато друг закричал во всё горло:

— Помилуй! Что ты делаешь? Опомнись, безумец! Разве ты не видишь, что доска совсем сгнила? Она сломится под твоєю тяжестью — и ты неизбежно погибнешь!

— Но ведь другой переправы нет... а погоню слышишь? — отчаянно простонал несчастный и ступил на доску.

— Не допущу!.. Нет, не допущу, чтобы ты погибнул! — возопил ревностный друг и выхватил из-под ног беглеца доску. Тот мгновенно бухнул в бурные волны — и утонул.

Враг засмеялся самодовольно — и пошел прочь; а друг присел на бережку — и начал горько плакать о своем бедном... бедном друге!

Обвинять самого себя в его гибели он, однако, не подумал... ни на миг.

— Не послушался меня! Не послушался! — шептал он уныло.

— А впрочем! — промолвил он наконец. — Ведь он всю жизнь свою должен был томиться в ужасной тюрьме! По крайней мере он теперь не страдает! Теперь ему легче! Знать, уж такая ему выпала доля!

— А все-таки жалко, по человечеству!

И добрая душа продолжала неутешно рыдать о своем злополучном друге.

Декабрь, 1878

Я видел себя юношей, почти мальчиком в низкой деревенской церкви. Красными пятнышками теплились перед старинными образами восковые тонкие свечи.

Радужный венчик окружал каждое маленькое пламя. Темно и тускло было в церкви... Но народу стояло передо мною много.

Всё русые, крестьянские головы. От времени до времени они начинали колыхаться, падать, подниматься снова, словно зрелые колосья, когда по ним медленной волной пробегает летний ветер.

Вдруг какой-то человек подошел сзади и стал со мною рядом.

Я не обернулся к нему — но тотчас почувствовал, что этот человек — Христос.

Умиление, любопытство, страх разом овладели мною. Я сделал над собою усилие... и посмотрел на своего соседа.

Лицо, как у всех, — лицо, похожее на все человеческие лица. Глаза глядят немного ввысь, внимательно и тихо. Губы закрыты, но не сжаты: верхняя губа как бы покоится на нижней. Небольшая борода раздвоена. Руки сложены и не шевелятся. И одежда на нем как на всех.

«Какой же это Христос! — подумалось мне. — Такой простой, простой человек! Быть не может!»

Я отвернулся прочь. Но не успел я отвести взор от того простого человека, как мне опять почудилось, что это именно Христос стоит со мной рядом.

Я опять сделал над собою усилие... И опять увидел то же лицо, похожее на все человеческие лица, те же обычные, хоть и незнакомые черты.

И мне вдруг стало жутко — и я пришел в себя. Только тогда я понял, что именно такое лицо — лицо, похожее на все человеческие лица, — оно и есть лицо Христа.

Декабрь, 1878

## КАМЕНЬ

Видали ли вы старый серый камень на морском побережье, когда в него, в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны — бьют и играют и ластятся к нему — и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены?

Камень остается тем же камнем — но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета.

Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами.

Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души — и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня!

Волны отхлынули... но краски еще не потускнели — хоть и сушит их резкий ветер.

Май, 1879

## ГОЛУБИ

Я стоял на вершине пологого холма; передо мною — то золотым, то посеребренным морем — раскинулась и пестрела спелая рожь.

Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая.

Около меня солнце еще светило — горячо и тускло; но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона.

Всё притаилось... всё изнывало под зловецким блеском последних солнечных лучей. Не слышать, не видеть ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий крупный лист лопуха.

Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду... и смутно было на душе. Ну скорей же, скорей! — думалось мне, — сверхни, золотая змейка, дрогни, гром! двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье!

Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю... и только словно пухла да темнела.

И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь.

Летел, летел — всё прямо, прямо... и потонул за лесом.

Прошло несколько мгновений — та же стояла жестокая тишь... Но глядь! Уже два платка мелькают, два комочка несутся назад: то летят домой ровным полетом два белых голубя.

И вот, наконец, сорвалась буря — и пошла потеха!

Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие,

низкие, словно в ключья разорванные облака, все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, стреляет как из пушки отрывистый гром, запахло серой...

Но под навесом крыши, на самом краешке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя — и тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас.

Наохлились оба — и чувствует каждый своим крылом крыло соседа...

Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них... Хоть я и один... один, как всегда.

Май, 1879

## ЗАВТРА! ЗАВТРА!

Как пуст, и вял, и ничтожен почти всякий прожитой день! Как мало следов оставляет он за собою! Как бессмысленно глупо пробежали эти часы за часами!

И между тем человеку хочется существовать; он дорожит жизнью, он надеется на нее, на себя, на будущее... О, каких благ он ждет от будущего!

Но почему же он воображает, что другие, грядущие дни не будут похожи на этот только что прожитый день?

Да он этого и не воображает. Он вообще не любит размышлять — и хорошо делает.

«Вот завтра, завтра!» — утешает он себя, пока это «завтра» не свалит его в могилу.

Ну, а раз в могиле — поневоле размышлять перестанешь.

Май, 1879

## ПРИРОДА

Мне снилось, что я вошел в огромную подземную хранину с высокими сводами. Ее всю наполнял какой-то тоже подземный, ровный свет.

По самой середине хранины сидела величавая женщина в волнистой одежде зеленого цвета. Склонив голову на руку, она казалась погруженной в глубокую думу.

Я тотчас понял, что эта женщина — сама Природа, — и мгновенным холодом внедрился в мою душу благоговейный страх.

Я приблизился к сидящей женщине — и, отдав почтительный поклон:

— О наша общая мать! — воскликнул я. — О чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах человечества размышляешь

ты? Не о том ли, как ему дойти до возможного совершенства и счастья?

Женщина медленно обратила на меня свои темные, грозные глаза. Губы ее шевельнулись — и раздался зычный голос, подобный лязгу железа.

— Я думаю о том, как бы придать большую силу мышцам ног блохи, чтобы ей удобнее было спастись от врагов своих. Равновесие нападения и отпора нарушено... Надо его восстановить.

— Как? — пролепетал я в ответ. — Ты вот о чем думаешь? Но разве мы, люди, не любимые твои дети?

Женщина чуть-чуть наморщила брови: — Все твари мои дети, — промолвила она, — и я одинаково о них забочусь — и одинаково их истребляю.

— Но добро... разум... справедливость... — пролепетал я снова.

— Это человеческие слова, — раздался железный голос. — Я не ведаю ни добра, ни зла... Разум мне не закон — и что такое справедливость? Я тебе дала жизнь — я ее отниму и дам другим, червям или людям... мне всё равно... А ты пока защищайся — и не мешай мне!

Я хотел было возражать... но земля кругом глухо застонала и дрогнула и я проснулся.

Август, 1879

### «ПОВЕСИТЬ ЕГО!»

— Это случилось в 1805 году, — начал мой старый знакомый, — незадолго до Аустерлица. Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии.

Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей; они и так смотрели на нас косо, хоть мы и считались союзниками.

У меня был денщик, бывший крепостной моей матери, Егор по имени. Человек он был честный и смиренный; я знал его с детства и обращался с ним как с другом.

Вот однажды в доме, где я жил, поднялись бранчивые крики, вопли: у хозяйки украли двух кур, и она в этой краже обвиняла моего денщика. Он оправдывался, призывал меня в свидетели... «Станет он красть, ой, Егор Автомонов!» Я уверял хозяйку в честности Егора, но она ничего слушать не хотела.

Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский топот: то сам главнокомандующий проезжал со своим штабом.

Он ехал шагом, толстый, обрюзглый, с понурой головой и свислыми на грудь эполетами.

Хозяйка увидела его — и, бросившись наперез его лошади, пала на колени — и вся растерзанная, простоволосая, начала громко жаловаться на моего денщика, указывала на него рукою.

Господин генерал! — кричала она, — ваше сиятельство! Рассудите! Помогите! Спасите! Этот солдат меня ограбил!

Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шапкой в руке, даже грудь выставил и ноги сдвинул, как часовой. — и хоть бы слово! Смутил ли его весь этот остановившийся посреди улицы генералитет, окаменел ли он перед налетающей бедою — только стоит мой Егор да мигает глазами — а сам бел, как глина!

Главнокомандующий бросил на него рассеянный и угрюмый взгляд, промычал сердито:

— Ну?..

Стоит Егор как истукан и зубы оскалил! Со стороны посмотреть: словно смеется человек.

Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто:

— Повесить его! — толкнул лошадь под бока и двинулся дальше — сперва опять-таки шагом, а потом шибкой рысью. Весь штаб помчался вслед за ним; один только адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора.

Ослушаться было невозможно... Егора тотчас схватили и повели на казнь.

Тут он совсем помертвел — и только раза два с трудом воскликнул:

— Батюшки! батюшки! — а потом вполголоса: — Видит бог — не я!

Горько, горько заплакал он, прощаясь со мною. Я был в отчаянии.

— Егор! Егор! — кричал я, — как же ты это ничего не сказал генералу!

— Видит бог, не я, — повторял, всхлипывая, бедняк.

Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения и в свою очередь разревелась! Начала умолять всех и каждого о пощаде, уверяла, что куры ее отыскались, что она сама готова всё объяснить...

Разумеется, всё это ни к чему не послужило. Военные, сударь, порядок! Дисциплина! Хозяйка рыдала всё громче и громче.

Егор, которого священник уже исповедал и причастил, обратился ко мне:

— Скажите ей, ваше благородие, чтоб она не убивалась... Ведь я ей простил.



Мой знакомый повторил эти последние слова своего слуги, прошептал: «Его-рушка, голубчик, праведник!» — и слезы закапали по его старым щекам.

Август, 1879

### ЧТО Я БУДУ ДУМАТЬ?..

Что я буду думать тогда, когда мне придется умирать, — если я только буду в состоянии тогда думать?

Буду ли я думать о том, что плохо воспользовался жизнью, проспал ее, продремал, не сумел вкусить от ее даров?

«Как? это уже смерть? Так скоро? Невозможно! Ведь я еще ничего не успел сделать... Я только собирался сделать!»

Буду ли я вспоминать о прошедшем, останавливаться мыслю на немногих светлых, прожитых мною мгновениях, на дорогих образах и лицах?

Предстанут ли моей памяти мои дурные дела — и найдет на мою душу жгучая тоска позднего раскаяния?

Буду ли я думать о том, что меня ожидает за гробом... да и ожидает ли меня там что-нибудь?

Нет... мне кажется, я буду стараться не думать — и насильно займусь каким-нибудь вздором, чтобы только отвлечь собственное внимание от грозного мрака, чернеющего впереди.

При мне один умирающий всё жаловался на то, что не хотая дать ему погрызть каленых орешков... и только там, в глубине его потускневших глаз, билось и трепетало что-то, как перешибленное крыло насмерть раненной птицы.

Август, 1879

### «КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ...»

Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы...

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове всё звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы...

И вижу я себя перед низким, окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой;

а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка — и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно-вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно-невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею — но как она мне дорога, как бьется мое сердце!

Как хороши, как свежи были розы...

А в комнате всё темней да темней... Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке, мороз скрипит и злится за стеною — и чудится скучный, старческий шепот...

Как хороши, как свежи были розы...

Встают передо мною другие образы... Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперевивку звучат молодые, добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки бегают, путаясь пальцами, по клавишам старенького пианино — и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара...

Как хороши, как свежи были розы...

Свеча меркнет и гаснет... Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жметесь и вздрагиваете у ног моих старый пес, мой единственный товарищ... Мне холодно... Я зябну... И все они умерли... умерли...

Как хороши, как свежи были розы...

Сентябрь, 1879

### МОРСКОЕ ПЛАВАНИЕ

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажира: я да маленькая обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пицала жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную хо-

лодную ручку — и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку — и она переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим; густой туман лежал на нем, завлакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся загоралась и адела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелых шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и, всё ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотающими колесами; молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи — а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.

Изредка всплывал тюлень — и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь.

А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море.

На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием; поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику — обезьяне.

Я садился возле нее; она переставала пищать — и опять протягивала мне руку.

Снотворной сыростью обдавал нас обоим неподвижный туман; и погруженные в одинаковую, бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.

Я улыбаюсь теперь... но тогда во мне было другое чувство.

Все мы дети одной матери — и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному.

Ноябрь, 1879

Н. Н.

Стройно и тихо проходишь ты по жизненному пути, без слез и без улыбки, едва оживленная равнодушным вниманием.

Ты добра и умна... и всё тебе чуждо — и никто тебе не нужен.

Ты прекрасна — и никто не скажет: дорожишь ли ты своей красотой или нет? Ты безучастна сама — и не требуешь участия.

Твой взор глубок — и не задумчив; пусто в этой светлой глубине.

Так, в Елисейских полях — под важные звуки глюковских мелодий — беспечно и безрадостно проходят стройные тени.

Ноябрь, 1879

## СТОЙ!

Стой! Какою я теперь тебя вижу — останься навсегда такою в моей памяти!

С губ сорвался последний вдохновенный звук — глаза не блестят и не сверкают — они меркнут, отягощенные счастьем, блаженным сознанием той красоты, которую удалось тебе выразить, той красоты, во след которой ты словно простираешь твои торжествующие, твои изнеможенные руки!

Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим членам, по малейшим складкам твоей одежды?

Какой бог своим ласковым дуновеньем откинул назад твои рассыпанные кудри?

Его лобзание горит на твоём, как мрамор, побледневшем челе!

Вот она — открытая тайна, тайна поэзии, жизни, любви! Вот оно, вот оно, бессмертье! Другого бессмертия нет — и не надо. В это мгновение ты бессмертна.

Оно пройдет — и ты снова щепотка пепла, женщина, дитя... Но что тебе за дело! В это мгновенье — ты стала выше, ты стала вне всего преходящего, временного. Это твоё мгновение не кончится никогда.

Стой! И дай мне быть участником твоего бессмертия, урони в душу мою отблеск твоей вечности!

Ноябрь, 1879

## МОНАХ

Я знавал одного монаха, отшельника, святого. Он жил одною сладостью молитвы — и, упиваясь ею, так долго простаивал на холодном полу церкви, что ноги его, ниже колен, отекали и уподобились столбам. Он их не чувствовал, стоял — и молился.

Я его понимал — я, быть может, завидовал ему, — но пускай же и он поймет меня и не осуждает меня — меня, которому недоступны его радости.

Он добился того, что уничтожил себя, свое ненавистное я; но ведь и я — не молюю не из самолюбия.

Мое я мне, может быть, еще тягостнее и противнее, чем его — ему.

Он нашел, в чем забыть себя... да ведь и я нахожу, хоть и не так постоянно.

Он не лжет... да ведь и я не лгу.

Ноябрь, 1879

## МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!

Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека!

Полный раздумья, шел я однажды по большой дороге.

Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладевала мною.

Я поднял голову... Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелою уходила вдаль дорога.

И через нее, через эту самую дорогу, в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев, прыгала бойко, забавно, самонадеянно!

Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикавая, словно и чёрт ему не брат! Завоеватель — и полно!

А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя.

Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся — и грустные думы тотчас отлетели прочь: отвагу, удачу, охоту к жизни почувствовал я.

И пускай надо мной кружит мой ястреб...

Мы еще повоюем, чёрт возьми!

Ноябрь, 1879

## МОЛИТВА

О чем бы ни молился человек — он молится о чуде. Всякая молитва сводится на следующую: «Великий боже, сделай, чтобы дважды два — не было четыре!»

Только такая молитва и есть настоящая молитва — от лица к лицу. Молиться всемирному духу, высшему существу, кантовскому, гегелевскому, очищенному, безобразному богу — невозможно и немислимо.

Но может ли даже личный, живой, образный бог сделать, чтобы дважды два не было четыре?

Всякий верующий обязан ответить: может — и обязан убедить самого себя в этом.

Но если разум его восстанет против такой бессмыслицы?

Тут Шекспир придет ему на помощь: «Есть многое на свете, друг Горацио...» и т. д.

А если ему станут возражать во имя истины, — ему стоит повторить знаменитый вопрос: «Что есть истина?»

И потому: станем пить и веселиться — и молиться.

Июнь, 1881

## РУССКИЙ ЯЗЫК

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июнь, 1882

## (II)

## ВСТРЕЧА

### сон

Мне снилось: я шел по широкой голубой степи, усеянной крупными угловатыми камнями, под черным, низким небом.

Между камнями вилась тропинка... Я шел по ней, не зная сам куда и зачем...

Вдруг передо мною на узкой черте тропинки появилось нечто вроде тонкого облачка... Я начал вглядываться: облачко стало женщиной, стройной и высокой, в белом платье, с узким светлым поясом вокруг стана. Она спешила прочь от меня проворными шагами.

Я не видел ее лица, не видел даже ее волос: их закрывала волнистая ткань; но всё сердце мое устремилось вслед за нею. Она казалась мне прекрасной, дорогой и милой... Я непременно хотел догнать ее, хотел заглянуть в ее лицо... в ее глаза... О да! Я хотел увидеть, я должен был увидеть эти глаза.

Однако как я ни спешил, она двигалась еще проворнее меня — и я не мог ее настичь.

Но вот поперек тропинки показался плоский, широкий камень... Он преградил ей дорогу.



Женщина остановилась перед ним... и я подбежал, дрожа от радости и ожидания, не без страха.

Я ничего не промолвил... Но она тихо обернулась ко мне...

И я все-таки не увидал ее глаз. Они были закрыты.

Лицо ее было белое... белое, как ее одежда; обнаженные руки висели недвижно. Она вся словно окаменела; всем телом своим, каждой чертою лица своего эта женщина походила на мраморную статую.

Медленно, не сгибаясь ни одним членом, отклонилась она назад и опустилась на ту плоскую плиту.

И вот уже я лежу с ней рядом, лежу на спине, вытянутый весь, как надгробное изваяние, руки мои сложены молитвенно на груди, и чувствую я, что окаменел я тоже.

Прошло несколько мгновений... Женщина вдруг приподнялась и пошла прочь.

Я хотел броситься за нею, но я не мог пошевелинуться, не мог разжать сложенных рук — и только глядел ей вслед, с тоской несказанной.

Тогда она внезапно обернулась — и я увидел светлые, лучистые глаза на живом подвижном лице. Она устремила их на меня и засмеялась одними устами... без звука. Встань, мол, и приди ко мне!

Но я всё не мог пошевелинуться.

Тогда она засмеялась еще раз и быстро удалилась, весело покачивая головою, на которой вдруг ярко заалел венок из маленьких роз.

А я остался неподвижен и нем на могильной моей плите.

Февраль, 1878

### МНЕ ЖАЛЬ...

Мне жаль самого себя, других, всех людей, зверей, птиц... всего живущего.

Мне жаль детей и стариков, несчастных и счастливых... счастливых более, чем несчастных.

Мне жаль победоносных, торжествующих вождей, великих художников, мыслителей, поэтов...

Мне жаль убийцы и его жертвы, безобразия и красоты, притесненных и притеснителей.

Как мне освободиться от этой жалости? Она мне жить не дает... Она — да вот еще скука.

О скука, скука, вся растворенная жа-

лостью! Ниже спуститься человеку нельзя.

Уж лучше бы я завидовал... право! Да я и завидую — камням.

Февраль, 1878

### ПРОКЛЯТИЕ

Я читал байроновского «Манфреда»...

Когда я дошел до того места, где дух женщины, погубленной Манфредом, проносит над ним свое таинственное заклинание,— я ощутил некоторый трепет.

Помните: «Да будут без сна твои ночи, да вечно ощущает твоя злая душа мое незримое неотвязное присутствие, да станет она своим собственным адом»...

Но тут мне вспомнилось иное... Однажды, в России, я был свидетелем ожесточенной распри между двумя крестьянами, отцом и сыном.

Сын кончил тем, что нанес отцу нестерпимое оскорбление.

— Прокляни его, Васильич, прокляни окаянного! — закричала жена старика.

— Изволь, Петровна, — отвечал старик глухим голосом и широко перекрестился: — Пускай же и он дождется сына, который на глазах своей матери плюнет отцу в его седую бороду!

Сын раскрыл было рот, да пошатнулся на ногах, позеленел в лице — и вышел вон.

Это проклятие показалось мне ужаснее манфредовского.

Февраль, 1878

### БЛИЗНЕЦЫ

Я видел спор двух близнецов. Как две капли воды походили они друг на друга всем: чертами лица, их выражением, цветом волос, ростом, складом тела — и ненавидели друг друга непримиримо.

Они одинаково корчились от ярости. Одинаково пылали близко друг на дружку надвинутые, до странности схожие лица; одинаково сверкали и грозились схожие глаза; те же самые бранные слова, произнесенные одинаковым голосом, вырывались из одинаково искривленных губ.

Я не выдержал, взял одного за руку, подвел его к зеркалу и сказал ему:

— Бранись уж лучше тут, перед этим зеркалом... Для тебя не будет никакой разницы... но мне-то не так будет жутко.

Февраль, 1878

## ДРОЗД

### I

Я лежал на постели — но мне не спалось. Забота грызла меня; тяжелые, утомительные однообразные думы медленно проходили в уме моем, подобно сплошной цепи туманных облаков, безостановочно ползущих в ненастный день по вершинам сырых холмов.

Ах! я любил тогда безнадежной, горестной любовью, какую можно любить лишь под снегом и холодом годов, когда сердце, не затронутое жизнью, осталось... не молодым! нет... но ненужно и напрасно молодежавым.

Белесоватым пятном стоял передо мною призрак окна; все предметы в комнате смутно виднелись: они казались еще неподвижнее и тише в дымчатом полусвете раннего летнего утра. Я посмотрел на часы: было без четверти три часа. И за стенами дома чувствовалась та же неподвижность... И роса, целое море росы!

А в этой росе, в саду, под самым моим окном уже пел, свистал, тюрлююкал — немолчно, громко, самоуверенно — черный дрозд. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум.

Они дышали вечностью, эти звуки — всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них, тот красивый, бессознательный голос, который никогда не начинался — и не кончился никогда.

Он пел, он распевал самоуверенно, этот черный дрозд; он знал, что скоро, обычной чередою, блеснет неизменное солнце; в его песни не было ничего своего, личного; он был тот же самый черный дрозд, который тысячу лет тому назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела, в воздушной струе, потрясенной его пением.

И я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек, говорю тебе: спасибо, маленькая птичка, спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час.

Она не утешила меня — да я и не искал утешения... Но глаза мои омочи-

лись слезами, и шевельнулось в груди, приподнялось на миг недвижимое, мертвое бремя. Ах! и то существо — не так же ли оно молодо и свежо, как твои ликующие звуки, передрагсветный певец!

Да и стоит ли горевать, и томиться, и думать о самом себе, когда уже кругом, со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня — завтра увлекут меня в безбрежный океан?

Слезы лились... а мой милый черный дрозд продолжал, как ни в чем не бывало, свою безучастную, свою счастливую, свою вечную песню!

О, какие слезы на разгоревшихся щеках моих осветило взошедшее наконец солнце!

Но днем я улыбался по-прежнему.  
8 июля 1877

## ДРОЗД

### II

Опять я лежу в постели... опять мне не спится. То же летнее раннее утро охватывает меня со всех сторон; и опять под окном моим поет черный дрозд — и в сердце горит та же рана.

Но не приносит мне облегчения песенка птицы — и не думаю я о моей ране. Меня терзают другие, бесчисленные, зияющие раны; из них багровыми потоками льется родная, дорогая кровь, льется бесполезно, бессмысленно, как дождевые воды с высоких крыш на грязь и мерзость улицы.

Тысячи моих братьев, собратий гибнут теперь там, вдали, под неприступными стенами крепостей; тысячи братьев, брошенных в разверстую пасть смерти неумелыми вождями.

Они гибнут без ропота; их губят без раскаяния; они о себе не жалеют; не жалеют о них и те неумелые вожди.

Ни правых тут нет, ни виноватых: то молотилка треплет снопы колосьев, пустых ли, с зерном ли — покажет время.

Что же значат мои раны? Что значат мои страдания? Я не смею даже плакать. Но голова горит и душа замирает — и я, как преступник, прячу голову в постылые подушки.

Горячие, тяжелые капли пробираются, скользят по моим щекам... скользят мне на губы... Что это? Слезы... или кровь?

Август, 1877

## БЕЗ ГНЕЗДА

Куда мне деться? Что предпринять? Я как одинокая птица без гнезда... Нахохлившись, сидит она на голой, сухой ветке. Оставаться тошно... а куда полететь?

И вот она расправляет свои крылья — и бросается вдаль стремительно и прямо, как голубь, вспугнутый ястребом. Не откроется ли где зеленый, приятный уголок, нельзя ли будет свить где-нибудь хоть временное гнездышко?

Птица летит, летит и внимательно глядит вниз.

Под нею желтая пустыня, безмолвная, недвижная, мертвая.

Птица спешит, перелетает пустыню — и всё глядит вниз, внимательно и тоскливо.

Под нею море, желтое, мертвое, как пустыня. Правда, оно шумит и движется — но в нескончаемом грохоте, в однообразном колебании его валов тоже нет жизни и тоже негде приютиться.

Устала бедная птица... Слабеет взмах ее крыл; ныряет ее полет. Взвилась бы она к небу... но не свить же гнезда в той бездонной пустоте!..

Она сложила наконец крылья... и с протяжным стоном пала в море.

Волна ее поглотила... и покатилась вперед, по-прежнему бессмысленно шумя.

Куда же деться мне? И не пора ли и мне — упасть в море?

Январь, 1878

## КУБОК

Мне смешно... и я дивлюсь на самого себя.

Непритворна моя грусть, мне действительно тяжело жить, горестны и безотрадны мои чувства. И между тем я стараюсь придать им блеск и красоту, я ищу образов и сравнений; я округляю мою речь, тешусь звоном и созвучием слов.

Я, как ваятель, как золотых дел мастер, старательно леплю и вырезаваю и всячески украшаю тот кубок, в котором я сам же подношу себе отраву.

Январь, 1878

## ЧЬЯ ВИНА?

Она протянула мне свою нежную, бледную руку... а я с суровой грубостью оттолкнул ее.

Недоумение выразилось на молодом, милом лице; молодые добрые глаза глядят на меня с укором; не понимает меня молодая, чистая душа.

— Какая моя вина? — шепчут ее губы.

— Твоя вина? Самый светлый ангел в самой лучезарной глубине небес скорее может провиниться, нежели ты.

И все-таки велика твоя вина передо мною.

Хочешь ты ее узнать, эту тяжкую вину, которую ты не можешь понять, которую я растолковать тебе не в силах?

Вот она: ты — молодость; я — старость.

Январь, 1878

## ЖИТЕЙСКОЕ ПРАВИЛО

Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один, не предпринимай ничего и не жалея ни о чем.

Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать.

Апрель, 1878

## ГАД

Я видел перерубленного гада.

Облитый сукровицей и слизью собственных извержений, он еще корчился и, судорожно поднимая голову, выставлял жало... он грозил еще... грозил бесильно.

Я прочел фельетон опозоренного писака.

Захлебываясь собственной слюной, вываленный в гное собственных мерзостей, он тоже корчился и кривлялся... Он упоминал о «барьере», — он предлагал поединком омыть свою честь... свою честь!!!

Я вспомнил о том перерубленном гаде с его бессильным жалом.

Май, 1878

## ПИСАТЕЛЬ И КРИТИК

Писатель сидел у себя в комнате за рабочим столом. Вдруг входит к нему критик.

— Как! — воскликнул он, — вы всё еще продолжаете строчить, сочинять, после всего, что я написал против вас? после всех тех больших статей, фельетонов, заметок, корреспонденций, в которых я доказал как дважды два четыре, что у вас нет — да и не было никогда — никакого таланта, что вы позабыли даже родной язык, что вы всегда



отличались невежеством, а теперь совсем выдохлись, устарели, превратились в тряпку?

Сочинитель спокойно обратился к критику.

— Вы написали против меня множество статей и фельетонов,— отвечал он,— это несомненно; но известна ли вам басня о лисе и кошке? У лисы много было хитростей — а она все-таки попала; у кошки была только одна: взлезть на дерево... и собаки ее не достали. Так и я: в ответ на все ваши статьи — я вывел вас целиком в одной только книге; надел на вашу разумную голову шутовской колпак — и будете вы в нем щеголять перед потомством.

— Перед потомством! — расхохотался критик, — как будто ваши книги дойдут до потомства?! Лет через сорок, много пятьдесят их никто и читать не будет.

— Я с вами согласен,— отвечал писатель,— но с меня и этого довольно. Гомер пустил на вечные времена своего Ферсита; а для вашего брата и полвека за глаза. Вы не заслуживаете даже шутовского бессмертия. Прощайте, господин... Прикажете назвать вас по имени? Едва ли это нужно... все произнесут его и без меня.

Июнь, 1878

### С КЕМ СПОРИТЬ...

Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит... но из самого твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя.

Спорь с человеком ума равного: за кем бы ни осталась победа — ты по крайней мере испытаешь удовольствие борьбы.

Спорь с человеком ума слабейшего... спорь не из желания победы; но ты можешь быть ему полезным.

Спорь даже с глупцом; ни славы, ни выгоды ты не добудешь; но отчего иногда и не позабавиться?

Не спорь только с Владимиром Стасовым!

Июнь, 1878

### «О МОЯ МОЛОДОСТЬ! О МОЯ СВЕЖЕСТЬ!»

Гоголь

«О моя молодость! о моя свежесть!» — восклицал и я когда-то.

Но когда я произносил это восклицание — я сам еще был молод и свеж.

Мне просто хотелось тогда побаловать самого себя грустным чувством — пожалеть о себе въявь, порадоваться втайне.

Теперь я молчу и не сокрушаюсь вслух о тех утратах... Они и так грызут меня постоянно, глухою грызью.

«Эх! лучше не думать!» — уверяют мужики.

Июнь, 1878

К\*\*\*

То не ласточка щебетунья, не резвая касаточка тонким крепким клювом себе в твердой скале гнездышко выдолбила...

То с чужой жестокой семьей ты понемногу сжилась да освоилась, моя терпеливая умница!

Июль, 1878

### Я ШЕЛ СРЕДИ ВЫСОКИХ ГОР...

Я шел среди высоких гор,  
Вдоль светлых рек и по долинам...  
И всё, что ни встречал мой взор,  
Мне говорило об едином:  
Я был любим! любим я был!  
Я всё другое позабыл!

Сияло небо надо мной,  
Шумели листья, птицы пели...  
И тучки резвой чередой  
Куда-то весело летели...  
Дышалось счастьем всё кругом,  
Но сердце не нуждалось в нем.

Меня несла, несла волна,  
Широкая, как волны моря!  
В душе стояла тишина  
Превыше радости и горя...  
Едва себя я сознавал:  
Мне целый мир принадлежал!

Зачем не умер я тогда?  
Зачем потом мы оба жили?  
Пришла года... прошли года —  
И ничего не подарили,  
Что б было слаще и ясней  
Тех глупых и блаженных дней.

Ноябрь, 1878

### КОГДА МЕНЯ НЕ БУДЕТ...

Когда меня не будет, когда всё, что было мною, рассыплется прахом, — о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, которая наверно переживешь меня, — не ходи на мою могилу... Тебе там делать ничего.

Не забывай меня... но и не вспоминай обо мне среди ежедневных забот, удовольствий и нужд... Я не хочу мешать твоей жизни, не хочу затруднять ее спокойное течение.

Но в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых, бывало, — помнишь? — у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы.

Прочти, закрой глаза и протяни мне руку... Отсутствующему другу протяни руку твою.

Я не буду в состоянии пожать ее моей рукой — она будет лежать неподвижно под землей... но мне теперь отрадно думать, что, быть может, ты на твоей руке почувствуешь легкое прикосновение.

И образ мой предстанет тебе — и из-под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умиленные Красотою, проливали некогда с тобою вдвоем, о ты, мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно!

Декабрь, 1878

### ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

День за днем уходит без следа, однообразно и быстро.

Страшно скоро помчалась жизнь, — скоро и без шума, как речное стремя перед водопадом.

Сплетется она ровно и гладко, как песок в тех часах, которые держит в костлявой руке фигура Смерти.

Когда я лежу в постели и мрак облегает меня со всех сторон — мне постоянно чудится этот слабый и непрерывный шелест утекающей жизни.

Мне не жаль ее, не жаль того, что я мог бы еще сделать... Мне жутко.

Мне сдается: стоит возле моей кровати та неподвижная фигура... В одной руке песочные часы, другую она занесла над моим сердцем...

И вздрагивает и толкается в грудь мое сердце, как бы спеша достучать свои последние удары.

Декабрь, 1878

### Я ВСТАЛ НОЧЬЮ...

Я встал ночью с постели... Мне показалось, что кто-то позвал меня по имени... там, за темным окном.

Я прижался лицом к стеклу, приник ухом, вперил взоры — и начал ждать.

Но там, за окном, только деревья шумели — однообразно и смутно, — и сплошные, дымчатые тучи, хоть и двигались и менялись беспрестанно, оставались все те же да те же...

Ни звезды на небе, ни огонька на земле.

Скучно и томно там... как и здесь, в моем сердце.

Но вдруг где-то вдали возник жалобный звук и, постепенно усиливаясь и приближаясь, зазвенел человеческим голосом — и, понижаясь и замирая, промчался мимо.

«Прощай! прощай! прощай!» — чудилось мне в его замираньях.

Ах! Это всё мое прошедшее, всё мое счастье, всё, всё, что я лелеял и любил, — навсегда и безвозвратно прощалось со мною!

Я поклонился моей улетевшей жизни — и лег в постель, как в могилу.

Ах, кабы в могилу!

Июнь, 1879

### КОГДА Я ОДИН...

ДВОЙНИК

Когда я один, совсем и долго один — мне вдруг начинает чудиться, что кто-то другой находится в той же комнате, сидит со мною рядом или стоит за моей спиной.

Когда я оборачиваюсь или внезапно устремляю глаза туда, где мне чудится тот человек, я, разумеется, никого не вижу. Самое ощущение его близости исчезает... но через несколько мгновений оно возвращается снова.

Иногда я возьму голову в обе руки — и начинаю думать о нем.

Кто он? Что он? Он мне не чужой... он меня знает, — и я знаю его... Он мне как будто сродни... и между нами бездна.

Ни звука, ни слова я от него не жду... Он так же нем, как и недвижим... И, однако, он говорит мне... говорит что-то неясное, непонятное — и знакомое. Он знает все мои тайны.

Я его не боюсь... но мне неловко с ним и не хотелось бы иметь такого свидетеля моей внутренней жизни... И со всем тем отдельного, чужого существования я в нем не ощущаю.

Уж не мой ли ты двойник? Не мое ли прошедшее я? Да и точно: разве между тем человеком, каким я себя помню, и теперешним мною — не целая бездна?

Но он приходит не по моему велению — словно у него своя воля.

Невесело, брат, ни тебе, ни мне — в постылой тишине одиночества!

А вот погоди... Когда я умру, мы сольемся с тобою — мое прежнее, мое теперешнее я — и умчусь навек в область невозвратных теней.

Ноябрь, 1879

### ПУТЬ К ЛЮБВИ

Все чувства могут привести к любви, к страсти, все: ненависть, сожаление, равнодушие, благоговение, дружба, страх,— даже презрение..

Да, все чувства... исключая одного: благодарности.

Благодарность — долг; всякий честный человек платит свои долги... но любовь — не деньги.

Июнь, 1881

### ФРАЗА

Я боюсь, я избегаю фразы; но страх фразы — тоже претензия.

Так, между этими двумя иностранными словами, между претензией и фразой, так и катится и колеблется наша сложная жизнь.

Июнь, 1881

### ПРОСТОТА

Простота! простота! Тебя зовут святою... Но святость — не человеческое дело.

Смирение — вот это так. Оно попирает, оно побеждает гордыню. Но не забывай: в самом чувстве победы есть уже своя гордыня.

Июнь, 1881

### БРАМИН

Брамин твердит слово «Ом!», глядя на свой пупок, — и тем самым близится к божеству. Но есть ли во всем человеческом теле что-либо менее божественное, что-либо более напоминающее связь с человеческой бренностью, чем именно этот пупок?

Июнь, 1881

### ТЫ ЗАПЛАКАЛ...

Ты заплакал о моем горе; и я заплакал из сочувствия к твоей жалости обо мне.

Но ведь и ты заплакал о своем горе; только ты увидал его — во мне.

Июнь, 1881

Все говорят: любовь — самое высокое, самое неземное чувство. Чужое я внедрилос в твое: ты расширен — и ты разрушен; ты только теперь зажил (?) и твое я умерщвлено. Но человека с плотью и кровью возмущает даже такая смерть... Воскресают одни бессмертные боги...

Июнь, 1881

### ИСТИНА И ПРАВДА

— Почему вы так дорожите бессмертием души? — спросил я.

— Почему? Потому что я буду тогда обладать Истиной вечной, несомненной... А в этом, по моему понятию, и состоит высочайшее блаженство!

— В обладании Истиной?

— Конечно.

— Позвольте; в состоянии ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою... И вдруг вбегает один их товарищ: глаза его блестят необычным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. «Что такое? Что такое?» — «Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину! Угол падения равен углу отражения! Или вот еще: между двумя точками самый краткий путь — прямая линия!» — «Неужели! о, какое блаженство!» — кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия! Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеетесь... В том-то и дело: Истина не может доставить блаженства... Вот Правда может. Это человеческое, наше земное дело... Правда и Справедливость! За Правду и умереть согласен. На знании Истины вся жизнь построена; но как это «обладать ею»? Да еще находить в этом блаженство?

Июнь, 1882

### КУРОПАТКИ

Лежа в постели, томимый продолжительным и безысходным недугом, я подумал: чем я это заслужил? за что наказан я? я, именно я? Это несправедливо, несправедливо!

И пришло мне в голову следующее...

Целая семейка молодых куропаток — штук двадцать — столпилась в густом жнивье. Они жмутся друг к дружке, роются в рыхлой земле, счастливы. Вдруг



их испугивает собака — они дружно, разом взлетают; раздается выстрел — и одна из куропаток, с подбитым крылом, вся израненная, падает — и, с трудом волоча лапки, забивается в куст польни.

Пока собака ее ищет, несчастная куропатка, может быть, тоже думает: «Нас было двадцать таких же, (как) я... Почему же именно я, я попала под выстрел и должна умереть? Почему? Чем я это заслужила перед остальными моими сестрами? Это несправедливо!»

Лежи, большое существо, пока смерть тебя съест.

Июнь, 1882

## NESSUN MAGGIOR DOLORE<sup>1</sup>

Голубое небо, как пух легкие облака, запах цветов, сладкие звуки молодого голоса, лучезарная красота великих творений искусства, улыбка счастья на прелестном женском лице и эти волшебные глаза... к чему, к чему всё это?

Ложка скверного, бесполезного лекарства через каждые два часа — вот, вот что нужно.

Июнь, 1882

## ПОПАЛСЯ ПОД КОЛЕСО

Что значат эти стоны?

— Я страдаю, страдаю сильно.

— Слышал ли ты плеск ручья, когда он толкается о камень?

— Слышал... но к чему этот вопрос?

— А к тому, что этот плеск и стоны твои — те же звуки, и больше ничего. Только разве вот что: плеск ручья может порадовать иной слух, а стоны твои никого не разжалобят. Ты не удержи-вай их, но помни: это всё звуки, звуки, как скрип надломленного дерева... звуки и больше ничего.

Июнь, 1882

У-А... У-А!

Я проживал тогда в Швейцарии... Я был очень молод, очень самолюбив — и очень одинок. Мне жилое тяжело — и невесело. Еще ничего не изведав, я уже скучал, унывал и злился. Всё на земле мне казалось ничтожным и пошлым, — и, как это часто случается с очень молодыми людьми, я с тайным злорадством

<sup>1</sup> Нет большей скорби (итал.).

лелеял мысль... о самоубийстве. «Докажу... отомщу...» — думалось мне... Но что доказать? За что мстить? Этого я сам не знал. Во мне просто кровь бродила, как вино в закупоренном сосуде... а мне казалось, что надо дать этому вину вылиться наружу и что пора разбить стесняющий сосуд... Байрон был моим идолом, Манфред моим героем.

Однажды вечером я, как Манфред, решил отправиться туда, на темя гор, превыше ледников, далеко от людей, — туда, где нет даже растительной жизни, где громоздятся одни мертвые скалы, где застывает всякий звук, где не слышен даже рев водопадов!

Что я намерен был там делать... я не знал... Быть может, покончить с собою?!

Я отправился...

Шел я долго, сперва по дороге, потом по тропинке, всё выше поднимался... всё выше. Я уже давно миновал последние домики, последние деревья... Камни — одни камни кругом, — резким холодом дышит на меня близкий, но уже невидимый снег, — со всех сторон черными клубами надвигаются ночные тени.

Я остановился наконец.

Какая страшная тишина!

Это царство Смерти.

И я здесь один, один живой человек, со всем своим надменным горем, и отчаянием, и презрением... Живой, сознательный человек, ушедший от жизни и не желающий жить. Тайный ужас леденит меня — но я воображал себя великим!..

Манфред — да и полно!

— Один! Я один! — повторял я, один лицом к лицу со смертью! Уж не пора ли? Да... пора. Прощай, ничтожный мир! Я отталкиваю тебя ногою!

И вдруг в этот самый миг долетел до меня странный, не сразу мною понятый, но живой... человеческий звук... Я вздрогнул, прислушался... звук повторился... Да это... это крик младенца, грудного ребенка!.. В этой пустынной, дикой выси, где всякая жизнь, казалось, давно и навсегда замерла, — крик младенца?!!

Изумление мое внезапно сменилось другим чувством, чувством задыхающей радости... И я побежал стремглав, не разбирая дороги, прямо на этот крик, на этот слабый, жалкий — и спасительный крик!

Вскоре мелькнул предо мною трепетный огонек. Я побежал еще скорее — и через несколько мгновений увидел низкую хижинку. Сложенные из камней, с придавленными плоскими крышами,

такие хижины служат по целым неделям убежищем для альпийских пастухов.

Я толкнул полураскрытую дверь — и так и ворвался в хижину, словно смерть по пятам гналась за мною...

Прикорнув на скамейке, молодая женщина кормила грудью ребенка... пастух, вероятно ее муж, сидел с нею рядом.

Они оба уставились на меня... но я ничего не мог промолвить... я только улыбался и кивал головою...

Байрон, Манфред, мечты о самоубийстве, моя гордость и мое величье, куда вы все делись?..

Младенец продолжал кричать — и я благословлял и его, и мать его, и ее мужа...

О горячий крик человеческой, только что народившейся жизни, ты меня спас, ты меня вылечил!

Ноябрь, 1882

### МОИ ДЕРЕВЬЯ

Я получил письмо от бывшего университетского товарища, богатого помещика, аристократа. Он звал меня к себе в имение.

Я знал, что он давно болен, ослеп, разбит параличом, едва ходит... Я поехал к нему.

Я застал его в одной из аллей его обширного парка. Закутанный в шубе — а дело было летом, — чахлый, скрюченный, с зелеными зонтами под глазами, он сидел в небольшой колясочке, которую сзади толкали два лакея в богатых ливреях...

— Приветствую вас, — промолвил он могильным голосом, — на моей наследственной земле, под сенью моих вековых деревьев!

Над его головою шатром раскинулся могучий тысячелетний дуб.

И я подумал: «О тысячелетний исполин, слышишь? Полумертвый червяк, ползающий у корней твоих, называет тебя своим деревом!»

Но вот ветерок набежал волною и промчался легким шорохом по сплошной листве исполина... И мне показалось, что старый дуб отвечал добродушным и тихим смехом и на мою думу — и на похвальбу больного.

Ноябрь, 1882



# СОДЕРЖАНИЕ

## Повести

Ася	4
Первая любовь	30
Вешние воды	66
Пушкин и Бабурин	146

## Стихотворения в прозе

(I)

Деревня	176
Разговор	177
Старуха	—
Собака	178
Соперник	—
Нищий	179
«Услышишь суд глупца...	—
Довольный человек	—
Житейское правило	—
Конец света (Сон)	180
Маша	—
Дурак	181
Восточная легенда	182
Два четверостишия	—
Воробей	183
Череп	184
Чернорабочий и белоручка (Разговор)	—
Роза	185
Памяти Ю. П. Вревской	—
Последнее свидание	186
Порог	—
Посещение	187
Necessitas, vis, libertas (Барельеф)	188
Милостыня	—
Насекомое	—
Ши	189
Лазурное царство	—
Два богача	190
Старик	—
Корреспондент	—
Два брата	—
Эгоист	191
Пир у верховного существа	—
Сфинкс	192
Нимфы	—
Враг и друг	193
Христос	—
Камень	—

Голуби	194
Завтра! Завтра!	—
Природа	—
«Повесить его!»	195
Что я буду думать?..	196
«Как хороши, как свежи были розы...»	—
Морское плавание	—
Н. Н.	197
Стой!	—
Монах	—
Мы еще повоюем!	198
Молитва	—
Русский язык	—

(II)

Встреча (Сон)	198
Мне жаль...	199
Проклятие	—
Близнецы	—
Дрозд (I)	200
Дрозд (II)	—
Без гнезда	201
Кубок	—
Чья вина?	—
Житейское правило	—
Гад	—
Писатель и критик	—
С кем спорить...	202
«О моя молодость! О моя свежесть!»	—
К***	—
Я шел среди высоких гор...	—
Когда меня не будет...	—
Песочные часы	203
Я встал ночью...	—
Когда я один... (Двойник)	—
Путь к любви	204
Фраза	—
Простота	—
Брамин	—
Ты заплакал...	—
Любовь	—
Истина и правда	—
Куропатки	—
Nessun maggior dolore	205
Понался под колесо	—
У-а... У-а!	—
Мои деревья	206





ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

**ТУРГЕНЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ**

**ВЕШНИЕ ВОДЫ  
ПОВЕСТИ. СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ**

Художник *Зельгес Владимир Маркович*

Заведующая редакцией русской литературы *Н. С. Кормилицына*

Редактор *О. О. Луцок*

Художественный редактор *П. В. Кузь*

Технический редактор *В. Н. Зайцева*

Корректоры *А. С. Бобырь, А. В. Лопата*

ИБ № 5370

Сдано в набор 01.07.87. Подписано в печать 16.04.88. Формат 70×100/16.  
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл.  
печ. л. 16,9. Усл. кр.-отт. 68,40. Уч.-изд. л. 21,50. Тираж 500 000 экз.  
(1-й завод 1—75 000 экз.). Изд. № 30106. Заказ № 7-209. Цена 2 р. 30 к.

Издательство «Радянська школа»,  
252053, Киев, Ю. Коцюбинского, 5.

Книжная фабрика «Коммунист»,  
310012, Харьков, Энгельса, 11.

2р.30к.

